АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1983

СОДЕРЖАНИЕ

Филин Ф. П. (Москва). О некоторых особенностях лексики восточнославянских языков 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Будагов Р. А. (Москва). В защиту понятия *слово* 16
Котов Р. Г., Марчук Ю. Н., Нелюбин Л. А. (Москва). Машинный перевод в начале 80-х годов 31
Лаптева О. А. (Москва). *Типа* или *вроде*? 39

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Арбатская Е. Д. (Москва), Арбатский Д. И. (Ижевск). О лексико-семантических классах имен прилагательных русского языка 52
Мурьянов М. Ф. (Москва). К проблеме критерия художественности в старославянском литературном языке 66
Волков А. А. (Москва). Письмо и звучащая речь 83
Дашкевич Я. Р. (Львов). Армяно-кыпчакский язык: этапы истории 91
Пестов В. С. (Москва). Категории лица, сказуемости и предикативности в языке кечуа 108
Сарджвеладзе З. А. (Тбилиси). У истоков грузинской лингвистической мысли 113
Пумпянский А. Л. (Калинин). О принципе языковой многозначности 122

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Чернов В. И. (Киров). *Васильев Л. М.* Семантика русского глагола 131
Жуковская Л. П., Симонов Р. А. (Москва). Сказания о начале славянской письменности 133
Смолина К. П. (Москва). Памятники московской деловой письменности XVIII в. 137
Александрова О. В. (Москва). *Mori O.* Frases infinitivas preposicionales en la zona significativa causal. Estudio contrastivo español-inglés 140

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 142

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. П. Трубачев*, *Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания». 1983 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ФИЛИН Ф. П.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Когда речь идет о становлении и развитии великорусского языка, нельзя определить его самобытность и оригинальность, не ответив на вопрос, чем он отличался от украинского и белорусского языков, происшедших из одного и того же источника — языка древнерусского. Фонетические и морфологические отличия между этими близкородственными языками более или менее описаны, а вот синтаксическое и лексическое их своеобразие пока остается малоизученным. Правда, имеется немало отдельных наблюдений и в этой области, однако такие наблюдения являются частными, разрозненными, и общую картину по ним представить еще нельзя. Для того, чтобы судить о специфике лексики каждого из восточнославянских языков, нужны капитальные словари этих языков XIV—XVII вв., которые позволили бы произвести сравнительный (или, как модно теперь говорить, контрастивный) анализ всей массы их зафиксированного словарного состава. Таких словарей еще нет. Пока что публикуются выпуски академического «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (Сл РЯ XI—XVII вв.), большая часть материалов которого приходится на великорусскую эпоху (XIV—XVII вв.). Будем надеяться, что выйдут в свет исторические словари украинского и белорусского языков, а это создаст фактическую базу для решения проблемы дифференциальных особенностей словарного состава восточнославянских языков первых веков их существования.

Все же и теперь положение не безнадежное после того, как был опубликован двухтомный «Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.» (ССМ) под ред. Л. Л. Гумецкой и И. М. Керницкого (Киев, 1977—1978), который можно сравнивать со «Словарем русского языка XI—XVII вв.», делая некоторые предварительные выводы. Правда, СлРЯ XI—XVII вв. и украинский ССМ по своим источникам очень различны. Если в первом словаре представлены памятники многих жанров, причем и большие по объему, то во втором словаре использованы только краткие документы деловой письменности, включая и намогильные надписи (всего таких документов около 950, тогда как в русском словаре охвачено свыше 1900 памятников). При таких условиях мы должны ориентироваться на меньший словарь: что имеется в нем и чего нет в большом словаре, будем считать собственно украинизмами, отсутствовавшими в великорусском языке (с учетом показаний словарей современных восточнославянских литературных языков и диалектов). Отсутствие тех или иных слов в русском языке тоже является характерным, хотя и недостаточным показателем для лексики великорусского языка. Но и тщательное сравнение обоих словарей в полном их объеме — дело непосильное для одного исследователя, поэтому мы ограничиваемся только материалами на буквы *Г* и *Д*. Это все же лучше, чем ничего.

В ССМ на эти буквы я насчитал около 440 нарицательных слов (в СлРЯ XI—XVII вв.—3987 словарных статей), что и послужит отправным моментом для наших подсчетов. Лексические расхождения между великорусским и староукраинским языками были различных типов, причем охватывали многие тематические разряды, частотность употребления слов тоже была неодинаковой. Сначала мы коснемся слов исконно восточнославян-

ских. Первым дифференциальным словом в ССМ является *гаи* «гай — роща, небольшой лес» (< прасл. **gajь* к **gojiti* — каузатив к **žiti*). Слово широко представлено в разных значениях в славянских языках. В словаре Срезневского оно подтверждено только примерами из двух грамот XIV в. юго-западного происхождения и Послания Игнатия Богослова XVII в. (тоже юго-западного памятника), в СлРЯ XI—XVII вв.— одной цитатой, содержание которой ясно указывает на тот же регион (А естьли бы домы и хуторы, *гаи*, сады... сѣножати и мѣста казацкия какую поруху и шкоду отъ ратныхъ людей поносили, тогда воеводы... наказанья чинити), в ССМ приводится 13 примеров (со словосочетаниями *лисичыи гаи* и *сѣеныеи гаи*). В БАС перед словом *гай* стоит помета «обл.» без каких-либо цитатных подтверждений. В СРНГ *гай* в разных значениях фиксируется почти исключительно в южных и западных говорах. Говорящим на русском литературном языке оно теперь известно благодаря ассоциациям, связанным с жизнью на Украине (ср. в известной песне «Как под *гаем*, *гаем*, *гаем* зелененьким» и под.). В современных украинском и белорусском литературных языках и говорах слово обычно. Ср. еще производные укр. *гáйний*, *гайовúй* «лесной», *гайóк*, *гайóчок* «рощица», «лесочек», *гайовúк*, «леший» и др., которых нет в СРНГ. Такая география распространения *гай*, вероятно, связана с особенностями ландшафта Восточной Европы тех времен: ее север и центр были покрыты большими лесными массивами, а на юге часто встречались отдельные рощи. Переселенцы на север и восток не имели нужды в этом слове и забывали его. Нужно также учитывать и межъязыковые восточнославянские контакты, воздействие одних диалектов на другие.

Ганити «хулить, порицать, охаивать, бранить» и др. (< прасл. **ganiti*, родственное с **gъnati*, **goniti*). В СлРЯ XI—XVII вв. слова нет. В СРНГ слово взято у Даля с пометой «южн.» и «зап.», в Псковском областном словаре *гáнить* «ожидать, представлять». В украинском и белорусском языках слово обычно. Оно известно также в западнославянских языках. Вероятно, мы имеем здесь дело с праславянским диалектным образованием северо-западной зоны, первоначальную изоглоссу которого точно установить пока невозможно.

Глинарь «тот, кто обмазывает хату глиной». Явно украинское новообразование, которое не сохранилось и в современном украинском литературном языке (оно не зафиксировано в одиннадцатитомном украинском словаре). В русских источниках не найдено.

Глоба «штраф, пеня, судебное взыскание», *глобник* «тот, кто собирает штрафы, судебные взыскания». Слова широко представлены в украинской деловой письменности XIV—XV вв. В этом же значении *глоба* известно в южнославянских языках, также молд. *глоабэ*, составляя балканско-украинский семантический ареал (ср. также н.-луж. *głoba* «стоимость, ценность»). По-видимому, лексическое значение этого слова возникло в южнославянской области и распространилось через молдавское посредство и в результате прямых контактов украинцев с южными славянами. В современном украинском языке его нет, не засвидетельствовано оно в древнерусской и великорусской письменности. В западнославянских языках и восточнославянских говорах (в том числе и русских) известно в иных значениях (ст.-польск. *głoba* «злость, злоба», в русских говорах «перекладина», «балка», «тропа, дорожка» и т. д.). Только в некоторых украинских диалектах сохранилось *глоба* «штраф, забота, несчастье». Такой разнобой в значениях вызывает серьезные этимологические затруднения. Все же, по О. Н. Трубачеву (ЭССЯ, 6, с. 131—133), **globa* исконно праславянское слово с первичным значением глагола **globiti* «рыть, грести, с силой нажимать». Когда образовались переносные значения отглагольного имени **globa*, в том числе и «штраф», «пеня», остается неизвестным.

Головнов «штраф за убийство» (в грамоте XV в.). Производное от др.-русск. *головной* «относящийся к убийству», не зафиксированное в великорусской (и древнерусской) письменности. Ср. также в львовской грамоте 1443—1446 гг. *головнитство* в том же значении вместо др.-русск. *головничьство*. Это поздние новообразования на украинской почве.

Гольтди «безземельный сельский житель». Образование от *голь*.

В великорусских говорах *гультяй* «бродяга, кочевник» связано с *гуляти*. В СлРЯ XI—XVII вв. *гультяй* зафиксировано только в донских документах XVII—XVIII вв. В СРНГ имеется единичная фиксация: влад. *гольтяй* «нищий» с семантическим сдвигом. Что касается *гультяй* «бездельник, лентяй, гуляка» (переносные значения), то оно в основном распространено в юго-западных говорах.

Гороженіє «огороженный земельный участок». В СлРЯ XI—XVII вв. *гороженье* отмечено только в значении действия по глаголу *городити*. В БАС и СРНГ слово не отмечено.

Горшей «хуже» (сравн. степень) («Хто хотелъ бы кому лихо, вчинити собѣ горшей вдѣлаеть»). В русских источниках не зафиксировано.

Горщина «подать со свиней». Тоже только в юго-западной письменности.

Господства, *господство* только как титул молдавских князей, тогда как в СлРЯ XI—XVII вв. в разных значениях, не связанных с Молдавией.

Готовѣи «охотней» (в русских источниках не зафиксировано).

Граб «дерево граб». Это дерево распространялось с европейского юго-запада на северо-восток. По данным БСЭ (3-е изд.) в настоящее время восточной границей его распространения являются Днепр (исключая его верховья) и Западная Двина. Искусственные посадки теперь имеются и северо-восточнее. На территории Московской Руси оно не росло. Не отмечено оно и в письменности Древней Руси и впервые появляется в юго-западных документах XV в. Впрочем, названия населенных пунктов типа *Грабовець* (село в Галицкой земле) и др., вероятно, свидетельствуют о более раннем проникновении граба на западные окраины Древней Руси. Этимология слова остается невыясненной, хотя О. Н. Трубачев возводит его к праслав. отглагольному производному от **grebǫ*, **grebti*.

Грижати, *грижати сѧ* «беспокоиться, заботиться». Современное укр. *грижа* «терзание», болг. *грижа се*. В русских источниках слова нет. Скорее всего от прасл. **gryzti*, но с вторичным значением, хорошо известным в южнославянских языках. Возможно, что в украинском языке появилось в результате контактов с болгарами.

Гроза «кара, покарание» («а не испра(ви)ва судить намъ бъ и честныи кр(с)тъ и осподарєва казнь и гроза», 1386). Это общеславянское слово представлено в славянских языках в разных значениях: ужас, страх, угроза, гроза и др., связь между которыми очевидна. В староукраинском языке представлено значение, которое не отмечено в древнерусском и великорусском.

Гроунь «бугор, возвышенность» (из **grudьnъ(jь)* к **gruda*). Тоже ст.-укр. семантическая особенность.

Гоуменник «название боярского чина». В СлРЯ XI—XVII вв. только в значении «место для гумна».

Даивати «давать, давать много раз». Ст.-укр. словообразовательная особенность. Любопытно, что в СРНГ отмечено пудож. (олон.) *даивати*, которое, по свидетельству Мансикки, свободно образуется в говоре (*даивать*, *плачивать*). Конечно, мы имеем тут дело с новообразованиями, возникшими на юге и на севере независимо друг от друга по определенной словообразовательной модели.

Данникъ «свободный крестьянин, владевший собственной землей и вместо военной службы обязанный платить подать, главным образом, натурой». В СлРЯ XI—XVII вв. в иных значениях: «тот, кто собирает дань, подать, пошлину», и «тот, кто платит дань, подать, пошлину» (цитата из Переясл. летописи под 1219 г.: «а се данници, дають Руси дань: чюдь, меря, весь, мурома»). Ср. также *данина* «дар, подарок, пожалование». Слово распространено в ст.-укр. грамотах, тогда как в СлРЯ XI—XVII вв. отмечено один раз в Судном листе смоленского наместника 1496 г. Сюда же *дачка* в тех же значениях, отмеченное в СлРЯ XI—XVII вв. в документах, связанных по содержанию с Украиной и Крымом.

Дбати «пренебрегать, не принимать во внимание» — обычное в ст.-укр. грамотах слово, которое отсутствует в словаре Срезневского и в

СлРЯ XI—XVII вв. В славянских языках, в том числе в украинском и белорусском, «радеть, стараться, усердствовать» и пр. с положительным смыслом. Слово известно с близкими значениями и в русских говорах, но только в юго-западных. Вероятнее всего, изоглосса *дбати* передвигалась в северо-восточном направлении, но основную территорию великорусского языка не заняла. Из праславянского диалектного (отсутствует в южнославянской зоне) **dъbati*, этимология которого затруднительна.

Пожалуй, приведенных примеров достаточно, чтобы утверждать, что великорусский и староукраинский языки заметно отличались друг от друга лексемами, значениями общих слов, производными образованиями собственно славянского происхождения. Некоторые из них восходят к праславянской старине, другие были наследием древнерусского языка, а часть оказалась украинскими новообразованиями. Не все староукраинизмы дошли до нашего времени, что вполне понятно. По моим подсчетам, таких староукраинских слов в ССМ на буквы *Г* и *Д*, не отмеченных в великорусских письменных источниках, вовсе неизвестных русскому языку или сохранившихся лишь в юго-западных говорах, оказалось 76, или 16% словарного состава на указанные буквы. Но дело этим не ограничивается. В староукраинском языке XIV—XV вв. становится заметным польское лексическое воздействие и через польское посредство западноевропейских языков, а также (в меньших размерах) молдавско-болгарское. Приведем здесь некоторые примеры.

Глеитъ «охранная грамота» из ст.-польск. *glejt*, ст.-чеш. *glejt* (из ср.-в.-нем. *geleite*), *лист глеитовный* «то же», *глейтовати* «гарантировать безопасность такой грамотой» (< ст.-польск. *glejtować*, ст.-чеш. *glestovati* < ср.в.-нем. *gelejten*). В украинских грамотах XIV—XV вв. слова эти представлены достаточно широко.

Глодъ из молд. *глод* «болото». Ср. также топонимы в Молдавии: *Глод* — название речки, *Глодѣня*, *Глодѣни* — названия селения.

Готовизна «наличные деньги, наличность их» < ст.-польск. *gotowizna* в том же значении.

Гофмистръ «гофмейстер» (ст.-польск. *hofmistrz*, ст.-чеш. *hofmistr* < < ср.-в.-нем. *hovemeister*). В русском языке появляется только в XVIII в.

Гродъ «укрепленное место, крепость, город». Общеславянское слово предстало здесь в польском оформлении. *Hrozne* «сурово» (в Луцк. гр. 1388 г.) < ст.-польск. *hroznie*, ст.-чеш. *hrozne*.

Громници — название церковного праздника, также календарная дата < ст.-польск. *gromnice*, ст.-чеш. *hromnice*.

Грош (*грошъ*) «монета разной чеканки и разной стоимости» (< ст.-польск. *grosz*, ст.-чеш. *groš*, лат. *dēnārius grossus*), *гроши* «деньги», *грошик* «небольшой грош» (< ст.-польск. *grośik*, ст.-чеш. *grošik/hrošik*), *грошовый* «денежный». По свидетельству ССМ, слова эти были широко распространены в ст.-укр. языке с XIV в., сохраняются они и в современном украинском языке и с другими производными: *грошовитий* «имеющий много денег», *грошолюб*, *грошолюбка* «сребролюбец, сребролюбка», еще *грошолюбний*, *грошолюбство*. В русском языке *грош* и др. появляются в XIV—XVI вв. только в документах, связанных с польскими делами, и лишь позже, в XVII в., слово начинает употребляться в письменности, содержание которой относится к местным делам. *Гроши* «деньги вообще» в СлРЯ XI—XVII вв. отсутствует. Это позднее заимствование.

Даскал «учитель» (молд. *даскэл* «учитель» < греч. διδάσκαλος). В СлРЯ XI—XVII вв. на слово *даскалъ* приведена одна цитата в «Проскинитарии» Арсения Каллуда, напечатанном в Венеции в 1679 г. и переведенном на «славянский» язык монахом Евфимием в 1686 г.

Державца, *державця* «наместник, управляющий областью», «помощник старосты, ведавшего королевским имуществом». Явный полонизм, часто встречающийся в староукраинских грамотах. В современном украинском языке сохраняется как историзм *держáвец* «владетель, властитель», оформленный по-восточнославянски. Эта форма встречается и в русской письменности XVI—XVII вв.

Досвѣдчати «свидетельствовать, засвидетельствовать, удостоверять» (ст.-польск. *doświadczać*), *досвѣтчить* «довести до кого-либо; доказать» (ст.-польск. *doświadczyć*, ст. -чеш. *dosvědčiti*). В русском тоже нет.

Досытьвчинити «возместить, заплатить за причиненные убытки», *досыть оучинение* «возмещение» (ст.-польск. *dosyć uczynii*, ст.-чеш. *činiti dosti*, *dosyćiuczynienie*, *dosti učinenie*). *Дооуѳати*, *дооуѳанье* «доверять, доверие»» (ст.-польск. *doufać*, *doufanie*).

Друмъ «дорога, шлях» (молд. *друм* «дорога»), с сочетаниями *друмъ возниии*, *друмъ вѥликыи*. В СлРЯ XI—XVII вв. отмечено один раз в Слове Мефодия Патарского (список 1345 г. южного происхождения), тогда как в украинских грамотах встречается неоднократно.

Дякло «подать натурою с урожая и иной прибыли в сельском хозяйстве, за исключением скота» (литов. *dúokle*, *dõkle*). *Дяковати* с производными (*подяка* и др.) «благодарить». Совр. укр. *дякувати*. Из польск. *dziękować*, *dzięk*, *dzięka* «благодарить, благодарность» (< ср.-в.-нем. *danken*, *dank* с теми же значениями). В СлРЯ XI—XVII вв. приведены два примера из документов, связанных с Польшей и Западом. В СРНГ *дя́ка* «благодарность», *дя́кать*, *дя́ковать* «благодарить» и др., встречается в юго-западных говорах, подвергшихся воздействию украинского и белорусского языков. В географическом отношении интересно *дяка* «благодарность» и в ветлуж. (костром.) говоре.

В ССМ таких заимствований, отсутствовавших в великорусском языке XIV—XVII вв. или нехарактерных для него, я насчитал (на буквы *Г* и *Д*) 62, или 14% словарного состава. Нужно отметить, что основной наплыв полонизмов в украинский и белорусский языки приходится на XVI—XVII вв., когда расхождения в лексике между восточнославянскими языками за счет собственных новообразований и заимствований заметно увеличиваются. Но уже и в XIV—XV вв. они были заметны. В староукраинских грамотах XIV—XV вв. мною обнаружено около 30% слов (на буквы *Г* и *Д*), которых не было в великорусском языке того же времени. Как известно, в деловой письменности по сравнению с другими жанрами письма народная речь отражается более полно, хотя между языком деловой литературы и устным народным языком не было тождества. Если бы мы имели возможность сравнить словарный состав всей староукраинской письменности (не только деловой) с лексикой великорусской письменности XIV— XV вв., результаты наших подсчетов несомненно были бы иными, так как тексты грамот ограничены как по своему объему, так и тематически. Великорусская и украинская письменности объединялись древнерусским книжным наследием, особенно в церковнославянской культурной сфере. Церковнославянский язык хотя и начал варьироваться у восточных славян, его древнеболгарская по происхождению лексика во многом продолжала сохраняться или обогащаться по свойственным ей словообразовательным моделям. Церковнославянский язык, не удовлетворяя всех культурных нужд русских, украинцев и белорусов, в то же время способствовал сохранению их общности и был важным средством борьбы за их самобытность в условиях захватнических и ассимиляторских устремлений польских панов. Известно, какую роль в этой борьбе играло православие, которое использовалось как щит сохранения своей восточнославянской самобытности украинцами и белорусами, а также пограничным русским населением. В староукраинских грамотах церковнославянизмов очень немного (исключение — христианские собственные имена). Ср. *глава* (старший в доме), *глаголемыи*, *госпожда* (наряду с *госпожа*), *град* (господствовала форма *город*), *даание* (*даяние*), *дание*, *доброволение*, *доброволие*, *добродание*, *добродѣиство*, *дондеже*, *драгый*, *дрѣво*, *духовенство*, *дъщи*, *дъщерь*, *дѣлание*. Вот, пожалуй, и все слова с внешними признаками церковнославянизмов.

Если бы было проведено полное сравнение лексики всей оригинальной староукраинской письменности XIV—XV вв. с лексикой всех великорусских памятников того же времени (тоже оригинальных, а не списанных с южнославянских образцов), то удельный вес украинизмов, не свойственных великорусскому языку, оказался бы ниже, чем в языке староукраин-

ских грамот XIV—XV вв. Однако с окончательными выводами спешить не надо.

Во-первых, возникновение и рост дифференциальной лексики происходили в это время не менее интенсивно и в великорусском (как и в белорусском) языке, что существенно повышает специфику словарного состава языков. Во-вторых, в XIV—XVII вв. рост этот несомненно увеличился. Близкородственные восточнославянские языки, не порывая общности и контактов между собой, стали на пути самостоятельного развития. Это касается не только лексики с нарицательным значением, но и собственных имен. В частности, в великорусском языке заметно возрастают образования на *-ов* (*-ев*) и *-ин*. В ССМ на буквы *Г* и *Д* помещено около 560 собственных имен и производных от них (т. е. больше, чем имен нарицательных). В староукраинском языке возникают свои особенности. Ср. образования от имени *Григорий*: *Гринь*, *Гринько* (*Гринко*), *Гринковичъ* (*Хринковичъ*), *Гриць*, *Грицко*, *Гришко*, *Гринковцѣ* (название села в Подолии) и др. ССМ — один из важных источников для изучения ономастики Украины.

Заимствования в великорусском и других восточнославянских языках иногда толкуются превратно с целями отнюдь не научными. Еще недавно А. В. Исаченко и ему подобные пытались утверждать, что русский язык и русская культура поддались воздействию «дикой азиатчины», были изолированы от высокой западноевропейской культуры. Культура шла только с просвещенного Запада. Все подобного рода утверждения насквозь тенденциозны и ни в какой мере не соответствуют действительности. Конечно, монголо-татарское иго было тяжким испытанием для наших предков. Однако не все, что шло с Востока, представляло собой только одну дикость. Русь, стоявшая между Востоком и Западом, восприняла немало ценностей, в том числе и слов, из культуры тюркских народностей, имевшей свои древние традиции, из культуры Ирана и арабов (арабские слова попадали в русский язык главным образом через тюркское посредство). В то же время никогда не было разрыва с Западом. Еще задолго до Петра I в русский язык проникает множество слов (особенно в XVI—XVII вв., когда Русь становится могущественным государством) из западноевропейских языков, непосредственно или через польское посредство (ср. язык «Вестей-курантов» и многих других памятников литературы). Приток западноевропеизмов в русский литературный язык заметно преобладал по сравнению с тюркизмами. А куда относить церковнославянский язык, который играл большую роль в развитии и нашей речевой культуры, к «дикому» Востоку или «просвещенному» Западу? Всем хорошо известно, что церковнославянский язык русской редакции — прямой наследник старославянского (древнеболгарского) языка, а тот в свою очередь много унаследовал от византийской культуры, которая продолжала традиции великой средиземноморской культуры, соками которой питалась и продолжает питаться Западная Европа. Наука требует объективности и только объективности.

Не имея возможности сделать фронтальные лексические сравнения языков восточнославянских народов в их прошлом, обратимся к нашему времени, когда у нас появились разнообразные словари. Конечно, такой вынужденный выход за намеченные хронологические рамки выводит нас за пределы обозначенной в заглавии темы. И все же это лучше, чем ничего. Зная настоящее, мы можем проецировать его в прошлое. Если предположительно в начале становления восточнославянских языков расхождения между ними касались около трети их словарного состава, то каково положение дел в настоящее время? Ведущим средством общения между членами нации является теперь полифункциональный литературный язык. Диалектная речь отступает на задний план. Замечено, что лексических расхождений между восточнославянскими языками заметно меньше на диалектном уровне, чем на уровне их литературных языков. Это вполне понятно: литературные языки национальной эпохи в своем словарно-семантическом составе неизмеримо богаче любого местного говора, поэтому в них имеется гораздо больше дифференциальных признаков. Впрочем, нужно учитывать такие сближающие их факторы, как роль русского язы-

ка как средства межнационального общения, а также воздействие на русский язык близкородственных украинского и белорусского языков.

Для сравнения наиболее удобны академические двуязычные словари. Мною взят обстоятельный «Українсько-російський словник» в шести томах (Киев, 1953—1963, гл. ред. И. М. Кириченко) (далее — УРС). В словаре помещено 121 700 украинских слов с их русскими соответствиями. Если вычесть собственные имена, которые составляют примерно 8% словника, то названный словарь немногим меньше по количеству слов 17-томного ССРЛЯ. Что для нас в данном случае очень важно, украинские слова не толкуются описательно по-русски, а сопровождаются русскими однозначными или близкими по своему значению лексемами (когда объем значений украинских и русских слов не совпадает, дается несколько русских синонимов). Словарные статьи в необходимых случаях сопровождаются стилистическими пометами, в них имеются краткие иллюстрации. Разумеется, одному человеку не под силу сделать анализ всей этой массы слов, поэтому мною взяты только слова на букву *Г*. Их всего оказалось 3217, из них нарицательных 2971.

Конечно, общность словарного состава обоих близкородственных языков очевидна, но она разного происхождения. Среди общих слов заметную долю составляют интернационализмы, т. е. слова, заимствованные в национальную эпоху, среди них много специальных терминов науки и культуры, которые в значительной своей части вошли в словарный состав украинского языка из русского источника. По своим значениям они, как правило, совпадают с русскими словами, в ряде случаев отличаясь от них своим произношением, а в производных образованиях и суффиксами. Ср. *габарди́н* (франц. *gabardine*), *габарди́новый* (*габарди́новий*), *габари́т* (франц. *gabarit*), *га́битус* (*габітус*), *га́вань* (голл. *haven* заимствование петровского времени), *гаво́т* (франц. *gavotte*) «танец», *газе́та* с производными (в русском нет укр. *газетя́р*, *газетя́рка* «газетчик, газетчица»), *газифика́ция* (*газифіка́ція*), *газифицированный*, *газифицировать*, *газифицироваться*, *газовщи́к* (в укр. с суффиксальными отличиями *газифіко́ваний*, *газифікува́ти*, *газифікува́тися*, *газівни́к*), *газокали́льный* (в укр. с иным элементом составного слова *газожаро́вий*) и прочие образования с *газ-*, *газо́н* (франц. *gazon* «дерн, газон», в русском первая фиксация в 1708 г.), *гала́ктика*, *галакти́ческий* (*галакти́чний*), *галере́я*, *гале́та*, *галифе́* (*галіфе́*), *гало́п*, *гало́пом*, *галопи́ровать* (*галопува́ти*), *га́лстук*, *га́лстучный* (*гластуко́вий*), *гале́рка* (*гальбрка*), *га́нгстер*, *гандбо́л* и мн. др. В отдельных случаях в украинском языке появляются производные, которых нет в русском (ср. *гало́рник* — в русск. *раёшник*). Слов позднего интернационального происхождения, по моим подсчетам, оказалось 790, или свыше 20% всех нарицательных слов на букву *Г*. На другие буквы их, вероятно, будет значительно меньше, а на буквы *А* и *Ф* заметно больше 20%. Но в целом таких заимствований имеется несомненно меньше 20%. Анализ приведенных выше слов представляет большой интерес для истории лексики русского и украинского национальных языков, но к словарному составу великорусского и староукраинского языка прямого отношения не имеет; их надо было вычесть из словарного состава обоих языков, чтобы перейти к анализу основной массы лексики.

Различия между языками имеют общественно-функциональное значение. С этой точки зрения можно делить слова по степени их понимания или непонимания лицами разных, хотя и близкородственных национальностей. К непонятным словам (вне контекста или даже в контексте) относятся лексемы с разными корнями или однокоренные, но настолько изменившиеся, что представители другой национальности их не узнают и не понимают (ср. однокоренные по происхождению русск. *ту́ловище* и укр. *ту́луб*, в др.-русск. языке *ту́лово*; любопытно, что один известный языковед, украинец по национальности, владеющий разговорным украинским языком, но проживший всю жизнь в русской среде, читая украинский журнал, не понял слова *ту́луб*; что же говорить о русских, не знающих украинского языка). Поэтому мы сначала выделим слова, разнокорневые (исконные или заимствованные в разное время) или так видоизменившиеся, что они оказывают-

ся непонятными для лиц, не владеющих обоими языками. Укр. *га́ва* «*ворона*, перен. «зевака» с производными *гавеня́*, *гавеня́тко* «вороненок». *га́вин* «вороний», *га́вити* «зевать»; в русских говорах (СРНГ) есть *га́вка* «гага, особая порода уток» и др. (звукоподражание праславянской эпохи) — русск. *воро́на* с многочисленными производными известно и в украинском языке.

Укр. *га́дка* «мысль, предположение, предпосылка», *гадкува́ти* «размышлять, мыслить», *га́донька* «думушка» (к *гадати*; в некоторых южновеликорусских говорах *га́дка* «забота, дума, мысль, предположение») — русск. *дога́дка* и пр. по семантике близко, но не совпадает с укр. словом (в укр. есть и *дога́дка* и пр.). Слова гнезда *га́дка* непонятны для русского, не знающего украинского языка.

Га́йворон «грач», иногда «ворон», *га́йвороння* «грачи», *гайвороня́*, *гайвороня́тко* «грачонок», *гайворо́нячий* «грачиный» (в русских говорах очень редко *га́йворон*. *гра́йворон*) — русск. *грач*, *грачо́нок*, *грачи́ный* (укр. *грач*, *грак* менее употребительны, чем *га́йворон*). *Гайнува́ти(ся)* «тратить(ся), растрачивать(ся). мотать, проматывать(ся), спускать, расточать», *гайнува́ння* «трата, мотовство, расточительство» — в русск. *тра́та*, *тра́тить(ся)*, *прома́тывать*, *мотовство́* и другие синонимы. Укр. *гайнува́ти(ся)* и пр. имеет свои синонимы — пример синонимических расхождений близкородственных языков. Ср. еще *га́лас* «шум, нестройный гул голосов, галдеж, шумиха», *галаса́ти* «кричать (на кого-либо)»; *галасува́ти* «галдеть, шуметь, вопить» и другие производные — в русском значения этих слов передаются разными лексемами. *Гали́ти* — *торопи́ть*, *гали́тися* — *торопи́ться*, *спеши́ть* и т. д. и т. п. Таких слов на букву *Г* мною насчитано около 750, или 25% словника УРС. Однако эта цифра весьма относительна. Более точные сведения мы получили бы от русского интеллигента, не знающего украинского языка, который, читая украинские тексты, вынужден был бы заглядывать в украинско-русский словарь. Ведь многие украинские слова имеют неодинаковые объемы значений и способы употребления, фонетические и морфолого-словообразовательные оформления, что играет немаловажную роль в понимании текста. Особенно это относится к пониманию устной украинской литературной речи. Ср. *грязелікі́рня* «грязелечебница» (особенно *грязелікува́льний* «грязелечебный», *грязелікува́ння* «грязелечение»), *громовідві́д* «громоотвод», *гречкосі́й* «землепашец», *грабі́жник* «грабитель», *гостри́ти* «точить», *гостри́льник* «точильщик». *гости́на* «пребывание в гостях, посещение», *горо́ддя́* «огороды» и мн. др. Русский, не знающий украинского языка, «споткнется», встретив такие слова. Корни этих слов общие с русскими словами, что-то проглядывает похожее, знакомое, а вот что именно, не ясно или не очень ясно, что затрудняет понимание. Однажды в Киеве мне пришлось встретиться с курьезным случаем: в гостинице при заполнении анкеты служащая украинка спрашивает приезжего «*відкіль*?» (буквально *отко́ль* «откуда»), а приезжий, подумав, отвечает: «Петров», полагая, что у него спрашивают его фамилию.

Только сравнительно небольшой слой русских и украинских слов полностью совпадает друг с другом: *гли́на* — *гли́на*, *гла́дити* — *гла́дить*, *гладь* — *гладь*. *гі́бель* — *гі́бель*, *горя́чий* — *горя́чий*, *гадю́ка* — *гадю́ка* и др., но и в этих случаях степень употребительности слов не всегда одинакова. Ср. *го́род* — *го́род* (в укр. яз. обычно *мі́сто*, а *го́род* встречается редко).

Те же трудности представляет и лексика русского языка для украинцев, совсем не владеющих русским языком, хотя бы пассивно (правда, таких украинцев теперь немного, поскольку русский язык как средство межнационального общения широко распространен на Украине, преподается в украинских школах). Ср. русск. *гвоздь* — укр. *цвях*, *гвіздо́к*; *глава́рь* — *ватажо́к*, *проводи́р*; *глаго́л* (грам.) — *дієсло́во*; *глаз* — *о́ко*; *глазёнки* — *оченя́та*; *глупе́ть* — *дурні́ти*; *год* — *рік*; *грёза* — *мрі́я*, *гро́мкий* — *голосні́й*; *гучни́й*, *гру́да* — *ку́па* и т. д. и т. п. Русско-украинское соотношение в лексике в общем такое же, как и украинско-русское. Правда, тут нужно учитывать, что в XIX—XX вв. имело место значитель-

ное влияние русского языка на украинский, гораздо большее, чем украинского на русский (в конце XVI в. и в XVII в., наоборот, преобладало украинское воздействие). Остается несомненным одно: лексико-семантические особенности русского и украинского языков стоят на языковом, а не диалектном уровне. Правда, нам известные языки, диалекты которых настолько разошлись между собой, что их носители вовсе не понимают друг друга, а языки все же не распадаются на отдельные самостоятельные единицы (ср. диалекты немецкого или китайского языков). Однако, когда речь идет о народе или нации, нужно учитывать, кроме лингвистического признака, и другие их общественно-исторические особенности, в частности, осознание членами этих этнических единиц своей особенности, отдельной общности. У близкородственных восточных славян до сих пор живо представление об их общем происхождении и в то же время четко сложилось понимание своей этнической самостоятельности. В течение ряда столетий достаточно ясно они отличают друг друга и по языку. Оригинальность и самобытность их языковых систем очевидна. Сняв поздние заимствования и новообразования эпохи наций, исследователи получат в лексике современных восточнославянских языков богатейшие материалы для реконструкции словарного состава русского, украинского и белорусского языков времени их донационального возникновения и развития (начиная примерно в XIII—XIV вв.). Можно с бóльшей или мéньшей уверенностью предполагать, что важнейшие лексико-семантические (как и фонетико-морфологические) отличия между восточнославянскими языками сложились в XIII—XIV—XVII столетиях. Для того, чтобы конкретно представить себе своеобразие лексико-семантической системы языка великорусского народа (как и языков украинского и белорусского народов), нужны обширные исследования не только материалов, заключенных в нем самом, но и всесторонние историко-сопоставительные работы, без которых невозможно полное описание этой системы, ее становления и развития. Конечно, масштабы таких исследований очень велики, и выполнены они могут быть еще не скоро.

Выше у нас шла речь о русско-украинских лексических взаимоотношениях. Не меньший интерес представляет и русско-белорусское словарное своеобразие. И здесь мы берем словари литературного языка. Функционально литературный язык представляет собой одну языковую единицу, как и отдельный говор (а не совокупность всех говоров), с тою, конечно, огромной разницей, что он является ведущим средством общения всей нации и неизмеримо богаче любого говора, тогда как говор — средство общения региональной группы людей. Конечно, говоры в целом содержат в себе богатые материалы для изучения лексики языков восточнославянских народов донациональной эпохи, но сводные диалектологические словари украинского и белорусского языков еще не составляются (а в них имеется огромная потребность) и сводный «Словарь русских народных говоров» еще не с чем сопоставлять, поэтому мы пока ограничиваемся сравнением словарей литературных языков.

Самым большим словарем белорусского литературного языка является пятитомный «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» под ред. К. К. Атраховича (Кондрата Крапивы) — далее ТСБМ (1-й том издан в Минске в 1977; 4-ый — в 1980; 5-й том должен выйти в свет в ближайшее время). В этом словаре на букву *Г* помещено около 2000 слов. Интернациональных, известных и в русском языке, заимствованных из греческого, латинского и западноевропейских языков, слов с их белорусскими производными оказалось много — около 700, или около 30% всего словника, т. е. заметно больше, чем в украинско-русском словаре. Объясняется это разными причинами. Во-первых, ростом интернациональной лексики, в том числе вливающейся в литературный язык из специальной терминологии, за последние двадцать пять лет (1-й том УРС вышел в 1953 г., а 2-й том ТСБМ — в 1978 г.). Во-вторых, неодинаковым подходом составителей указанных словарей к показу производных слов. Ср. белорусск. *гідрафізіка*, *газанýць* и т. п., которые отсутствуют в украинско-русском словаре (в одиннадцатитомном толковом словаре эти слова обычно уже имеются: *гідрофі-*

зика, *газонýти* и т. д.). Надо полагать, что на другие буквы (за исключением немногих) удельный вес заимствований заметно меньше, чем на *Г*, и примерно одинаков, как в русском и украинском языках. Кроме того, большинство слов такого рода является в восточнославянских языках новообразованиями по восточнославянским словообразовательным моделям.

В белорусском словарном составе, как и в украинском, имеются слова, не свойственные русскому языку (корнеосновы разного происхождения, исконнославянские и заимствованные, слова с другим объемом значений и разным префиксально-суффиксальным оформлением, не говоря уже о специфике их звукового облика, разной частотности и специфики употребления в тексте). Такие слова составляют большую часть словарного состава белорусского языка, хотя их меньше, чем в украинском языке. Приведем здесь некоторые примеры. *Гавóрка* «разговор, разговоры, говор» и др. значения (в СРНГ это слово с его значениями отмечено в смоленских, тверских, псковских и некоторых других западных говорах); *гадавáць* «растить, выращивать, воспитывать, отращивать» (в СРНГ с другими значениями «жить, проживать, праздно проводить время, бездельничать», а со значениями, имеющимися в белорусском языке, слово выделено как омоним и фиксируется в западных и некоторых южновеликорусских говорах); *гáлас* «гам, галдеж, нестройный разговор» (отмечено только у Даля *галáс* как южное); *галгáн* «голодранец»; *ганéбны* «постыдный, подлый, предосудительный» с производными; *глéба* «почва» с производными (*глебаапрацóўчы* «почвообрабатывающий», *глебаахóўны* «почвозащитный», *глéбавы* «почвенный» и др.); *глей* «ил, вязкая глинистая почва» (СРНГ — западные и отчасти южновеликорусские говоры); *гук* «звук» (*гукавы* «звуковой», *гукааперáтар* «звукооператор», *гуказáпіс* «звукозапись» и другие слова с *гук*, которых в ТСБМ помещено 33; в СРНГ несколько диалектных слов с гук- занимают широкую полосу западных и юго-западных говоров) и мн. др. Таких слов достаточно, чтобы серьезно затруднить понимание белорусской речи у русского, не владеющего белорусским языком (беглая устная речь окажется почти непонятной).

В то же время, в отличие от украинского языка, в белорусском литературном языке имеется довольно большой лексический запас, совпадающий или почти полностью совпадающий с соответствующими русскими словами: *гаварыць* — *говорúть*, *гаварлíвы* (имеется и *гаваркí*, чего нет в русском) — *говорлúвый*, *гаварýн* — *говорýн*, *гаварыльня* — *говорúльня*, *гаварэ́нне* — *говорéнье* и др., *гадáць* — *гадáть*, *гадáнне* — *гадáнье*, *галавакрýжны* — *головокружúтельный*, *галавакружэ́нне* — *головокружéние*, *галавалóмка* — *головолóмка*, *галаванбгі* — *головонбгий*, *галаварэ́з* — *головорéз*, *галавáсты* — *головáстый*, *галавацяп* — *головотя́п*, *галавацяпскі* — *головотя́пский*, *галавацяпства* — *головотя́пство* и т. д. и т. п. Часть этих слов является общим древнерусским наследством и общими поздними новообразованиями, а другая часть — результат воздействия русского языка.

Большой интерес представляет сравнительное изучение украинской и белорусской лексики, в чем сходятся и расходятся между собой восточнославянские языки как в их прошлом, так и настоящем. Что касается прошлого (донациональной эпохи), то предстоит еще прежде всего создание и публикация капитальных исторических словарей, без которых нельзя охватить развитие словарного состава восточнославянских языков в целом. Изучение их настоящего состояния гораздо доступнее, поскольку мы имеем обстоятельные словари, толковые и двуязычные. Из двуязычных словарей следует отметить украинско-белорусский словарь В. П. Лемтюговой (Минск, 1980). Правда, по объему словарь В. П. Лемтюговой меньше словарей, которые мы использовали выше, и не имеет иллюстраций, но о соотношении в лексике украинского и белорусского (также и русского) литературных языков по нему судить можно, хотя этих данных и недостаточно. На буквы *Г* и *Д* в словаре В. П. Лемтюговой помещено около 1450 слов. Нужно иметь в виду, что сознательно или несознательно автор словаря отбирал дифференциальную лексику и меньшее внимание уделил лексике общей, что диктовалось практическими целями словаря.

Удельный вес слов, отличающий украинский язык от белорусского, оказался достаточно велик. Ср. *габе́лкбвий — апбйкавы* «из телячьей кожи» (русск. *опбйковый*), *габе́лок — апойка*, «телячья кожа» (В СРНГ *габе́лок* курск., юго-зап.), *га́ва — варбна* (СРНГ — курск., южн.), *гавеня́ — вараня́, варане́* (СРНГ — нет), *га́вин, га́в'ячий — вараня́чы, варбнін, га́вити — зява́ць* (СРНГ — укр. слова не отмечены), *гавку́н* — разг. *саба́ка* (СРНГ — нет, далее в тех случаях, когда в русском языке украинизмы и соответствующие белорусизмы отсутствуют, указания на это даваться не будут), *гада́ти* (и производные) — *ду́маць, раздýмваць, марква́ць* (СРНГ — *га́дка* «забота, дума, мысль, предположение», курск.), *га́йворон — грак* (*грак* есть и в укр.; СРНГ — зап. и южновеликорус. говоры), *гайнó — гной, кал, беспара́дак* (обл. *га́йна*, СРНГ— *га́йно* и *гайнó* в различных говорах и в разных значениях), *галу́за* (отросток от ствола, дерева, куста) — *га́лява, галя́вина — паля́на, гальмó — тóрмаз, гальмовúй — тармазны́, гальмува́ти — тармазі́ць* (и все другие производные), *гаптува́ти — вышыва́ць, гарма́ш — пушка́р, артылеры́ст, га́рний — прыгóжы, дóбры, харóшы* (СРНГ — *га́рный* в разных говорах, преимущественно в южновеликорусских, *га́рно* и др. с близкими украинскому слову значениями), *га́сло — лóзунг, сігна́л; гедзь, гедз — авадзе́нь, сляпе́нь, гелгота́ти, гелготі́ти — гагата́ць* (о гусях), *гі́дний — ва́рты, гóдны, глита́й — міраéд, жывагло́т, глу́зи — насме́шки, кпі́ны* (*кпі́ны* — полонизм) (СРНГ — *глы́зы* и *кпі́ны* нет, отмечено смол. *кпиць* «насмехаться»), *голомóзий — лы́сы, пляшы́вы* (СРНГ — *голомóзый* «плешивый», зап., краснодар.), *гроза́ — навальні́ца, бу́ра* (белорусск. *граза́* «то,что наводит страх, ужас»).

В большинстве случаев, когда В. П. Лемтюгова приводит лексические расхождения между украинским и белорусским языками, белорусизмы совпадают полностью или частично с русскими словами, хотя имеются и обратные случаи (ср. *гроза́ — навальні́ца*). Немало имеется и примеров украинско-белорусских схождений, вовсе не свойственных русскому языку или нашедших свое отражение только в его говорах (преимущественно юго-западных: *мóва — язы́к, гóді, гóдзе — конец* «все, дальше нельзя», *раху́нок, раху́нак — счет* и другие слова, *ла́гідний, лагóдны — крóткий, спокóйный* и другие слова), и многие другие такого же рода схождения и расхождения.

Поскольку в однотомных двуязычных словарях в первую очередь отбирается лексика, отличающая один язык от другого, следует посмотреть не только украинско-русские, белорусско-русские, белорусско-украинские, но и русско-украинские, и русско-белорусские словари. В «Русско-украинском словаре» под ред. М. Я. Калиновича (М., 1948) содержится 80 000 слов, из них на буквы *Г* и *Д* приходится около 4 000 слов, не считая собственных имен и производных от них. Нужно заметить, что составители словаря заметно тяготели к включению в украинские слова русизмов, что выявляется при сопоставлении этого лексикографического труда с шеститомным украинско-русским словарем и одиннадцатитомным толковым словарем украинского языка. И все же, если не учитывать интернационализмы и слова, обозначающие явления современной культуры, где приток русизмов в украинский язык особенно заметен, свыше половины украинской лексики отсутствует в русском литературном языке: *гада́лка — ворóжка, гада́тельно — здога́дно, непе́вно, га́дость — гадóта, га́ер — бла́зень, га́ерничать — блазнюва́ти, галдёж — га́лас, га́мір, галде́ть — галасува́ти, гвоздь — цвях, гúбкий — гнучкúй, глава́рь — ватажóк, проводúр, глу́пый — дурнúй, годовóй — річнúй*, реже *роковúй, голубóй — блакúтний, горю́чее — пальне́, госпóдствовать —панува́ти, гриб — гу́ба, грóмкий — голоснúй, гучнúй, грязнúть — брудни́ти, гумнó* (о постройке) — *стодóла, густера́* (рыба) — *плоскúрка, плоскиря́, да́бы — щоб, да́же — на́віть, длина́ — довжина́* и многие другие.

В однотомном «Русско-белорусском словаре» (М., 1953) содержится 86 000 слов. Удельный вес слов, общих с русским языком, в нем больше, чем в указанном выше «Русско-украинском словаре», хотя, пожалуй, около половины составляют слова, которых нет в русском литературном язы-

ке (*глазни́к — во́чнік, глаша́тай — вяшча́льнік, граждани́н — грамадзя́нін, гребе́ц - вясля́р, гро́мкий — гу́чны, мо́цны, грома́да́ — гмах, громыха́ть — груката́ць, да́же — на́ват, дви́гатель — рухаві́к, де́ло — спра́ва, деше́вый — та́нны, дива́н — кана́па, дове́сить — дава́жыць, до́лжен — ві́нен, паві́нен* и мн. др.).

Конечно, наши подсчеты относительны и должны уточняться, но мы не ошибемся, если скажем, что белорусский язык по своим словарным особенностям стоит ближе к русскому языку, чем украинский, занимая среди восточнославянских языков срединное место. Однако и его особенности (в сочетании с фонетико-грамматической спецификой) таковы, что русский, не владеющий белорусским языком, с трудом понимает (а то и вовсе не понимает) беглую белорусскую литературную речь. Недаром существуют переводы с белорусского языка (особенно замечательной художественной литературы) на русский. Если говорить об известной близости украинской и белорусской лексики, то она имеет разное происхождение: 1) унаследование от древнерусского языка юго-западных диалектных особенностей, 2) общность словообразования на основе древнерусского лексического фонда, отличавшаяся от русских новообразований, 3) заметный слой полонизмов, всестороннее и строго объективное исследование которого еще предстоит выполнить, и, конечно, мы никогда не должны забывать о лексической близости восточнославянских языков, прямой и видоизмененной.

Двуязычные словари, удобные для сравнения, в то же время имеют свои недостатки: обычно они кратки, имеют мало иллюстраций или вовсе их не имеют, что затрудняет установление семантической совокупности, заключающейся в каждом сопоставляемом слове, более уязвимы в отборе слов. Более надежными источниками являются большие академические одноязычные толковые словари, хотя сопоставительная работа и здесь имеет свои трудности. Нужно испробовать и этот путь сравнения. Сначала мы возьмем первые 500 слов из «Словника української мови» (Киев, 1970—1980, далее — СУМ) на букву *Г* и сопоставим их с соответствующей частью ССРЛЯ. В этот отрезок входят слова *га- — гарбузо́вий*. В ССРЛЯ до *гарб-* оказалось 225 слов — более, чем вдвое меньше, чем в СУМ. Интернационализмов и совпадающих в обоих словарях производных от них в СУМ оказалось около 150 слов (22% словника), а в ССРЛЯ около 135 слов (или более половины словника). Такое различие между этими словарями вызвано разными причинами: скупостью подачи в ССРЛЯ исконных слов, широким привлечением в этом словаре производных от западноевропейских заимствований и др. Интернационализмы распределяются по буквам алфавита и по их отдельным частям очень неравномерно. На *га-* их оказалось очень много. По своим значениям и употреблениям в русском и украинском языках они, в общем, совпадают, однако имеются различия в их словообразовании: *газонепроникни́й— газонепроницаемый, газонепрони́кність — газонепроницаемость, газопрові́дник — газопрово́дчик, галопува́ти — галопи́ровать, гальванізува́ти— гальванизи́ровать* (возможно и *гальванизова́ть*), *гарантова́ний — гаранти́рованный* и др. Интернационализмы объединяют восточнославянские языки. Но они явление позднее. Объединяют их издревле и в процессе совместного существования слова древнерусской эпохи и общие производные от них. Слов этой категории, более или менее совпадающих по своим значениям (или вовсе семантически тождественных) я насчитал 55 (11%), ср. звукоподражательные *гав, га́вкати, га́вкання* (=*гавканье*), *гага́ра, гага́рка, гад, гада́ти* «ворожить (=гадать)», *га́дина, гадю́ка, гадю́чка, гадю́чник, га́йка, га́ечка, гак, га́кати, га́кнути* (*га́кать, га́кнуть*), *га́лка, галу́шка, галу́шечка* (в русском из украинского), *га́лька, га́муз, га́музом* и др. Остальную часть лексики можно разбить на группы: 1) слова с общим корнесловом, но разошедшиеся по своим значениям, 2) слова, вовсе отсутствующие в русском литературном языке.

К первой группе относятся такие, как *гада́ти* «думать, размышлять, полагать и пр.», *гара́зд* «счастье, благополучие», *га́лас* «шум», *галасли́вий* «шумливый, шумный», *галасува́ти* «шуметь, галдеть, вопить» и др.

Хотя в этой лексической группе имеется иное, чем в русском, оформление, все же у русского они вызывают какие-то ассоциации со своими словами. Большая же часть слов этого отрезка словаря остается неизвестной: *га́ва* «ворона», *гаволо́в* «бездельник», *га́зда* «хозяин», *газди́ня* «хозяйка», *газдува́ти* «хозяйничать», *гайну́ти* «быстро побежать, помчаться», *гама́н* «кожаная сумочка для денег» и т. п.

Совершенно другое соотношение лексических слоев мы обнаружим в других частях словаря. Возьмем отрезок на *Ж* — *жіронди́ст*. В СУМ в нем содержится описание 500 слов, а в ССРЛЯ 660 (сказался переход от полугнездового способа расположения слов к строго алфавитному, что позволило составителям уделять больше внимания производным словам: на самом деле слов должно было быть больше, если бы учитывались все сложносоставные слова с исходным начальным производным типа *жиро*..., при которых приводится четыре-пять примеров, после которых ставится «и т. п.»).

Интернационализмы греко-латинского и западноевропейского происхождения в этой части словарей единичны. В СУМ: *жака́рдовий* «такой, который служит для изготовления тканей с особо сложным рисунком» (в ССРЛЯ нет). *жаке́т*, *жаке́тик*, *жаке́тка*, *жалюзі́*, *жалюзі́йний*, *жанда́рм*, *жандарме́рія*, *жанда́рмський*, *жанр*, *жанри́ст*, *жа́нровий*, *жанти́льний*, *жарго́н*, *жаргоні́зм*, *жарго́нний*, *жасми́н*, *жасми́нний*, *жасми́новий*, *желати́н*, *желати́на*, *желати́новий*, *желе́*, *женьше́нь*, *жест*, *жестикулюва́ння*, *жестикулюва́ти*, *жестикуляці́йний*, *жестикуля́ція*, *жето́н*, *жи́кле́р* (в ССРЛЯ нет), *жиранд о́ль*, *жира́ф*, *жира́фа*, *жира́ф'ячий*, *жироско́п* (*гіроско́п*), *жіро́нда*, *жіронди́ст* — всего 38 слов, включая и производные, образованные на восточнославянской почве, или 7,6% словника. Примерно то же соотношение интернационализмов к словарному составу и в ССРЛЯ, в котором есть несколько слов, отсутствующих в СУМ. Очень немного слов имеется в СУМ, которых вовсе нет в ССРЛЯ (в русском литературном языке). Ср.: *жарт* «шутка, балагурство» (< польск. *żart*) с производными, *жебра́к* «нищий» (< польск. *żebrak*) с производными и немногие другие.

Основная масса различий между русским и украинским литературными языками приходится на словообразовательные семантические отличия: *жада́ний* «долгожданный, милый, дорогой», *жа́дібний* «жадный, алчный, желающий пить», *жадли́вий* «то же» (*жа́дний* употребляется редко), *жалкува́ти* «жалеть, сетовать на кого-либо» и т. п. Конечно, такие расхождения (а их много) тоже вызывают затруднения в понимании украинской речи русскими.

Приведенные выше сравнения являются всего лишь пробами, предварительными опытами. Лексические особенности восточнославянских языков в их прошлом и настоящем могут считаться установленными только при условии полного и всестороннего сравнения их словарного состава как литературных языков, так и диалектов и иных разновидностей речи. Не следует забывать, что слова живут не вне контекстов их употребления, по-своему представлены в словосочетаниях и фразеологии, имеют разные оттенки значений, далеко не всегда одинаково в парадигматическом плане составляют лексико-семантические группы, нередко в отдельных языках и диалектах имеют разную стилистическую окраску, неодинаковую частотность и т. д. и т. п. Можно устрашиться поистине безграничного объема предстоящих исследований в этой области. Конечно, такая всеобъемлющая и обобщающая работа не может быть выполнена в ближайшее время, а, может быть, и никогда, поскольку объектов исследования мы имеем здесь бесчисленное множество, словарный состав постоянно пополняется и видоизменяется. И все же, и теперь мы можем хотя бы приблизительно установить некоторые важные лексико-семантические особенности исторического развития восточнославянских языков и их современного состояния, унаследованную от древнерусской эпохи общность и приобретения в ходе истории, специфику каждого из близкородственных языков, без которых их бы и не было.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БУДАГОВ Р. А.

В ЗАЩИТУ ПОНЯТИЯ *слово*

Памяти Федота Петровича Филина (1908—1982)

1. Во многих работах современных лингвистов разных направлений, как зарубежных, так и отечественных, мы встречаемся теперь с весьма странным утверждением, будто бы *слово*, как и само понятие *слово*, не имеют никакого серьезного значения в науке о языке. *Слово* объявляется понятием несовременным и устаревшим. Описывая характерные черты американской лингвистики, один из авторов утверждает: «Полностью освободиться от гнета европейской лингвистической традиции, конечно, не удалось, хотя и делались декларативные заявления об абсолютной никчёмности такой, например, категории, как слово, которое занимает в европейской лингвистике центральную позицию (почему и можно назвать ее лексико-центрической)» [1] [1].

Дело здесь не столько в фактической неточности подобного утверждения (не все «европейские лингвисты» признают *слово*), сколько в удивительной декларации об «абсолютной никчёмности слова» как определенной языковой категории. Возникает вопрос, как могло зародиться такое странное убеждение? Европейская лингвистика никогда не была в этом отношении единой, хотя уже с самого начала нашего столетия стали раздаваться голоса, утверждавшие релятивность *слова*, голоса, постепенно переходившие в отрицание самого наличия *слова* в языке. Свыше двадцати лет тому назад я, в частности, опираясь на конкретный материал разных европейских языков, попытался показать несостоятельность отрицания *слова* в лингвистике первой половины нашего столетия [3] [2]. В этой статье были подробно проанализированы теоретические основы, приведшие к подобному отрицанию. Вместе с тем раздавались и протесты против отрицания *слова* по мере того, как умножались публикации противников слова. Поэтому в последующих строках я буду обращаться к прошлому нашей науки лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания «взрыва» против *слова* в некоторых направлениях лингвистики 60—80-х гг. нашего столетия.

Причин подобного «взрыва» много. Начну со своеобразного преклонения перед *целым*, своеобразной мистики целого: существует только целое, как бы оно ни называлось — целое предложение, целая группа предложений, целый контекст, целое художественное произведение. Многочисленных авторов подобных рассуждений мало интересует вопрос о том, из чего слагается подобное целое, из каких элементов (смысловых и формальных) оно создается. При этом с годами понятие *целого* становится все более «большим целым». Ранее говорили, будто бы существенны не слова, а предложения, теперь уже утверждают, что еще существеннее сочетания многих предложений, любой текст, художественное сочинение, изучаемое в так называемой «лингвистике текста». Размеры подобного текста тоже непрерывно увеличиваются. Текст «Братьев Карамазовых» Достоевского, например, оказывается уже недостаточным, приходится говорить о собра-

[1] И сам автор этого предисловия объявляет *слово* устаревшей категорией [2].

[2] В наши дни широкое освещение проблемы *слова* (наряду с другими проблемами) дано в [4].

нии сочинений этого автора, а то и о всей русской литературе прошлого столетия. Так начинают стираться грани между лингвистикой, с одной стороны, и поэтикой, историей литературы, историей культуры, историей общественной мысли — с другой. Возникает не взаимодействие наук — важная проблема нашего времени! — а их полное смешение. Между тем, здесь следует строго различать взаимодействие и смешение [3].

Сказанное, разумеется, не означает, что системные (целостные) исследования в самых различных областях знания, ведущиеся в наше время, оказываются ненужными или ошибочными. Напротив. Они играли и играют важную роль в науке нашей эпохи [4]. Протесты вызывают не сами по себе понятия системы и целого, а их интерпретация в некоторых направлениях науки, приводящая к ошибочной дилемме: либо целое, либо части целого, либо большие единицы языка (предложение и сочетание предложений), либо «малые» единицы (слова, слоги, звуки). В лингвистике подобное противопоставление (либо — либо) уводит исследователя в сторону от конкретного материала естественных языков. Возникают пустые абстракции, не продвигающие вперед науку о языке [5].

Вернемся, однако, к вопросу о том, как могло возникнуть, казалось бы, невероятное представление о «никчёмности слова»? Быть может, здесь создалось положение, возможное и в других науках, при котором наши «житейские представления» не совпадают или даже резко расходятся с современными научными данными? Но ведь «житейские представления» в данном случае опираются на многовековой опыт человеческой практики. Мы говорим, например, «честное *слово*», «крылатое *слово*», «меткое *слово*», «ходячие *слова́*», «к *слову* сказать», «из песни *слова* не выкинешь», «он (она) за *словом* в карман не полезет», «не дав *слова* крепись, а дав *слово* держись», «*слова́* без дел, что лук без стрел» и сотни других. Неужели и здесь существительное *слово* непонятно вне широкого контекста, неужели и здесь для осмысления *слова* нужно призывать на помощь «лингвистику текста»? Разумеется, нет. Контекстом для *слова* здесь служит многовековая народная мудрость, выраженная в языке.

Предположим, однако, на минуту, что «современная лингвистика» опровергает народную мудрость. Ведь когда-то открытие шарообразной формы Земли опровергло старинное представление о Земле как о плоской поверхности. Но это великое для своего времени открытие не помешало людям, как не мешает оно и теперь, ходить прямо, не сгибаясь, несмотря на шарообразную поверхность Земли. Подобно этому — напомним, «всякое сравнение хромает» (omne simile claudet) — известная относительность в самостоятельной жизни отдельных *слов* нисколько не мешает и не может мешать людям выражать мысли и чувства прежде всего с помощью отдельных *слов*, хотя эти последние находятся в системе языка и взаимодействуют друг с другом.

Попытки «выбросить» *слово* из науки о языке вызваны еще и тем, что до сих пор не существует общепризнанного понимания и определения *слова*. Но ведь нет и общепризнанного определения предложения, что не мешает «лингвистике текста» целиком опираться на предложение, на груп-

---

[3] Для примеров и иллюстраций см. главу «В какой мере „лингвистика текста" является лингвистикой?» в моей книге [5]. В вышедшем недавно сборнике [6] хотя и сообщается в заглавии не только о «целом», но и о его «компонентах», в самом же сборнике «компоненты» понимаются тоже как «целое», но только менее «длинное». Качественное различие между «целым» и его «компонентами» не вскрыто и не показано, а *слову* как самостоятельной категории языка места не находится. При этом авторы напрасно, на мой взгляд, ссылаются на В. В. Виноградова, все творчество которого может быть названо «гимном слову» во всех его аспектах. В. В. Виноградов всегда шел не от предложения к слову, а от слова к предложению, а затем и к художественному целому (об этом дальше).

[4] По мнению многих исследователей, понятие системы было «ключевым понятием» уже в XVIII столетии. См. об этом [7].

[5] О борьбе с пустыми абстракциями см. [8]. В 1982 г. вопрос об абстракциях и моделях в математической лингвистике ставится уже совсем иначе, чем он ставился десять — пятнадцать лет тому назад. Некоторые представители математической лингвистики теперь хорошо понимают, что лингвистические модели не должны допускать «чувствительного искажения лингвистической реальности» (см. об этом [9]).

пу предложений, на длинный текст. Но трудности определения *слова*, как и любого другого научного понятия, не могут служить основанием для исключения *слова* из филологии, которая призвана им заниматься едва ли не в первую очередь. Споры об определении *слова* давно велись и ведутся среди лингвистов многих стран, в том числе и среди советских ученых, в особенности на протяжении 50—60-х годов, когда было опубликовано немало интересных статей на эту тему.

К сожалению, однако, эти статьи, нередко без серьезных оснований, терминологически осложнялись стремлением их авторов учесть все особенности *слова* (реальные и потенциальные) во всех языках мира. Между тем определение *слова*, как и других научных понятий, должно быть, по возможности, простым, чтобы к общему определению можно было бы в случае необходимости прибавлять дополнительные признаки, учитывая особенности несходных языков и разный уровень их исторического развития.

Слово — это одна из важнейших категорий языка, оформленная грамматически, обозначающая явления действительности и психической жизни человека и обычно одинаково понимаемая коллективом людей, говорящих на данном языке. К этому надо прибавить, что и «явления действительности», и «явления психической жизни человека» следует понимать в самом широком смысле, ибо *слово* может, разумеется, именовать и явления, в действительности вовсе несуществующие. Но подобно тому, как и в жизни нереальные понятия — категория, производная от понятий реальных, так и в *слове* сохраняется аналогичное соотношение. Предложенное определение фиксирует главные особенности *слова*. Что же касается *значения слова*, то это — содержание слова, в котором центральное место занимает понятие. Сказанное нисколько не мешает *слову* выражать и передавать не только наши мысли (понятия), но и наши чувства, сколь бы многообразными и разнообразными они ни были. Понятие, однако, как правило, оказывается в центре значения слова (о многозначных словах будет сказано дальше)[6].

Я понимаю, конечно, рабочий характер предложенных определений *слова* и *значения слова*. Следует, однако, обратить внимание на грамматическую оформленность *слова*, сколь бы различной она ни была в языках, разных по морфологическому строю. *Грамматика слова* дает возможность постоянно исследовать сложную проблему взаимодействия значения и формы почти на всех уровнях языка. «Голый» формализм так же бесплоден, как и «голый» семантизм, ставший весьма модным как раз у тех лингвистов, которые совсем не так давно слепо верили в научную силу, научную «точность» формалистического изучения всех категорий языка.

В свете сказанного споры о цельнооформленности или не о цельнооформленности *слова* в разных языках, которые у нас оживленно велись лет двадцать тому назад, представляются мне хотя и интересными, но второстепенными по своему теоретическому значению. Разумеется, для понимания *слова*, например, в алеутском языке, надо знать, что «алеутский глагол со включенным в него суффиксом воспринимается как имя с притяжательным суффиксом» [14], а для понимания границ *слова* во французском языке существенна возможная субстантивация целого комплекса типа *le qu'en dira-t-on* «пересуды», которую еще Вандриес считал одним словом [15]. Все это действительно необходимо знать при изучении тех или иных языков, но все это (в частности, подвижность границ между словами), разумеется, не может служить основанием для отказа от общего понятия о *слове*, для отказа от определения *слова*. Независимо от характера и степени его цельнооформленности *слово* в любом языке выполняет свою важнейшую назывную (в широком смысле) и понятийную функцию.

В свое время норвежский лингвист А. Соммерфельт убедительно показал, что в языке небольшого австралийского племени аранта совсем не

---

[6] По всем этим вопросам см. [10]. Обзор самых разных определений слова дан в [11—13].

существует разделения слов на самостоятельные и служебные, как в современных европейских языках (в языке аранта все слова вполне самостоятельны) [16], но и подобные различия как бы внутри разных слов в разных языках не дают никаких оснований для отрицания реальности *слова*. Следует только всегда помнить и понимать, что *типы слов* в разных языках различны в зависимости 1) от общей типологической характеристики тех или иных языков, 2) от степени их исторического развития.

Возможная нецельнооформленность слова тоже, разумеется, не может служить основанием для его отрицания. Известно, например, что в старых русских рукописных памятниках и в печатных изданиях до конца XV в. либо вовсе не существовало деления текста на отдельные слова, либо текст делился на целые группы слов, связанных по смыслу. Писцы ставили «одно слово за другим, без промежутков между ними; только группы слов, то больше, то меньше, отделялись друг от друга» [17]. Это — свидетельство истории. Но и в синхронном плане членение иногда осложняется не только между *словами*, но нередко и внутри, казалось бы, целостных *слов*. Так, Г. Шухардт утверждал, что такие немецкие образования, как, например, *liebreich* «любвеобильный» или в том же значении *liebevoll*, слагаются из двух самостоятельных слов: *lieb* + *reich*, *liebe* + *voll* [18]. Независимо от степени справедливости подобной точки зрения несомненно одно — возможные осложнения границ как между словами, так и внутри целостных слов. Вместе с тем не следует преувеличивать значение подобных осложнений, ни, тем более, на их основе отрицать существование вполне самостоятельных *слов*. В свое время Ю. Н. Тынянов очень тонко показал возможность превращения в определенной социальной среде словосочетания «*поручики же*» в словосочетание «Подпоручик Киже» (Тынянов Ю. Н., «Подпоручик Киже»).

2. В нашей отечественной науке *слово* до самого последнего времени всегда рассматривалось как важнейшая категория языка. В 1883 г., в частности, Крушевский закончил свой прекрасный «Очерк науки о о языке» так: «Развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий» [19]. «Мир слов» в связи с «миром понятий» оказался в центре всего «Очерка». Немного позднее об этом же писал Срезневский: «Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было выражено словом, то было и в жизни... Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее понятие, им выраженное. Дополняя одно другим, они все вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни народа — тем полнее, чем обширнее и разнообразнее их собрание» [20]. Написанные почти сто лет тому назад, эти строки звучат удивительно современно: вдумчивый и серьезный исследователь прекрасно понимал и значение отдельных *слов* («каждое слово...»), и системы слов («все вместе...») для науки о языке.

В советскую эпоху подобные мысли дальше развивали в своих публикациях такие ученые, так Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, В. В. Виноградов, И. И. Мещанинов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, В. И. Абаев, А. И. Смирницкий, Ф. П. Филин, О. С. Ахманова, В. З. Панфилов, О. Н. Трубачев и некоторые другие. При этом Мещанинов, например, справедливо считал, что *слово* — это предмет изучения не только в лексикологии и семасиологии, но и в грамматике [21], а Щерба утверждал, что «каждое мало-мальски сложное слово (в семантическом отношении.— *Б. Р.*) в сущности должно быть предметом научной монографии...» [22]. И всё это вполне актуально и в наши дни, если не забывать об осмыслении языка как «действительного практического сознания».

Стремление связать слова с понятиями и реалиями всегда было характерно для материалистической мысли еще задолго до возникновения марксизма. Эту тенденцию отмечают, в частности, историки античности: ученые той эпохи стремились «...посредством анализа слов прийти к познанию реального мира» [23]. Гораздо позднее знаменитому шведскому ботанику и медику Карлу Линнею принадлежит изречение: Nomina si nescis, perit et cognitio rerum «Если ты не знаешь имен, то ты не имеешь

представления и о вещах» [7]. При всей наивности старых представлений о прямой связи между «вещами и именами (словами)», в подобных представлениях уже обнаруживалось желание как-то сблизить язык с действительностью, как-то проникнуть в «сущность вещей». И недаром те лингвисты нашего века, которые отрицают какую бы то ни было связь между языком и реальностью, вместе с тем отрицают и взаимодействие между словами и понятиями [25] [8].

Разумеется, связь между *словами* и *понятиями* сложна и ее нельзя упрощать. Вместе с тем очевидно, что наши знания так или иначе, прямо или косвенно взаимодействуют со словами. Мир современной техники нельзя осмыслить без мира современной лексики, современной терминологии. Речь идет, разумеется, не о физической связи между словами и понятиями, как думали когда-то, а о связи исторической, о связи в процессе исторического развития каждого языка.

Уже было справедливо замечено: «Чем более отвлеченным и общим является понятие, тем меньшую роль играют сопровождающие его конкретные чувственные образы и тем большее значение приобретает для него чувственная форма слова... По мере возрастания обобщенности понятий связь между понятием и словом становится все более тесной, а для абстрактных понятий, непосредственно не связанных ни с какими наглядными образами вещей, слова оказываются единственной формой существования понятий...» [27] (ср. [28]). Несколько иначе об этом же писал и американский лингвист Э. Сепир, хотя и отдавший дань скептицизму и релятивизму, но умевший глубоко анализировать языковые факты: «Наш ум требует точки опоры. Если он не может опереться на отдельные словообразующие элементы, он тем самым решительнее стремится охватить все *слово* в целом» [29]. В этом отношении большой интерес представляет история терминологии, где «стремление опереться на слово» выражено еще рельефнее, еще очевиднее.

Хорошо известно, что *термины* — это те же слова, хотя и в особой функции. Изгоняя из лингвистики слова́, изгоняют тем самым и термины. Но термины, как и система терминов, неразрывно связаны со знаниями, с различными науками, с их непрерывным развитием. «Ликвидируя» слова́, наука о языке тем самым оказывается в стороне от всех других наук, которые не могут развиваться ни без слов вообще, ни без терминов.

Между тем историки науки давно установили многообразные связи и взаимоотношения между уровнем развития отдельных наук и уровнем развития соответствующего языка. «Из чертежей Леонардо да Винчи по механике,— пишет Л. Ольшки,— из указаний Бенедетти можно заключить, что... предшественникам Галилея было знакомо понятие *момента силы* (курсив мой.— *Б. Р.*). Но это понятие получило ценность лишь с того времени, когда Галилей дал ему точный термин, как доказывает и тот факт, что его враги — перипатетики ни при каких условиях не желали понять и принять этого выражения» [30] [9]. Автор приводит и другие многочисленные аналогичные примеры, свидетельствующие о роли терминологии и, шире, о роли *слов* и *словосочетаний* в процессе развития различных наук в эпоху Возрождения. Как образно говорил позднее один из персонажей «Назидательных новелл» Сервантеса (1613 г.), в науку нельзя проникнуть иначе, как только через дверь языка [33]. То же следует сказать и о науке нашей эпохи. Достаточно вспомнить сотни новых слов и новых словосочетаний, проникших в русский язык в связи с развитием одних только космических исследований [10]. Аналогичный процесс наблюдается и в других науках, подтверждая марксистский тезис о связи между развитием языка и развитием культуры (в самом широком смысле).

---

[7] Об истории этого интересного афоризма см. [24].

[8] В английском оригинале книги здесь говорится об отсутствии всякой связи между такими категориями, как form-classes and lexicon, т. е. между грамматикой и лексикой. По мнению автора, эти понятия вообще не соотносительны [26].

[9] В этом же плане смотри старую, но капитальную монографию [31], а из новых работ [32].

[10] Документированные примеры и иллюстрации см. [34], а для более ранних эпох — мою публикацию [35].

Вместе с тем нельзя забывать, что язык и мышление, язык и наука — это силы, постоянно и глубоко взаимодействующие, но отнюдь не тождественные. Поэтому надо признать несостоятельными заявления многих современных позитивистов, будто бы любая наука — это не что иное, как только «хорошо организованный язык» [36] [11]. Между тем каждая наука определяется прежде всего разработкой соответствующих проблем, входящих в ее компетенцию, теорией, мировоззрением ученых. И хотя язык не остается пассивным в подобном сложном процессе (ресурсы языка способствуют фиксации тех или иных достижений науки), отождествление «специального языка» и науки недопустимо и приводит к отождествлению языка и мышления, к искажению природы языка.

Сказанное нисколько не противоречит тому, что история любой науки неразрывно связана с историей *слов* и *терминов*, с историей соответствующих наименований, а нередко и с изменением подобных наименований. И нельзя не сожалеть, что этот интересный и важный вопрос остается все еще недостаточно изученным. Один из исследователей заметил, что когда в 1770 г. во Франции появилось слово *coke* «кокс», то вместе с ним в этой стране началась эпоха капитализма: *кокс* заменил в индустрии *дерево* и тем способствовал «рождению современной промышленности» [38]. Разумеется, здесь сама «вещь» (кокс) заменила другую «вещь» (дерево), а не одно слово — другое. Вопрос не сводится к такому, несколько упрощенному установлению прямого взаимодействия между отдельными словами и целыми экономическими эпохами, хотя сама проблема «слов и реалий», слов в истории общества еще ждет своих новых исследователей. Эта проблема сближает язык и общество не путем деклараций, а путем анализа фактического и очень важного, интересного материала.

3. Но вернемся к «ниспровергателям» слова. Двумя главными аргументами (после общефилософских предпосылок) в их теории являются — многозначность огромного большинства слов и их зависимость от контекста. Рассуждения обычно строятся так: *слова́* многозначны, «следовательно», они неопределенны, не имеют значений вне данного контекста, границы между словами ясно не очерчены, «следовательно», *слова́* не нужны вообще (см. об этом [3]).

Уже Соссюр стал сомневаться в реальности отдельного слова, хотя его позиция в этом отношении была двойственной, колеблющейся. С одной стороны, он как будто бы понимал значение *слова* как «конкретной единицы языка», а с другой — утверждал, что «конкретную единицу следует искать не в слове», ввиду, как ему представлялось, известной неопределенности самого *слова* [39]. Эту двойственность позиции Соссюра можно объяснить тем, что как серьезный исследователь конкретного материала индоевропейских языков он не мог не понимать роли *слова* в процессе развития этих языков, а как «чистый» теоретик, находившийся под влиянием односторонне понятой теории относительности, он сам интересовался только языковыми отношениями, а не языковыми субстанциями. Еще более решительно об этом же писал Ельмслев, устраняя, как ему казалось, колебания Соссюра. Лингвист, по убеждению датского ученого, может и должен исследовать лишь отношения внутри системы языка. Конкретные единицы языка теоретика интересовать не могут: они относятся к эмпирическому материалу [40]. Эти же мысли повторяет в наши дни и глава генеративной грамматики Н. Хомский [41] [12].

Все подобные рассуждения отнюдь не так безобидны, как это может показаться с первого взгляда. Если *слова́* — это только миф и нереальность, то как же тогда оформляются и выражаются наши понятия, как составляются толковые словари национальных языков, как происходит

---

[11] Споры по этому вопросу ведутся на протяжении многих лет, в частности, в специальном журнале [37].

[12] Хорошо обоснованные критические суждения зарубежных ученых о построениях Хомского собраны в интересной публикации [42]. А вот что сообщает директор Центра прикладных исследований США Р. Тройке: «Следует отметить, что трансформационные лингвисты, которых общественное мнение обычно связывает с компьютерами, практически не имеют никакого отношения к машинному переводу» [43].

взаимодействие между лексикой и грамматикой, включая и взаимодействие между отдельными словами и грамматикой, как совершается номинация? Таких ка́к можно задавать много. И это всегда понимали серьезные ученые.

Уже в 1931 г. выдающийся французский лингвист А. Мейе, рецензируя монографию И. Трира и отдавая должное ее автору, собравшему большой материал, отмечал основной недостаток его работы: нельзя, по мнению Мейе, исследовать *группы слов*, минуя историю *отдельных слов*, образующих подобные группы. Каждое слово,— пояснял рецензент,— взаимодействуя с другими словами в процессе функционирования и развития языка, вместе с тем сохраняет и свою самостоятельность, тем более, когда речь идет не о служебных словах, а о словах вполне независимых [44]. И хотя сам А. Мейе не делал из этого безусловно верного наблюдения никаких общетеоретических выводов, они явно напрашиваются, в особенности в наше время: как мы уже знаем, *целое* не может бытовать в языке независимо от элементов (частей), формирующих подобное целое.

Но современные ниспровергатели слова, забывая прошлое своей науки, продолжают отрицать *слово*, ссылаясь на его мнимую несамостоятельность: *слово*,— утверждают они,— возможно только в данном контексте. И здесь они не оригинальны. Уже Б. Кроче утверждал, что *слово* не может иметь одно и то же значение дважды: *слово* живет только в одном контексте, в другом — оно уже оказывается другим словом. Употребленное в разных контекстах слово *дом* становится другим словом [45] [13]. Но если итальянский ученый подобное различие стремился обосновать прежде всего эстетически (эстетическая неповторимость *слова*), то примерно в то же время немецкий филолог К. Фосслер защищал сходное положение «лингвистически»: по его убеждению, контекст всякий раз делает *слово* другим [46]. В отличие от своих предшественников, современные хулители слова обосновывают отрицание слова не одной причиной, как мы уже знаем, а совокупностью ряда причин: 1) относительностью «всего сущего» 2) культом целого или системы, 3) иногда возникающими формальными трудностями определения границ слова и т. д. При этом все эти причины признаются равными, хотя теоретически они во многом различны.

Между тем В. В. Виноградов был безусловно прав, когда писал: «Вне зависимости от данного его употребления, слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [47, с. 14] [14]. Здесь следует особо выделить — «вне зависимости от данного его употребления», т. е. от данного контекста, и «со всеми значениями», причем не только реально существующими, но и со «скрытыми и возможными». И это, разумеется, совершенно верно. Произнося такие слова, как *хлеб* или *дом*, *радость* или *горе*, ни один человек, для которого русский язык является родным, не потребует особого контекста для их понимания. Совсем другой вопрос в том, что в определенных, о с о б ы х с л у ч а я х, контекст может придать подобным *словам* дополнительное, даже неожиданное значение («скрытые и возможные» силы слова). Но все это, разумеется, не может изменить основных значений слов, понятных каждому. В противном случае язык не смог бы быть средством общения.

Эти, казалось бы, бесспорные и очевидные положения теперь стали у нас по меньшей мере неточно излагаться, даже в официальных академических изданиях. Так, например, в новой публикации русской академической грамматики справедливо отмечается, что *слово* является «одной из основных единиц языка». Но тут же разъясняется, что *слово* «существует в языке как система словоформ: так, слово *стол* существует как система двенадцати словоформ: *стол*, *стола*, *столу*, *стол*, *столом*, *столе*, *столы*, *столов*, *столам*, *столы*, *столами*, *столах*» [48]. В подобном толковании ощущается влияние релятивистической концепции *слова*, так как 1) ничего не говорится о том, что слово *стол* бытует, прежде всего,

[13] Итальянский оригинал этой работы был опубликован еще в 1902 г.

[14] Обращаю внимание на подзаголовок книги — о *слове*, а не предложении: в подходе к предложению недопустимо забывать о *слове*.

как самостоятельное слово, 2) «исходная форма слова» разъясняется только морфологически, как элемент парадигмы, а не как вполне самостоятельное именование определенного предмета. Получается так, что слово *стол* существует в языке лишь в системе двенадцати словоформ. Между тем оно существует и вне этой системы. Возможная ссылка на то, что грамматика занимается лишь отношениями, а не значениями, на мой взгляд, неверна, так как грамматика должна заниматься отношениями в их взаимодействии со значениями. В противном случае грамматика становится формалистической, и, как мне представляется, по меньшей мере неинтересной.

По сравнению с ранее приведенным толкованием В. В. Виноградова здесь, на мой взгляд, наблюдается шаг назад в отдельных вопросах теории грамматики, в осмыслении *слова*. Сказанным я не хочу бросить тень на академическую грамматику русского языка в целом. Это — большой и нужный труд целого коллектива известных ученых. Создать академическую грамматику любого языка, располагающего многовековой культурой, задача весьма нелегкая, как о том свидетельствуют и академические грамматики других европейских языков, постоянно перерабатываемые. Думаю, однако, что некоторые теоретические положения нового толкования грамматических форм, здесь предложенные, оказываются иногда спорными, а иногда и недостаточно ясно изложенными. Все это свидетельствует о том, что роль самостоятельного значения слова в языке, в частности и в особенности в грамматике, может быть различно истолкована с разных теоретических позиций.

Один из руководителей академической грамматики не так давно совершенно справедливо писал: «Перед нами — два взаимодействующих фактора: значение слова и его сочетаемость. Как бы ни было тесно и постоянно взаимодействие этих двух факторов, в работе по теоретической семантике они обязательно должны быть разграничены: изучение и разграничение значений слова не может подменяться изучением его сочетаемости» [49]. Я думаю, что автор этих справедливых суждений согласится с тем, что аналогичное разграничение необходимо проводить не только в теоретической семантике, но и в теоретической грамматике: *грамматическое значение* и *грамматическая сочетаемость* — это принципиально разные категории, которые недопустимо смешивать, хотя они постоянно взаимодействуют в процессе функционирования языка [15].

4. Но как же все-таки следует понимать зависимость значения слова от контекста? Некоторые новейшие исследования показывают, что язык и мышление человека отличаются от «предъязыка» животных как раз тем, что мышление человека способно отвлекаться от контекста, тогда как «предъязык» животных всегда ситуативен. По данным Н. Тих, которая много лет изучала «предъязык» обезьян, он у них целиком ситуативен, целиком зависит от данного, и только данного контекста. Автор справедливо видит в этом одно из главных отличий «предъязыка высокоразвитых животных от языка человека, способного к широким обобщениям [51] [16].

Как мы уже знаем, у противников самого понятия *слова* одним из основных аргументов выступает многозначность большинства слов естественных языков. А многозначность будто бы предопределяет полную зависимость слова от контекста. Действительно, многозначность слова глубоко и принципиально отличает естественные языки от искусственных кодовых построений, где строго действует принцип: одно слово — одно значение, одно значение — одно слово [54]. Подобный принцип удобен и необходим для машины, в частности, в процессе автоматического перевода с одного

---

[15] К сожалению, сама Н. Ю. Шведова в недавней своей статье подобных необходимых разграничений не проводит: все «условия существования слова» здесь неправомерно сводятся к его несвободным значениям [50].

[16] Из старых работ на эту тему отмечу [52]. Что же касается известных разысканий Л. Моргана, выполненных еще в прошлом веке, то их результаты, как теперь установлено [53], были учтены Ф. Энгельсом при написании его книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

языка на другой, но этот же принцип, если бы он оказался в основе национальных языков человечества, привел бы к их оскудению, лишил бы их огромных выразительных (в самом широком смысле) возможностей. К сожалению, это не все понимают, в том числе и некоторые лингвисты. Между тем подобное отличие естественных языков от кодовых построений имеет глубокие основания и приобретает важнейшее значение для осмысления процесса развития языка в связи с развитием мышления человека.

Как справедливо отмечал в свое время один из создателей семасиологии М. Бреаль, полисемия слова — это признак приобретенной цивилизации [55]. Достаточно раскрыть хороший толковый словарь русского или английского, японского или китайского языков, чтобы убедиться, насколько органична, насколько внутренне обусловлена полисемия: она предопределена природой самого языка, способного к постоянным обобщениям. То, что на русском языке можно, например, сказать не только «*глубокая* впадина», но и «*глубокая* мысль», не только «*ясный* день» но и «*ясный* взгляд», не только «*золотое* кольцо», но и «*золотое* сердце» (такие примеры можно приводить бесконечно), свидетельствует о внутренне неисчерпаемых ресурсах любого развитого языка. Если лишить *слово* подобной способности к обобщениям, оно не только сейчас же потускнеет, но и лишится своей главной особенности — способности обозначать и частное, и общее, и конкретное, и абстрактное, и буквальное, и переносное, и т. д. Об этом приходится говорить, так как ложный принцип — многозначность слова будто бы не позволяет ему быть реальной единицей языка — постоянно выдвигается всеми противниками *слова* [17].

Но может быть, многозначность действительно приковывает слово к контексту, делает слово нереальным вне определенного окружения, как утверждают «отрицатели» слова? В этом вопросе необходимо разобраться. Он многим представляется сложным.

Дело в том, что даже такие выдающиеся отечественные филологи, как А. А. Потебня, а позднее Л. В. Щерба, нередко задумывались над вопросом о том, как следует устанавливать границы многозначных слов, где кончается полисемия и начинается омонимия [18]. И все же в своих конкретных филологических разысканиях эти ученые не только всегда считались с полисемией, но и опирались на нее. Достаточно напомнить, что Потебня свою основную многотомную монографию «Из записок по русской грамматике» начинает с анализа многозначности слова, а Щерба в составленном им вместе с М. И. Матусевич большом «Русско-французском словаре» пишет: «всякое слово так многозначно, так диалектично...» [58]. Он тут же ссылается на свою же классификацию многочисленных значений союза *и* и глагола *играть* — классификацию, предложенную им для Академического словаря русского языка тридцатых годов.

Но как же теоретически разобраться в парадоксе многозначности? С одной стороны, *слово* едино и самостоятельно, а с другой — оно как бы «распадается» на множество отдельных значений. Дело, однако, в том, что никакого парадокса здесь собственно и нет. Когда человек, достаточно владеющий данным языком, говорит, например, «*золотое* сердце», то переносное значение прилагательного *золотой* воспринимается на фоне его же буквального значения («*золотое* кольцо»), нисколько не нарушая единства самого *слова* — единства, свойственного природе *слова*. Разумеется, поэт и прозаик могут пойти дальше в стремлении усилить подобные переносные (в широком смысле) фоны *слова*. Но это уже другой вопрос, относящийся к индивидуальному осмыслению *слова*. В. В. Виноградов был, безусловно, прав, когда в ранее уже приведенных строках обращал внимание на то, что слово «присутствует в сознании со всеми своими значениями» [47, с. 14] одновременно. Парадокс оказывается, таким образом, мнимым парадоксом.

---

[17] См. об этом главу «Закон многозначности слова» в моей книге [56, с. 236—244].
[18] По этому поводу смотри яркий очерк Д. Н. Овсянико-Куликовского [57].

Между тем многие лингвисты и у нас, и за рубежом продолжают утверждать, будто бы *слово* вне контекста вообще не существует, и при этом ссылаются на полисемию слова. Даже «номинативное значение слова,— читаем мы в одной из статей,— всегда обусловлено контекстом... За исключением случаев однозначности... слова́ имеют только несвободное, связанное значение...» [59]. Здесь характерно стремление подчеркнуть «только несвободное, связанное значение» и перенести подобную «несвободу» и на номинативную форму слова. Принцип относительности значения доводится до абсурда.

Еще в конце двадцатых годов С. Карцевский убедительно обосновал принцип, который он же назвал «асимметрическим дуализмом языкового знака». Согласно этому принципу, «обозначающее всегда стремится иметь различные функции, подобно тому, как и обозначаемое стремится быть выраженным не одним, а многими способами. Хотя оба эти стремления асимметричны, они образуют в языке подвижное равновесие» [60]. Если бы язык был «устроен» иначе, он превратился бы в плоскую структуру, непригодную для передачи всего многообразия мыслей и чувств человека. Реальная же структура любого современного развитого языка сохраняет «подвижное равновесие», несмотря на наличие двух, казалось бы, противоречивых «стремлений», отмеченных автором.

Вместе с тем нельзя отрицать и того, что в отдельных, редких и исключительных, случаях полисемия все же может заставить задуматься над смыслом того или иного, обычно сложного, текста.

Исследователи философии И. Канта уже обратили внимание, что знаменитый тезис кенигсбергского мыслителя — «мне пришлось поднять знание, чтобы освободить место вере», сформулированный им в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума», может быть истолкован двояко, так как немецкий глагол *aufheben*, употребленный здесь Кантом, полисемантичен и способен передавать, в частности, два, в какой-то степени противоположных значения — «поднимать» и «отменять» [61]. В зависимости от этого тезис Канта можно толковать и так, будто философ хотел лишь «поднять» выше знание, чтобы освободить место вере, и так, будто он же хотел «отменить» знание, чтобы целиком уступить место вере. В этом исключительном случае полисемия *aufheben* нуждается уже не в контексте предложения, а в контексте философии Канта (идеологическая, а не лингвистическая проблема): великий мыслитель стремится лишь совместить знания и религию. Поэтому и глагол *aufheben* имеет здесь значение «поднять», а не «отменить». Об аналогичных случаях другой замечательный ученый — Гегель — любил говорить, что рассудку доставляет радость сама возможность разобраться в таких противоречиях языка, которые обусловлены его многообразными связями с мышлением.

Языком надо уметь пользоваться. Одно дело, когда мы восторгаемся погодой или ругаем ее в ситуации непогоды, и совсем другое, когда возникают большие и непростые проблемы нашего сознания и нашей науки, требующие языкового выражения.

Как ни интересны отдельные случаи, они, разумеется, не могут отменить общих закономерностей развития слов. Некоторую зависимость слова от контекста никто не собирается отрицать, но подобная зависимость нисколько не мешает *слову*: 1) сохранять свою самостоятельность и вне контекста, 2) в каждую историческую эпоху существования языка иметь основное значение, на фоне и на основе которого воспринимаются все остальные его значения, рождаются оттенки новых значений.

У ниспровергателей *слова* как самостоятельной категории языка находится еще один аргумент: слова́,— говорят они,— находятся в системе языка лишь только в бинарной оппозиции. Чтобы понять значение *дня*, надо иметь представление о *ночи*, *правый* предполагает *левый*, *труд* — *отдых* и т. д. В свое время теория бинарных оппозиций, первоначально разработанная в области фонологии, помогла кое-что понять и в лексикологии. Но бинарность, даже там, где она действительно наблюдается в лек-

сике, не может опровергнуть самостоятельности отдельных слов, образующих подобную бинарность. В свое время В. Я. Пропп, много сделавший для изучения системных отношений в различных видах искусства, совершенно справедливо писал в более поздней своей работе: «Противопоставление комического трагическому... не вскрывает сущности комизма и его специфики... Мы будем определять сущность комизма без всякой оглядки на трагическое..., пытаясь понять и определить комическое как таковое» [62] [19]. Mutatis mutandis (с соответствующими поправками), то же следует сказать и о бинарности в лексике.

«*Легкая* работа» может противостоять «*тяжелой* работе», но «*легкая* музыка» уже не противостоит «*тяжелой* музыке», а противостоит «*классической* музыке» или «*серьезной* музыке», или «*камерной* музыке» или «*симфонической* музыке» и т. д. Само многообразие подобных оппозиций в лексике свидетельствует о бедности и поверхностности теории бинарных оппозиций в лексике. Не говорю уже о том, что такие устойчивые словосочетания, как, например, *смотреть свысока́* или *ле́гок на помине*, не располагают противоположными по смыслу словосочетаниями. Аналогичная картина и в других языках. Даже в фонологии, где бинарность в отличие от лексики имеет важное значение, она постоянно нарушается. Если четыре носовых гласных звука литературного французского языка сравнительно легко укладываются в два бинарных ряда, то пять носовых гласных португальского языка (норма лиссабонского произношения) подобную бинарность разрушают.

Итак, и учение о бинарности в лексике не может опровергнуть положения об известной самостоятельности каждого *слова* в языке, не может взять под сомнение общую важнейшую роль *слова* в языке и речи.

Наконец, еще один аргумент у противников *слова*. Речь идет о теории разного «разбиения» значений, казалось бы, одних и тех же слов в разных языках, о теории, известной под названием «теории Сепира — Уорфа». Начну прямо с примера, который уже успел стать тривиальным во многих учебниках. В английском, немецком и французском языках имеется по два слова для обозначения *руки* и по два слова для обозначения *ноги*, тогда как в некоторых других языках, в том числе и в русском, в каждом случае — по одному слову. Предлагается такая схема:

англ. *hand/arm*	англ. *foot/leg*
нем. *hand/arm*	нем. *fuss/bein*
франц. *main/bras*	франц. *pied/jambe*
русск. *рука*	русск. *нога*

Собирая подобные примеры, исследователи на их основе часто делают неправомерный вывод о полной относительности «разбиения» значений казалось бы одних и тех же слов в разных языках. Отсюда — один шаг и до признания относительности самого *слова*, об условности и неясности его функций. Между тем здесь речь должна идти совсем о другом. Членить неодинаково в разных языках, например, понятие «верхней и нижней части *руки*», «верхней и нижней части *ноги*» вполне естественно. Русский язык не испытывает никакого неудобства от того, что он не располагает точно таким же членением данных понятий, как это делает, например, англичанин с помощью *hand/arm* или *foot/leg*. Английскому членению *hand/arm* может соответствовать в русском членение *кисть руки/рука*. Хотя здесь и нет тождественного совпадения с английским *hand/arm*, но кто сказал, что между разными языками должно наблюдаться тождество в выражении тех или иных понятий? Если бы здесь существовало тождество, тогда, выучив один язык, мы бы понимали и лексику другого языка (расхождения сходились бы только к звучанию). Но языки справедливо называют разными, даже если речь идет о близкородственных языках. В лексике подобное различие обнаруживается не в том, что в одних современных языках имеются слова для обозначения *руки* и *ноги*, а в дру-

[19] О важности асимметрии не только в искусстве, но, в определенных случаях, и в логике см. глубокие суждения Гегеля [63].

гих — таких слов будто бы нет, а в том своеобразии, которое отличает способ их выражения в одном языке сравнительно со способом их выражения в другом или других языках. Даже в генетически родственных словах (ср, например, англ. *hand* и нем. *Hand*) обнаруживается различие в их современном употреблении. Теория относительности «разбиения» значений слов, сходных по своей номинативной функции, никак не может служить основанием для теории относительности всех *слов* вообще, для того, чтобы сомневаться в объективности их существования.

И недаром теорию Сепира — Уорфа в наше время критикуют многие ученые, хотя и с разных теоретических позиций [например, 64—65].

Наконец, еще один аргумент, ставший в самое последнее время очень модным у ниспровергателей слова. *Слово* объявляется лишь и только номинативной единицей языка и противопоставляется коммуникативным функциям предложения, в котором имеется предикат, прямо выраженный или подразумеваемый. Получается так, будто бы *слово* в коммуникативной функции, то есть в важнейшей функции языка, вовсе не участвует [20]. Отсюда и пренебрежительное отношение к *слову*. Я глубоко убежден в ошибочности подобных рассуждений.

Нельзя противопоставлять родовое понятие (коммуникация) видовому понятию (номинация). Это неправомерно и с позиции формальной логики. Коммуникация включает в себя и номинацию. Называя *дом* — *домом*, а *жизнь* — *жизнью*, люди могут тем самым не только называть предметы и понятия, но и сообщать что-то другим людям об этих предметах и понятиях. Я уже не говорю здесь о номинативных предложениях, коммуникативную функцию которых уже давно и хорошо показал, в частности, шведский лингвист А. Ломбард в специальной монографии [67]. Любой язык — это, прежде всего, коммуникативная система, служащая для выражения наших мыслей и чувств. Поэтому и номинация, обычно передаваемая с помощью слова или словосочетания, служит все той же коммуникации. Номинация не может стоять в стороне от коммуникации, хотя первая и сохраняет свое своеобразие. Поэтому и этот аргумент у противников слова (номинация у них оказывается вне всякой коммуникации) нужно признать необоснованным.

5. Важнейшая роль слова, очевидная в общенародном языке, становится еще очевиднее в стиле художественной литературы. Этот вопрос, сам по себе весьма интересный, изучен сравнительно мало. В последующих строках попытаюсь показать на двух-трех примерах роль *слова* в языке поэзии.

В свое время я уже стремился обосновать специфику «стиля художественной литературы» в нашу эпоху, критикуя тех исследователей, которые отрицают подобную специфику и видят в стиле художественной литературы лишь механическое объединение всех стилей языка (немного «разговорности», немного «книжности», немного «научности», немного «арготивности» и т. д.) [21]. Между тем, если иметь в виду больших писателей — прозаиков и поэтов,— то их стиль представляет собой не конгломерат разных стилей, а качественно особое образование («стиль художественной литературы»), индивидуально неповторимое у великих художников слова. «Разговорность» или «книжность» стиля большого мастера служат другой цели, чем, казалось бы, та же «разговорность» или та же «книжность» делового документа. Такова сущность функционального подхода к стилю художественной литературы, к стилю больших писателей нашей эпохи.

«Всякое стихотворение,— писал Александр Блок,— покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение» [68] [22]. Здесь необходимо отметить само-

---

[20] См. об этом соответствующие материалы в интересной монографии И. П. Распопова [66].

[21] См. главу «В защиту понятия „стиль художественной литературы“» в моей книге [56, с. 204—214].

[22] Ср. свидетельство одного из современников Блока: «Блок очень точно и отчетливо произносил окончания слов, при этом разделял слова небольшими паузами» [69].

стоятельность отдельных *слов* в, казалось бы, целостном стихотворении. Но в том-то и дело, что у великого мастера целое не противостоит отдельному, а взаимодействует с ним. Больше того. «Из-за них», из-за отдельных слов, существует и целое. Отдельные *слова* не только не теряются в целом, но даже «светятся как звезды».

Вопрос, разумеется, не сводится только к построениям типа «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», а ко всем созданиям поэта. Не случайно он сам говорит о «*всяком* стихотворении». В одном из его шедевров, в поэме «Двенадцать», отдельные слова тоже «светятся как звезды» («Ветер, ветер— На всем божьем свете!»). Л. И. Тимофеев уже давно совершенно справедливо заметил: «В тенденции слово в стихе всегда имеет интонационную самостоятельность» [70]. Подобная интонационная самостоятельность отдельных *слов* нисколько не мешает им взаимодействовать друг с другом в текстах больших мастеров.

В последние годы в некоторых направлениях лингвистики и поэтики наметилась тенденция толковать ключевое или опорное *слово* в стихе как явление чисто звуковое. Ссылаются при этом на стихотворение, например, О. Мандельштама под заглавием «Воронеж» с последующей рифмовкой «*Воронеж*, *проворонишь*, *вернешь*, *ворон*, *нож*» [23]. Но подобное толкование «ключевого или опорного слова» в стихе следует признать поверхностным. У больших поэтов случаи подобной рифмовки могут иметь либо подсобное значение, подчиненное идейному и эмоциональному замыслу произведения, либо выполнять шуточную, ироническую функцию. Когда А. Блок писал о словах, светящихся как звезды, он был весьма далек от уровня «Воронежа». Сказанное, разумеется, не означает, что звуковая организация стиха несущественна. Она существенна для всякого истинного поэта. Но у подобного поэта она же подчиняется более значительной цели.

Хорошо известна функция *отдельного слова* и у Владимира Маяковского. Напомню:

«Приду в четыре»,— сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Разумеется, эти предложения зависят от контекста, но вместе с тем каждое *слово-предложение* сохраняет и свою самостоятельность. Самостоятельность слова нельзя противопоставлять контексту ни в языке вообще, ни, тем более, в поэзии. В приведенном же примере предложения не сводятся к простому обозначению времени (номинация), а передают сложные переживания поэта — его мысли и чувства — поэта, находящегося в ожидании решения своей судьбы (предикация) [24].

Слова́ в стихах великих мастеров не могли бы приобретать самостоятельного значения, если бы общенародный язык не предоставлял поэтам таких возможностей. С этой целью здесь и отмечается роль *слова* в поэзии. В стихах лишь ярче обнаруживается то, что свойственно общенародному языку. Значение отдельных слов, очевидное и в общенародном языке, становится еще очевиднее в стихотворной речи. Подлинный мастер «изводит» ради единого слова «тысячи тонн словесной руды» [25].

Все изложенное позволяет заключить: 1) *слово* — одна из важнейших категорий языка, отрицание которой не имеет никаких серьезных оснований и определяется методологически ошибочной релятивистической концепцией языка, 2) отрицание роли *слова* тесно связано с отрицанием объективной природы языка, с отрицанием каких бы то ни было соответствий между «миром слов» и «миром понятий», 3) *слово* не только выражает поня-

---

[23] См. комментарии Вяч. Вс. Иванова к книге Л. С. Выготского [71]. Совсем иная постановка вопроса в монографии Б. П. Гончарова [72].

[24] Отлучить имена существительные и прилагательные от коммуникации — это значит отлучить 80% из 100% слов, встречающихся в «среднем потоке речи». Таковы статистические данные Гиро для французского языка [73].

[25] «Слово в поэзии — это уже художественное произведение» [74]. О роли отдельных слов у поэтов разных стран см. [75—77].

тие, но и способствует его формированию, ибо *слово* не только синхронная, но и историческая категория языка, тесно связанная с его общим развитием, 4) *слово* — и лексико-семантическая, и грамматическая категория языка одновременно, так как в огромном большинстве языков слово грамматически оформлено (сколь бы ни был различен характер подобного оформления), 5) *слова́* и их *значения* хотя и взаимодействуют с различными контекстами, но отнюдь не сводятся к ним, сохраняют свою самостоятельность (бо́льшую или меньшую), 6) *полисемия слов* не разрушает их внутреннего единства и внутренней целостности, 7) *слова́* выполняют не только номинативную функцию, но и участвуют в общем процессе языковой коммуникации.

Вольтер в свое время говорил, что богословы порождают атеистов. Перефразируя проникновенную мысль великого писателя, можно сказать, что хулители слова порождают его ревностных и убежденных защитников.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Звегинцев В. А.* Предисл. к кн.: *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, с. 7.
2. *Звегинцев В. А.* Язык и знание.— ВФ, 1982, № 1, с. 77.
3. *Будагов Р. А.* К критике релятивистических теорий слова.— В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
4. *Филин Ф. П.* Очерки по теории языкознания. М., 1982, особ. с. 218—263.
5. *Будагов Р. А.* Филология и культура. М., 1980, с. 77—86.
6. Русский язык. Текст как целое и компоненты целого, М., 1982.
7. *Arrivé M. et Chevalier J.* La grammaire. Lectures, Paris, 1970, p. 66.
8. *Попов И. С.* История логики нового времени, М., 1960.
9. *Лесохин М. М., Лукьяненков К. Ф., Пиотровский Р. Г.* Введение в математическую лингвистику. Минск, 1982, с. 247.
10. *Будагов Р. А.* Введение в науку о языке. 2-е изд. М., 1965, с. 12 и 359.
11. Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.— Л., 1963, с. 6—33.
12. *Schulte-Herbrüggen H.* El languaje y la visión del mundo. Santiago, 1963, p. 12—16.
13. *Forsgran K.* Wortdefinition und Feldstruktur. Göteborg, 1977, S. 50—55.
14. *Вдовин И. С.* История изучения палеоазиатских языков. М., 1954, с. 129.
15. *Вандриес Ж.* Язык. М., 1937, с. 129.
16. *Sommerfelt A.* La langue et la société. Oslo, 1938, p. 115.
17. *Соболевский А. И.* Славяно-русская палеография. 2-е изд. СПб., 1908, с. 61.
18. *Hugo Schuchardt-Brevier.* Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft. Zusammengestellt und eingeleitet von Spitzer L. Halle, 1928, S. 198.
19. *Крушевский Н.* Очерк науки о языке. Казань, 1883, с. 149.
20. *Срезневский И. И.* Мысли об истории русского языка. СПб., 1887, с. 103.
21. *Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.— Л., 1945, с. 3.
22. *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958, с. 72.
23. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980, с. 111.
24. *Ullmann S.* Language and style. Oxford, 1964, p. 208—209.
25. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 293.
26. *Bloomfield L.* Language. New Jork, 1933, p. 271.
27. *Резников Л. О.* Понятие и слово. Л., 1958, с. 18—19.
28. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 45—59.
29. *Сепир Э.* Язык. Введение в изучение речи. М., 1934, с. 103.
30. *Ольшки Л.* История научной литературы на новых языках. Т. 2. М.— Л., 1934, с. 48.
31. *Eucken R.* Geschichte der philosophischen Terminologie. Leipzig, 1876, S. 270—280.
32. *Finoochiaro A.* Galileo and the art of reasoning. London, 1980, p. 25—50.
33. *Сервантес М.* Назидательные новеллы. Т. 2. М.— Л., 1935, с. 259 и сл.
34. *Брагина А. А.* Неологизмы в русском языке. М., 1973.
35. *Будагов Р. А.* История слов в истории общества. М., 1971.
36. *Ischreyt H.* Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik. Düsseldorf, 1965, S. 9.
37. Sprache im technischen Zeitalter. Stuttgart, 1970—1980.
38. *Matoré G.* La méthode en lexicologie. Paris, 1953, p. 66.
39. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977, с. 138.
40. *Hjelmslev L.* Prolegomena to a theory of language. Baltimore, 1953, p. 5.
41. *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972, с. 17.
42. Трансформационно-генеративная грамматика в свете современной научной критики: Реферативный сборник. М., 1980. (предисл. Ахмановой О. С.).
43. *Troikê R.* The future of MP.— American Journal of computational linguistics, 1976, v. 13, № 6, p. 48.
44. *Meillet A.*— BSLP, 1931, № 3, p. 143—144.— Rec.: *Trier J.* Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg, 1931.

45. *Кроче Б.* Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 1920, с. 165.
46. *Vossler K.* Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Heidelberg, 1905, S. 5.
47. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947, с. 14.
48. Русская грамматика. Т. I. М., 1980, с. 454.
49. *Шведова Н. Ю.* Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна «Синонимия и синонимы».— ВЯ, 1970, № 3, с. 41.
50. *Шведова Н. Ю.* Типы контекстов, конструирующих многоаспектное описание слова.— В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. М., 1982, с. 143.
51. *Тих Н.* Предыстория общества. Л., 1970, с. 266.
52. *Бюхер К.* Работа и ритм. М., 1923, с. 230—270.
53. *Suret-Canale J.* Morgan et Anthropologie moderne.— La pensée, 1973, № 171, p. 75—85.
54. *Ершов А. П.* Методологические предпосылки продуктивного диалога с ЭВМ на естественном языке.— ВФ, 1981, № 8, с. 110.
55. *Breal M.* Essai de sémantique. Paris, 1913, p. 144.
56. *Будагов Р. А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976.
57. *Овсянико-Куликовский Д. Н.* А. А. Потебня как языковед-мыслитель. Киев, 1893, с. 16—17.
58. *Щерба Л. В. и Матусевич М. И.* Русско-французский словарь. 9-е изд. М., 1969, с. 6.
59. *Амосова Н. Н.* Слово и контекст.— Уч. зап. ЛГУ, 1958, № 243, с. 9—10.
60. *Karcevskii S.* Du dualisme asymétrique du signe linguistique.— TCLP, 1929, I, p. 88.
61. *Гулыга А.* Кант. М., 1981, с. 129 и с. 205.
62. *Пропп В. Я.* Проблемы комизма и смеха. М., 1976, с. 8.
63. *Гегель.* Сочинения. Т. XII. М., 1938, с. 138—142.
64. *Gipper H.* Gibt es ein sprachliches Relativprinzip? Untersuchungen zur Sapir-Worf Hypothese. Frankfurt, 1972.
65. *Dürbeck H.* Neuere Untersuchungen zur Sapir-Whorf Hypothese.— Linguistics. An international Review, 1975, № 145, p. 5—45.
66. *Распопов И. П.* Спорные вопросы синтаксиса. Ростов-на-Дону, 1981, особ. с. 85—98.
67. *Lombard A.* Les constructions nominales dans le français moderne. Paris, 1930.
68. Записные книжки Ал. Блока. Л., 1930, с. 63.
69. *Павлович Н.* Воспоминания об Александре Блоке.— Блоковский сборник. Тарту, 1964, с. 453.
70. *Тимофеев Л. И.* Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, с. 50.
71. *Выготский Л. С.* Психология искусства. М., 1968, с. 514.
72. *Гончаров Б. П.* Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. М., 1973, с. 9—30.
73. *Guiraud P.* Les caractères statisques du vocabulaire. Paris. 1954, p. 36.
74. *Марченко А.* Заметки о поэтике А. Вознесенского.— ВЛ, 1978, № 9, с. 94.
75. *Cahen J.* Le vocabulaire de Racine. Paris, 1946.
76. *Lain M.* La palabra en Unamuno. Caracas, 1964.
77. *Kayser W.* Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. 13. Aufl. Berlin, 1968.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

КОТОВ Р. Г., МАРЧУК Ю. Н., НЕЛЮБИН Л. Л.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД В НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ

С 1979 г. во Всесоюзном центре переводов научно-технической литературы и документации Государственного комитета СССР по науке и технике и Академии наук СССР (ВЦП), головной организации по научно-техническому и машинному переводу (МП), создана и работает первая в стране редакция по практическому машинному переводу. Оперативно выполняются с постредактированием и рассылаются пока еще не многочисленным, но «требовательным» заказчикам выполненные на машине переводы с английского языка по вычислительной технике и программированию. Заключены договоры на использование системы англо-русского машинного перевода (АМПАР) для перевода текстов по машиностроению, использованию атомной энергии и другим темам. С 1981 г. введены в опытную эксплуатацию системы машинного перевода с немецкого языка на русский (НЕРПА) и с французского на русский (ФРАП), разработанные в ВЦП. Среди советских коллективов, успешно работающих в области МП, можно также назвать общесоюзную группу «Статистика речи», создающую опытно-промышленные системы МП (англо-русский МП текстов по химии полимеров в Чимкентском педагогическом институте и японско-русский МП в лаборатории Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена). Медленно, но верно машинный перевод из отдаленной перспективы становится информационной реальностью.

Имеются сведения о широком использовании за рубежом в рамках Европейского экономического сообщества системы СИСТРАН в целях многоязычного перевода технических текстов. Эта система является одной из четырех, появившихся с 1977 г. на зарубежном коммерческом рынке переводов. По данным американской печати, в 1966 г. на переводы было израсходовано в США около 22 млн. долларов. В 1980 г. эти расходы составили около 200 млн. долларов. Таким образом, за 15 лет ежегодные расходы на перевод в США увеличились почти в десять раз[1].

Известно, что научные коммуникации серьезно сдерживаются языковыми барьерами, «человеческое» преодоление которых все более и более отстает от темпов века и не удовлетворяет потребностей прогресса.

С этих позиций интересно посмотреть на лингвистические основы действующих систем и оценить, в какую сторону пошло реальное развитие, что именно из выдвинутых 20 и более лет назад принципов вошло в практическое использование, а что осталось за бортом и может расцениваться лишь как своеобразный шум или аккомпанемент развитию, которое претерпел реальный МП. Это необходимо сделать по двум причинам. Во-первых, есть еще сторонники «идеального машинного перевода», полагающие, что пока не завершится создание новой теории МП, нельзя начинать разработку систем. Как известно, мы не можем сказать сейчас, что такая теория создана, даже если отвлечься и не принимать во внимание обоснованное соображение о том, что МП — это вообще не теория, а проблема.

[1] Более чем 2500 американских и канадских фирм переводят каждая по 1 млн. слов в год. 500 крупнейших корпораций США в настоящее время «вручную» переводят примерно 1,2 млрд. слов в год. Опытный переводчик переводит со скоростью 1200—1500 слов в час, в зависимости от знакомства с тематикой. Рост расходов на перевод в сочетании с весьма туманными перспективами роста производительности труда человека-переводчика способствует повышению интереса к машинному переводу. В 1979 г. текстильная промышленность ФРГ израсходовала 29 млн. марок на научно-исследовательские работы по машинному переводу.

Во-вторых, часть лингвистов считает, что проблема МП уже решена, и лингвистам — да еще теоретикам — ею заниматься не следует.

Ни в одной из действующих сейчас систем МП не воплотились идеи направления «машинный перевод без перевода, без машин, без алгоритмов», а именно идеи полной независимости анализа от синтеза, многовариантности на всех уровнях, анализа через синтез и пр. [2] Не осуществлен так называемый семантический МП, МП с энциклопедической информацией, проекты которого так и не были доведены до программной реализации. Оказались теоретически и практически невыполнимыми задачи по составлению гигантских толково-комбинаторных словарей, которые были бы наполнены разнообразной, не содержащей противоречий, полностью согласованной детальной информацией. Нет ни одного практического позитивного подтверждения принципам «поколений» МП, отличающихся друг от друга именно независимостью анализа и синтеза, многовариантностью на всех уровнях, степенью эксплицитного использования формализованной семантики [3]. На наш взгляд, это означает практическую несостоятельность направления в моделировании перевода «текст—смысл—текст» и фактически утвердившийся в построении промышленных систем МП примат нового направления: «текст—текст».

Рассмотрим некоторые научные предпосылки, которые можно считать основаниями создавшегося положения.

Развитие МП, выразившееся в построении систем, способных обрабатывать большие массивы разнообразных текстов естественного языка, а не специально подобранные фразы с лексическим составом в несколько сот слов, показало в первую очередь, что представление речевых механизмов в виде исчислений чрезвычайно неэкономно и что практически невозможно использование построенных на таких исчислениях алгоритмов. Одно дело — иметь лингвистическую модель неоднозначности и показывать ее принципиальное действие на специально подобранном массиве многозначных слов (нет необходимости доказывать, что типы многозначности и способы их разрешения настолько разнообразны, что можно всегда найти подтверждение практически любым соображениям на эту тему), другое дело — применять такую модель для практического разрешения многозначности на естественном массиве текстов, не подобранных специально.

Было обнаружено, что сопоставление результатов работы системы МП, построенной по исчисляющему принципу, с результатами перевода или толкования отрезков текста человеком дает возможность заключить, что общая для всех носителей языка повседневная задача осмысления речи не ориентирована специально на обнаружение в ней неоднозначных элементов и решается ими не по строго исчисляющей программе, а как задача распознавания образов [2]. Осмысление речи, по-видимому, является составной частью процесса перевода, хотя процесс перевода, конечно, к осмыслению не сводится: за ним должны последовать и действия по подбору переводного эквивалента. Процесс осмысления можно представлять себе по-разному. Например, это может быть выбор из устойчивых доминантных образов отдельных языковых объектов и текстовых ситуаций, прогнозирование развертывания текста в связи с такими образами, сличение очередного воспринимаемого отрезка с эталоном, прогнозируемым значением предыдущей части текста. Разрешение неоднозначности явля-

---

[2] Независимость анализа от синтеза означает, что анализ ведется без учета требований синтеза — перевода на конкретный язык. Результаты такого анализа, как предполагалось, были бы пригодны для перевода на любой язык без дополнительного обращения к исходному тексту или к отдельным этапам анализа. Многовариантность или множественность анализа (и перевода) — получение множества вариантов анализа на всех уровнях и, соответственно, перевода исходного предложения. Выбор правильного варианта должен осуществляться путем дополнительных и весьма сложных алгоритмических процедур. Анализ через синтез предполагает последовательное обращение в процессе синтеза к отдельным этапам анализа с целью применения его стратегии и получения требуемых для синтеза результатов.

[3] Критика направления «машинный перевод без перевода, без машин, без алгоритмов» содержится в статье [1].

ется частью процессов смыслового восприятия. Эксперименты показали, что в обычных условиях, когда разрешение неоднозначности не выделяется в качестве самостоятельной задачи, оно осуществляется как неосознанный компонент общего процесса смыслового восприятия. Этот компонент предполагает априорное выдвижение гипотез, контекстуально или ситуативно обусловленных, связанных с субъективными вероятностными оценками, детерминированными речевым опытом реципиента.

Трактовка контекстуального выявления значения текстовых единиц как задачи распознавания сложной системы взаимосвязанных образов предполагает лингвистическое описание в виде набора эталонов: а) отдельных формальных и смысловых единиц различной степени сложности, б) определенных текстовых и смысловых ситуаций (согласование, отсылка, эллипсис, связность и пр.). Эталоны фиксируют существенные признаки соответствующих объектов, возможные варианты их реализации, вероятностные характеристики и предсказуемостный потенциал каждого варианта.

В разрешении неоднозначности языковых элементов, трактуемой как часть процесса восприятия, осмысления языкового сообщения, участвуют все анализаторы одновременно без четкого априорного разделения их по уровням. Подтверждение этому предположению можно найти в современных концепциях понимания. Так, П. Реймолд исходит из предположения, что понимание происходит по предложениям (clause), которые аналогичны синтагмам. В процессе понимания синтаксический и семантический анализаторы действуют одновременно. В результате создается семантическое представление трех типов: предварительное, промежуточное и окончательное. Ни на одном из этапов нет перебора вариантов [3].

Итак, можно отметить, что перевод как процесс, базирующийся на предварительном осмыслении того, что нужно перевести, имеет в основе структуру языкового понимания, а последнее характеризуется тем, что неоднозначности, возникающие в процессе понимания, снимаются одновременным целенаправленным действием имеющихся в механизмах речи анализаторов. В связи с этим представление языковых данных в виде исчислений влечет за собой огромный перебор вариантов, что не только делает невозможным моделирование этого процесса даже на сверхсовременных ЭВМ, но и не имеет аналогов в том, как соответствующую задачу решает человек. Исчисление, лежащее в основе идеи о многовариантности на всех уровнях, не дает возможности создать удовлетворительно действующую рабочую модель распознавания [4].

Второй момент, который ясно выделяется в процессе современного развития, следующий. Процесс решения интеллектуальной задачи требует особого взаимоотношения материала задачи и алгоритма решения. Раз навсегда заданное отделение материала задачи от алгоритма ее решения, как правило, не может гарантировать определенный успех. Это обстоятельство было замечено в эвристическом программировании, в частности, в ситуационном управлении. Предоставим слово специалистам. «На данном этапе анализа есть все основания полагать, что разобщение материала задачи и операций по ее преобразованию является одной из причин наблюдающейся в ряде случаев неэффективности машинных программ по сравнению с мыслительной деятельностью человека» [5]. Заметим, что машинному переводу в этом отношении крайне не везло. Именно в отношении него высказывались суждения такого содержания, что дело-де лингвистов только дать описание языка в достаточно формальном виде, а алгоритм перевода сделают математики без помощи лингвистов. Никто никогда не высказывал таких смелых предположений в других областях

[4] Можно отметить, что исследователи, занимающиеся искусственным интеллектом, пришли практически к такому же выводу. «Искусственный интеллект» в настоящее время сводится к конструированию автоматических систем, способных по командам, подаваемым на естественном языке, выполнять некоторые простейшие действия. Для распознавания высказываний на естественном языке чаще всего применяется грамматика, в основе которой лежат не «глубинные», а так называемые «аннотированные поверхностные» структуры [см. 4]. Естественно, что при этом резко сокращается число порождаемых (распознаваемых) вариантов структур.

(например, в преподавании иностранных языков это выглядело бы так: «дайте математикам описание языка, и они научат людей любому языку!»).

Приведенная точка зрения, т. е. соображение о том, что материал задачи и алгоритм по его преобразованию должны существовать вместе, не означает защиты того принципа, что лингвистическое описание и алгоритм работы с ним для целей собственно машинного перевода должны быть слиты воедино. Как показала практика построения ранних систем машинного перевода, при этом затрудняются пополнение и корректировка словарей и схем системы по результатам дальнейшей обработки текстов. Поэтому здесь должен быть соблюден принцип некоторого оптимального разделения: независимость описания от алгоритма не должна осуществляться буквально и во всех случаях (всякую полезную идею можно довести до абсурда), она должна лишь точно отражать алгоритмические — системные — потребности комплекса программ для решения данной задачи. Наверное, можно предложить разные модели, осуществляющие оптимальное разделение описания и алгоритма. В частности, такому подходу удовлетворяет двухкомпонентная модель перевода на базе двуязычных переводных соответствий — модель перевода по переводным соответствиям, разработанная одним из авторов настоящей статьи и осуществленная в виде действующей системы МП с английского языка на русский — АМПАР [6; ср. также 7].

Представляется целесообразной постановка вопроса, согласно которой между общими моделями языковой деятельности человека, затрагивающими процессы перехода от смысла к его выражению на языке и обратно, и совокупностью фактов, образующих «поверхностный» слой языка, должны лежать некоторые рабочие модели или класс таких моделей, точно соответствующих данной прикладной задаче, например, МП, конкретной разновидности информационного поиска и пр. Правильным представляется называть такие модели «воспроизводящими инженерно-лингвистическими моделями», как это делает Р. Г. Пиотровский [8]. Важнейшей чертой таких моделей является то, что они обладают устойчивой обратной связью, которая дает возможность по результатам работы корректировать, пополнять и развивать модель на новом материале. Только таким путем и возможно решение задач такой высокой сложности, какой характеризуется, например, МП. В рамках исследований группы «Статистика речи» получен обширный фактический материал, объективно характеризующий разнообразные уровни строя языка с точки зрения функционирования в дву- и многоязычной коммуникации. Эти данные, носящие статистический и достаточно формализованный характер, могут с успехом быть использованы и используются в конструировании инженерно-лингвистических моделей, а также практически пригодных и применяемых алгоримов и систем смыслового кодирования, пословно-пооборотного МП и пр.

Когда мы от общих соображений переходим к задаче собственно межъязыкового перевода, то становится очевидным, что механизмы, которыми пользуется человек-переводчик, изучены совершенно недостаточно. По какому пути идет человек-переводчик: «текст-смысл-текст» или «текст-текст»? Ответ на этот вопрос не очевиден. Практически все теоретики «человеческого» перевода соглашаются с тем, что переводчик не строит в уме «глубинной структуры», прежде чем приступает к поиску «поверхностного» выражения заданного содержания в выходном языке. Над этим вопросом задумывались теоретики перевода и тогда, когда «машинизация» перевода только ставилась на повестку дня. В [9] указанная проблема разрешается делением перевода на собственно перевод (на уровне языковых средств) и интерпретацию, при которой переводчик, поняв ситуацию, отвлекается от языковых средств ее описания и дает собственное ее описание на выходном языке без оглядки на собственно переводные соответствия. Далее указывается, что в реальном процессе перевода перевод и интерпретация взаимосвязаны. Для разных типов перевода соотношение этих двух видов преобразований тоже различно: в художественном переводе преобладает интерпретация, в техническом —

собственно перевод. При всем том, что эта типология безусловно отражала важнейшие стороны переводческой деятельности человека, она была только намечена, дальнейшего развития как таковая не получила: соответствующие исследования стали вестись в направлении «перевод без перевода».

Вообще говоря, не обязательно для построения системы машинного перевода исходить из того, как перевод делается человеком. Самолет не является моделью полета птицы, принцип колеса не соответствует тому, как передвигается человек, человек считает в десятичной системе, а машина в двоичной и пр. Однако важно то, что в машинном переводе каждая операция алгоритма соответствует действиям человека. В случае автоматического перевода (АП), однако, существенно то, что среди элементарных операций, с помощью которых моделирующая система реализует требуемый процесс (операции поиска отдельных элементов информации, их записи, сравнения имеющихся записей, их изменения и т. д.), нет таких, которые не имели бы функционального аналога среди операций, выполняемых человеком в ходе переводческой деятельности. Отсюда естественно сделать вывод, что и организация этих операций в системах АП должна быть принципиально аналогична организации процесса перевода человеком текстов с одного языка на другой. Если при этом иметь в виду, что человек, как правило, стремится организовать свою деятельность так, чтобы использовать находящиеся в его распоряжении инструменты и средства максимально эффективно и экономично, можно ожидать, что адекватность и оптимальность работы систем, моделирующих эту деятельность на основе функционально сходных средств, будет тем выше, чем больше внутренняя структура их функционирования будет приближена к структуре рассматриваемого процесса [10].

Путь «текст-смысл-текст» применительно к МП естественно ставит два основных условия своего осуществления: получение полной смысловой записи переводимого предложения (и текста в целом) и исключение человека из этого процесса. Действительно, если машину научить извлекать смысл, то все «переводческие» трудности в виде подбора стилистических эквивалентов, поиска реалий, несовпадающих грамматических конструкций и т. п. становятся ненужным этапом. При этом на выходном языке появляется возможность построить полностью идиоматичное высказывание, не связанное каким-либо существенным образом с поверхностным уровнем, с его «непринципиальными» трудностями. Редактор такому переводу не нужен. Однако практическое состояние дел с построением систем машинного перевода на этом пути показывает, что реально создать такую систему невозможно в каком-либо реально обозримом будущем. Моделируя «тотальное» владение языком и пользование им человеком для всех задач общения, этот путь игнорирует специфику перевода, что дает о себе знать. Итог развития лингвистических исследований в рамках «идеального МП» показывает, что ненаправленные на конкретные задачи теоретические исследования не принесли пользы ни теории, ни практике МП. Они, может быть, и дали что-либо для общего языкознания, но скорее всего они продемонстрировали лишь беспредельную сложность языка и закономерностей его использования. Тем самым они еще раз показали, что теория должна строиться с определенной целью, для решения четко осознанной проблемы, а не вообще.

Проблема МП, в свою очередь, за последнее время и у нас, и за рубежом получила конкретную постановку: МП на современном этапе и в ближайшем будущем нецелесообразно и невозможно делать, исключая человека-редактора. Творческую часть переводческого процесса ЭВМ сможет взять на себя лишь при условии, что будет создан робот, полностью воспроизводящий интеллектуальные способности человека к творчеству (возможность построения такого автомата является предметом теоретических дискуссий). МП сегодняшнего дня и ближайшего будущего — это массовый МП научно-технических текстов и документации с пост-, интер- или предредактированием (или одновременно включающий все эти операции). Это вовсе не значит, что лингвистическая теория

в МП не применима. До сегодняшнего дня нет четких теоретических основ оптимизации, наиболее выгодного алгоритмического упорядочения тех «поверхностных», простых, массовых и доступных сведений о языке, которые необходимы для осуществления этого грубого и массового МП, хотя двадцать лет назад многие теоретики МП утверждали, что «95-процентный МП» сделать просто. Далее, необходимо повышение качества машинного продукта, от чего существенно зависит экономия и эффективность МП как информационной технологии. Однако уже тогда, как и сейчас, было хорошо известно, что повышение качества МП даже в незначительной степени по сравнению с результатами работы «простых» систем требует гигантских усилий. Пути наиболее оптимального направления этих усилий до сих пор не определены. Вовсе не очевидно, что для повышения качества перевода нужно эксплицировать синтаксическую и семантическую структуру. Стремление добиться этого приводит нас к выявлению все новых и более сложных видов неоднозначности языковых единиц и конструкций. Достаточно сказать, что эксплицитное определение «правильной» смысловой структуры высказывания представляет собой сложнейшую задачу хотя бы потому, что авторы сплошь и рядом допускают именно семантические неправильности, ошибки, что искусство правильно выразить мысль вообще есть удел сравнительно небольшого количества авторов. Идя по этому пути, мы должны добиваться того, чтобы перевод был лучше оригинала. Но это противоречит самой идее перевода.

Извлечение максимума информации из текста — вот основное направление МП. Экстралингвистическую информацию следует использовать в минимальной степени, т. к. ее создание и представление, как показали опыт и работы по искусственному интеллекту,— это огромная проблема. Именно невозможность отобрать и преобразовать большие объемы такой информации является одним из основных препятствий в переходе от экспериментальных систем искусственного интеллекта к практическим. Это в такой же мере относится и к МП, который является задачей практической.

Вообще говоря, с точки зрения абстрактной теории между подходами к МП с разной степенью использования «смысла» нет особого противоречия. В любой общей модели языковой деятельности человека, универсальной в своей постановке, оперирование смыслом безусловно отражает важный аспект владения языком. Однако эти процессы не поддаются эксплицитному выделению и моделированию, т. к. мышление неразрывно связано с языком. Модели на пути «текст — текст» учитывают это обстоятельство. Они ориентируются на то, с чем мы реально можем работать. Поэтому без них не может быть построено реальной системы МП. В отличие от универсальности первого пути, за которую приходится расплачиваться практической громоздкостью и непригодностью, модели «текст-текст» точно описывают именно переводческую языковую деятельность человека.

В моделировании перевода важно отразить постепенность обнаружения машиной свойств языковой структуры. Перевод не есть процесс, в котором существует одна задача с раз навсегда заданными исходными данными. По мере осуществления перевода происходит уточнение единиц перевода, разрешается совокупность задач, из которых и состоит перевод как процесс. Многие из этих задач получают решение тогда, когда решены некоторые предыдущие задачи: результаты их решения образуют входные данные следующей задачи. Все релевантные для перевода свойства языковой структуры обнаруживаются движением от простых данных, выявляемых без связи или с минимальной связью с другими, до самых сложных, определяемых взаимодействием скрытых от наблюдения уровней.

Лингвистические особенности моделирования для целей построения систем МП на современном этапе можно было бы описать следующим образом.

1) Перевод как процесс межъязыкового преобразования не есть перевод на смысловой язык. Это не реферирование и не индексирование. Перевод есть процесс достижения эквивалентности на уровне языковых средств

выражения, и эта специфика перевода не может быть снята путем ухода на некий «универсальный смысловой уровень». Последний может использоваться лишь как средство для разрешения неоднозначностей, не разрешаемых на других уровнях. Должны быть созданы специальные модели языковой деятельности, ориентированные на собственно перевод.

2) В основе моделей перевода должны лежать положения, оптимизирующие нахождение переводных соответствий для данной языковой пары. Если переводные соответствия занимают наиболее удобную позицию по отношению к слову, то их следует ориентировать именно на эти единицы. В центре моделирования естественно поставить понятие единицы перевода — или переводного соответствия — и соответствующую типологию соответствий.

3) Приобретают особое значение сопоставительные методы, разработанные в рамках контрастивной лингвистики для установления типологии переводных соответствий. Языковые универсалии малочисленны, пока еще недостаточно четко и полно выявлены и не могут служить основой типологии переводных соответствий, тем более такой, которая могла бы быть поставлена в центр моделирования перевода для ЭВМ. Обобщения и реальные универсалии поверхностного переводного плана могут возникнуть после обобщения типологических исследований в целях перевода для конкретных языковых пар. От простых переводных соответствий ко все более сложным, от близких по структуре и строю языков ко все более различным на типологической шкале, которую также предстоит еще создать,— таков, видимо, будет путь такого изучения.

4) Должна быть разработана методика выявления соответствий в конкретной модели. Набор эталонов, подобный тем, которыми, возможно, пользуется синхронный переводчик, должен быть упорядочен оптимальным для задачи образом. С самого начала очевидно, что этот набор не может быть исчерпывающим и полным. Поэтому возможность его пополнения должна быть предусмотрена структурой модели. Соответствия должны образовывать потенциально открытую систему.

5) Нет сомнений в том, что целый ряд переводческих трудностей не может быть разрешен без экстралингвистических сведений, вне языковой семантики. Однако моделирование для МП должно базироваться в первую очередь на семантике языковой, выраженной в тексте, причем такими средствами, которые можно эксплицировать. Выявление и использование такой семантики должно предшествовать созданию тезаурусов, рассчитанных на привлечение экстралингвистической семантики.

6) Особое значение имеет контекст. Только в нем машина может получить информацию, необходимую для перевода. Выявление контекстной обусловленности релевантных для перевода признаков и единиц необходимо для построения соответствующих алгоритмов. Должны быть описаны разные типы контекстов и разные типы зависимостей от контекстов тех или иных лексических или грамматических значений. Поскольку огромная масса контекстных зависимостей проявляется на лексическом уровне, особое значение приобретает конструирование специальных словарей, например, контекстологических словарей, используемых для разрешения многозначности многозначных слов [11].

7) Для моделирования МП нужна не только «трансляционная» лексика, т. е. лексика через призму переводных соответствий, но и «трансляционная» грамматика, т. е. совокупность грамматических правил, упорядоченная в соответствии с последовательностью выявления признаков, нужных для постепенного нахождения переводных соответствий.

8) Большое значение для построения действующих систем МП продолжают иметь частотные данные о языке и речи. Несмотря на то, что уровни высокого порядка (синтаксический и семантический) плохо описываются со статистической точки зрения — точнее, нужна обстоятельная содержательная интерпретация статистическим данным этого уровня — лексика, морфология, словосочетания в их описаниях для МП существенно базируются на статистических данных. Стратегия количественного и качественного перехода от максимально четко выраженных речевых

и языковых зависимостей ко все более тонким их взаимоотношениям в текстах и использования этого для построения практических систем является чрезвычайно важной.

Названное выше не исчерпывает того, что нужно для более эффективного, чем сейчас, моделирования переводческой деятельности в целях МП. Теория МП с точки зрения наиболее эффективного нахождения переводных соответствий еще должна быть разработана. Она должна сочетаться с теорией человеческого перевода в том отношении, что нужна, быть может, единая типология различных видов перевода. В настоящее время нет определенности относительно того, чем технический перевод отличается от перевода газетных или юридических текстов и отличается ли вообще, какие параметры входят как наиболее важные в один из видов перевода и отсутствуют в другом. Здесь пока не ясны даже самые общие характеристики. Необходимы специальные исследования в этой области, тогда переводоведение станет действительно лингвистической наукой, одной из областей которой будет современный МП, который, безусловно, ближе к лингвистике и теории переводов, чем к весьма общим положениям, сформировавшимся в исследованиях по искусственному интеллекту.

МП был и остается реальной научно-технической задачей, решение которой в основном зависит от лингвистики. Нет ничего более неверного, чем считать МП решенной задачей и потому обращать усилия на новые модные направления.

В МП есть все уровни исследования — от теории до сугубо прагматических решений, связанных с программным моделированием отдельных этапов. И от лингвистов зависит, насколько успешно будет развиваться МП в нашей стране. Пути его совершенствования беспредельны.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Котов Р. Г.* Лингвистика и современное состояние машинного перевода в стране.— ВЯ, 1976, № 5.
2. *Лейкина Б. М.* К моделированию механизма контекстуального выявления значения речевых единиц.— В кн.: Представление знаний и моделирование процессов понимания. Новосибирск, 1980, с. 24.
3. *Reimold P.* Psycholinguistic model of sentence comprehension.— American journal of computational linguistics, 1975, Microfiche 27.
4. *Marcus M. P.* A theory of syntactic recognition for natural languages. Cambridge (Mass.) — London, 1980.
5. *Пушкин В. Н.* Принципы математического моделирования познания и пути построения систем искусственного интеллекта.— Вопросы кибернетики. Моделирование познания и мышления. М., 1980, с. 17.
6. *Марчук Ю. Н.* О моделировании перевода.— Вопросы информационной теории и практики, 1980, № 43.
7. *Марчук Ю. Н.* Синтактико-семантический анализ в системе машинного перевода АМПАР.— В кн.: Международный форум по информации и документации, 1980, т. 5, № 2, с. 14—15.
8. *Пиотровский Р. Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979.
9. *Ревзин И. И., Розенцвейг В. Ю.* Основы общего и машинного перевода. М., 1964.
10. *Шаляпина З. М.* Автоматический перевод или моделирование переводческой деятельности человека.— Международный форум по информации и документации, 1980, т. 8, № 2.
11. *Марчук Ю. Н.* Контекстологический словарь для машинного перевода многозначных слов с английского языка на русский. Ч. I—II. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ЛАПТЕВА О. А.

ТИПА ИЛИ *ВРОДЕ?*

I. В последнее время в русской разговорной речи очень распространилось словечко *типа*. Оно слышится и в бытовых разговорах, и в общественно адресованных выступлениях широких слоев носителей литературного языка, в особенности молодого и среднего поколения, а тем более людей с техническим образованием. Даже дети используют его в своей речи широко и свободно, что свидетельствует о его активности. Экспансия слова *типа* направлена не только по вертикали (оно захватывает речь нескольких поколений), но и по горизонтали: *типа* завладевает смежными сферами своего семантического поля, по традиции прочно принадлежавшими его синонимам *вроде*, *наподобие*, *как*, *такой как* и некот. др. Эти синонимы терпят урон, отступая в живой речи на позиции пассивного запаса литературного языка. Названная экспансия связана с внедрением в современное речевое общение стихии профессионально-производственного обихода, где высоко котируются способы точной номинации, логического определения понятия [1]. Эта престижность «научности», смысловой точности языкового средства не исключает, а, более того, предполагает стремление к немножественности синонимов, наделенных разными лексическими и грамматическими оттенками значений, к стабилизации какого-либо из них. Обычно из ряда синонимов предпочитается тот, который соответствует языковой моде, а в ее формировании не последнюю роль играет некая шкала языковых ценностей, которая в нашем случае базируется на представлении о том, что речевая культура требует современных, «научных» способов выражения смысла.

История русского литературного языка знает немало случаев, когда слово из канцелярско-деловой или производственной сферы входило во всеобщее употребление. Этот процесс характерен не только для отдельных слов, но и для становления ряда пластов и групп русской лексики. По иронии исторического развития прямой предшественник слова *типа* — предлог *вроде* тоже берет свое начало в обиходе канцелярий, язык которых в начале и середине XIX в. не был четко отграничен ни от производственного, ни от общеупотребительного. *Вроде* и по своему корневому значению близко к *типа*: ведь *тип* и *род* — слова одной лексико-семантической группы с основным значением, направленным на классификацию, отнесение предметов к разряду им подобных. Однако этимологическая основа, «внутренняя форма» слова *въ родѣ*, его производственно-деловое происхождение сейчас совсем не ощущается. Осталось только значение предлога. Иногда слово *вроде* выступает и в функции частицы или наречия. В словаре Даля ни *вродѣ*, ни *въ родѣ* не отмечено, что свидетельствует о его сравнительно недавнем вхождении в литературный язык.

Е. Т. Черкасова, специально исследовавшая историю *вроде*, прослеживает изменение его употребления в русской художественной литературе XIX в.— от свободного двух- и трехчленного сочетания до предложного сочетания через стадию переходную, допускающую две возможности толкования: 1) при передаче отношений рода и вида *вроде* выступает как средство лексическое, причем субстантивность именного компонента поддерживается его функцией несогласованного определения; 2) при передаче определительно-сопоставительных отношений *вроде* выступает как

[1] Этот процесс регистрируется лингвистами, и прежде всего лексикологами и лексикографами. Сошлемся здесь на словарь-справочник [1] и на статью Ф. П. Филина [2].

средство грамматическое, причем субстантивность именного компонента ослабляется выражением сравнения. Отмечается и приглагольное *вроде* [3, 4].

На фоне быстро осуществившейся грамматикализации *вроде* забылось его классификаторское значение (обозначение отношений рода и вида), оно стало восприниматься как обладающее лишь значением определительно-сопоставительным или приблизительного уподобления. В этих условиях понадобилось новое слово с широким комплексом значений и при этом обладающее явственным научно-техническим или деловым генезисом, обеспечивающим его стилистическое восприятие в качестве средства с возможностями точной номинации.

Таким весьма деятельным, теперь уже набравшим полную силу, конкурентом *вроде* стало *типа*. Оно возникло в недрах специальных сфер речевого общения. Сохраняя прочную связь со своим прародителем *тип*, оно до недавних пор использовалось только в тех контекстах, к которым применима помета «спец.». Специальный контекст расширялся лишь в случае употребления трехчленного сочетания «что-либо какого-либо типа», предполагающего наличие перед *типа* адъективного квалификатора или конкретизатора. В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» отмечено только такое употребление *типа* при 5-м значении слова *тип* — «вид, род, разновидность чего-либо» (т. 15, с. 443), причем изменения категориальных свойств существительного в пользу другой части речи не отмечено. Отдельно, без видимых оснований, но, очевидно, как дань специальному происхождению *типа* оно отмечается в составе этой же конструкции, но с определенной лексикой — двигатель, танк, станок и т. п. какого-либо типа. При 6-м значении *тип* оно отмечается тоже в этой конструкции, но с другой лексикой — лицо, нос и т. п. восточного, монгольского и т. п. типа. В 9-м издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, вышедшем под редакцией Н. Ю. Шведовой (М., 1972), при слове *тип* впервые фиксируется употребление формы его род. падежа с формой род. падежа другого существительного без предлога, причем отмечается, что в этом случае словоформе присуще значение предлога: «6. Род. пад. *ти́па* употр. в знач. предлога: вроде, сходно с кем-чем-н. Устройство типа центрифуги» (с. 733). Как видим, пример дается из профессиональной речи, а словоформа *типа* приводится при исходном *тип*, хотя и как имеющая отдельное значение, т. е. признается ее производный, несамостоятельный характер; предложное же значение считается присущим не самому *типа*, а лишь особому употреблению формы род. пад. от *тип*. Что касается других словарей, то эта форма в них вообще не фиксируется; нет ее и в словаре [1].

А между тем она давно уже бытует в письменно-литературной речи для выражения значения квалификации предмета. При этом она выступает в составе конструкций трех видов — трехчленной с прилагательным-квалификатором, двучленной с последующим род. пад. без предлога другого существительного и двучленной с последующим им. пад. наименования-квалификатора, обычно имени собственного.

Употребление *типа* в составе трехчленной конструкции с атрибутом является традиционным достоянием русской литературы. Сейчас эта конструкция также широко используется. Ср., например, в художественной литературе: «... и быстрый гарсон в голубом фрачке с погончиками принес нам по маленькому пузырьку какой-то слабо газированной воды *колодезного типа* и высокие, отмытые до радужного сияния стаканы с кубиками льда и кружком лимона» (А. Крон, Бессонница); «На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи *больничного типа*, почему-то с черным клеймом автобазы» (В. Катаев, Алмазный мой венец); «Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанный широким кожаным поясом *офицерского типа*, в рубашке с засученными рукавами...» (там же). Не обходится и без казусов, вызванных, в частности, смещением семантических отношений атрибута и *типа* в деловой речи, ср.: «Прием детей *сельского типа* с 8 ч. до 11 ч.» (объявление, Крокодил, 1979, № 19).

Обе двучленные конструкции являются генетическим достоянием специальной речи. В современной письменно-литературной речи они, кроме специальных (научных и технических) текстов, широко распространены не только в деловой, но и публицистической, особенно газетной, речи. Ср.: «На сырых лугах Украины, Белоруссии, Прибалтики в сентябре цветет безвременник осенний, клубнелуковичное многолетнее растение. Цветы лилово-розовые *типа лилий*» (Неделя, 1978, № 35). При этом круг используемой в конструкции лексики шире собственно специальной (как указывают словари): «Проще всего свести дело к бескультурной болтовне персонажей типа заведующего клубом из фильма „Карнавальная ночь" — но такого рода ископаемые отходят в прошлое» (ЛГ, 1980, 13 авг.). Здесь наблюдается и прямой отход от профессионально-производственного контекстного окружения при употреблении *типа*. Ср.: «В кастрюлях *типа котелка с выпуклым дном* готовить на электроплите практически нельзя» (Неделя, 1978, № 40); «Но я ушел оттуда и наведался в другую лавчонку, неподалеку: это было заведение *типа комиссионного магазина*» (Знание — сила, 1978, № 10); «В своей статье в журнале „Нейчуропа" Розендаль указывает, что на кормушках *типа столика* корм быстро портится и загрязняется» (Наука и жизнь, 1981, № 4).

Двучленная конструкция с именем собственным-квалификатором в форме им. падежа, придя в современную прессу из профессиональной речи, тоже получила здесь широкое распространение. Ср.: «Она достигается доставкой нового оборудования на орбиту с помощью грузовых кораблей *типа „Прогресс"*» (Комс. пр., 1978, 19 июля); «... людям пожилого возраста рекомендуются различные комплексы поливитаминов *типа „Ундевит"*» (Моск. пр., 1979, 25 янв.); «На колесах были покрышки *типа „500"*, изготовленные одной из трех крупнейших компаний отрасли — «Файерстон тир энд раббер компани"» (Неделя, 1978, № 41); «Запачканную плиту легко отчистить пастой *типа „Санита"*...» (Наука и жизнь, 1979, № 8); «В пятое купе вагона № 11 вошел высокий солидный мужчина с чемоданчиком *типа „дипломат"* и дорожной сумкой» (Крокодил, 1981, № 20). В дикторской речи: «... который позволит швартоваться не только паромам *„типа Сахалин"*, но и океанским судам» (радио, посл. изв.); «Больше всего в нашей стране электровозов типа *„Шкода Ж-2"*» (то же). Из записки зрителя: «Смогут ли фильмы *типа „Гараж"* повлиять в лучшую сторону...» (Нева, 1980, 9).

В художественную литературу обе двучленные конструкции почти не попадают. У Т. А. Кузьминской встретилось: «... большинство людей *типа Берга*» (Моя жизнь дома и в Ясной Поляне). У В. Г. Короленко: «... к Денисюку пришел высокий старик с благообразным лицом *типа крупного чиновника*» (История моего современника). У М. А. Булгакова: «Рядом с письмом самоубийцы тетрадь *типа общих тетрадей* в черной клеенке» (Морфий). А в современной художественной прозе почти обязательна стилистическая маркированность: «В доме стоял запах папирос, но не тех „гвоздиков", что курила Маргарита Антоновна, а настоящих, толстых, *типа „Казбек"*» (И. Грекова, Хозяйка гостиницы).

Изредка обе двучленные конструкции контаминируются, в результате чего имя-квалификатор выступает в форме род. падежа: «Здесь и документальные биографические повести, и научно-популярные очерки, и своеобразные композиции *типа «Живых страниц»* (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский в воспоминаниях современников, дневниках, письмах, автобиографических произведениях) и т. д.» (ЛГ, 1980, 23 июля); «Медицинский еженедельник. *Типа „Недели"*» (Ю. Крелин, На что жалуетесь, доктор? — в речи персонажа); «Империалистические диктатуры *типа Сомосы* в Никарагуа» (радио, посл. изв.).

Несоответствие исходной специально-профессиональной стилистической установки конструкции и ее более широкого использования в речи с расширением лексического наполнения широко подмечается прессой и применяется с целью создания комического эффекта. Вот примеры с конструкцией «*типа* + им. квалификатор»: «Нужно немедленно и полностью запретить продажу вредных крепленых вин *типа „бормотуха"*» (ЛГ, 1979,

28 нояб.); «Знатные гости схватили гусиные перья, засекли время и быстро настрочили забавные балладки. *Типа „Рано утром вечерком поздно на рассвете баба ехала верхом, развалясь в карете“*. Конечно, с аристократическим антуражем» (Крокодил, 1981, № 11); «Валторны, у вас опять главная тема блестит, опять получается фирменный поезд *типа „Янтарь“* с салфетками на столиках, пачками сливочного печенья, с действующими кондиционерами в мягких вагонах» (ЛГ, 1979, 12 сент.); «Эти неизвестные мне шедевры мастеров творения кистью она видит наяву и грозится, что не даст мне покоя в жизни, пока не увидит их в личной собственности. Также она требует четыре кресла с ручками *типа „львиная морда“* для прихожей и сапоги *типа „гейша“* для улицы» (ЛГ, 1979, 9 мая). Авторская ирония выражается и употреблением бытовой лексики, и соседством конструкции с сугубо книжно-письменными (в последнем примере — *мастеров творения кистью* с излишним и бессмысленным отглагольным существительным на *-ние*).

Особенно активизируется этот прием в «Крокодиле»: «Мне рисовались светлые корпуса овчарен, серебристые сенажные башни, цех стрижки в виде салона-парикмахерской *типа „Чародейки“*» (1979, № 32); «И это предполагает, что в самом уже „Туркменвино“ все службы активней только что прилетевших скворцов и по всей стране, выпроставшись по локоть из рукавов, тянутся к продавцам руки гурманов: — Хоть бутылочку „Чемен Исахра“ *типа мадера*!» (1978, № 29); «Отказ от освещения нисколько меня не удивил. Но почему было ликвидировано столь необходимое в наше время удобство *типа мусоропровода*?» (1979, № 6). Вот пример из фильма «Старые друзья»: «Тебе нужна фамилия поэкзотичнее, *типа Казбекова*» (это обращение к женщине, форма им. падежа).

На обыгрывании всех трех узаконенных письменно-литературной нормой конструкций с *типа* в «Крокодиле» строится целый рассказ (Ст. Родионов, Воды типа..., 1981, № 2), где высмеивается несоответствие разговорного контекстного окружения этим конструкциям, в результате чего сами они приобретают псевдоспециальный характер. Приводить рассказ целиком здесь невозможно, отметим только, что в нем последовательно используются следующие словосочетания: *воды какого типа*? (это реплика диалога — и ответ: *общеукрепляющего*; диалог придает особую остроту высмеиванию псевдонаучности конструкции), *вода типа «Боржоми»*, *вода типа «Нарзан»*, *водичка типа «Нафтуси»*, *вода типа «Полюстрово»*, *водичка типа «Ессентуки» № 1*, *водичка типа «Ессентуки» № 17*, *водичку этого типа*, *вода какого типа*?, *вода типа «Жигулевского»*, *вода какого*? (и ответ: *типа портвейна розового*), *какого*? (и ответ: *типа четырех звездочек*), *вода какого типа*? (и ответ: *типа шипучки... ноль один*).

II. Проникая в устно-разговорную речь, *типа*, опираясь на традиционные, узаконенные письменной речью образцы-конструкции (здесь наподобие письменной речи используются такие обороты, как *больница типа санатория*, *овощерезка типа мясорубки* и под., что и послужило поводом для языковых карикатур фельетонистов), в то же время решительно отрывается от *тип*, становится самостоятельным и очень емким словом и быстро наращивает свой потенциал, расширяя и сферу своих значений, и свою сочетаемость. Это с неизбежностью ведет к изменению его грамматической природы. В будущем словаре русской разговорной речи оно, несомненно, должно приводиться как отдельная лексема.

Ниже приводятся записи современной разговорно-бытовой и общественно-адресованной устной литературной речи, выполненные автором в Москве в 1977—1982 гг.[2]. Они могут характеризовать современную сферу бытования *типа* с точки зрения его сочетаемости, лексических значений и грамматических функций.

---

[2] Неоценимую помощь в коллекционировании материала оказала автору Е. Ф. Шапиро. Автор сердечно благодарен покойному писателю С. Л. Львову, который специально для этой статьи сделал ряд записей и передал их автору для использования. Н. Ю. Шведова прочла статью в рукописи и высказала автору свои соображения, за что автор искренне ей признателен.

Рассмотрим сначала, как ведет себя в устно-литературной речи *типа* в пределах узаконенных письменно-литературной нормой конструкций.

В составе конструкций «*типа* + род. пад. без предлога» форма род. падежа, а также и независимая форма имени обычно бывает представлена не специальным (производственно-профессиональным) словом, хотя это и возможно, но словом, относящимся к конкретно-бытовой лексике. В результате, как и в иронической прозе, происходит столкновение стилистического плана — книжный характер конструкции еще полностью не утратил своей маркированности, и с точки зрения хорошего литературного вкуса такие построения воспринимаются в лучшем случае как небрежные, а в худшем — как просторечные, однако большинство говорящих не ощущает стилистического слома, иначе нельзя объяснить их чрезвычайно широкого распространения. Ср.: *Кофта типа распашонки из тонкой шерсти*; *Какая-то музыка типа духового оркестра*; *привязанность типа влюбленности*, *Эта иголка типа слона*; *Он один такой попался, типа наших бичей*; *Он очень непосредственный, добродушный, что-то типа маленького принца в нем есть*; *у них широкий диапазон: типа трех действий* (о лекарственных травах); *Гостевая комната даже типа апартамента.* С именем собственным в форме род. падежа: *хочу работать в цирке артистом типа Вольфа Мессинга* (из письма); *Все остальное — это перепечатки американских комиксов типа Микки Мауса*; *Это уважаемый ученый типа Ермолаева и так далее*; *Самые лучшие ученые, типа Келдыша, типа Капицы*; *Попадают молодые кафедры ну типа там Донецка вот таких городов.* Необычность последнего примера создается за счет наименования, по принципу своему близкого к метонимии. В шутливой речи: *Разные девочки и мальчика типа Федив такой поход не ходят*; *Там семейство типа Ивановых работало.* При имени собственном часто происходит опущение существительного в форме род. падежа после *типа*: *Я был на выставке. Это типа Глазунова*; *Она мне давала книги читать типа Катаева «Время — вперед»*. Ср. также: *Мы записываем народные анекдоты типа о шуте Балакиреве.* Эллиптическое опущение возможно и при имени нарицательном: — *Ты можешь пойти в любую библиотеку.— Ага, в любую, типа твоего папы.* Из коллективно адресованной речи: *Это сложная форма, которую мы должны с вами увидеть, типа восьмерок, например* (на семинаре); *Он должен всегда оказать определенную помощь типа консультации* (на семинаре); *Пусть кто-нибудь нам расскажет о примете хорошо известной, типа черной кошки или пустого ведра* (ведущий телепередачи «Веселые ребята»); *Самый трудный пересказ — это краткий, это типа аннотации в книге* (на родит. собрании).

Во всех этих случаях *типа* выступает в значении приблизительного уподобления и вполне синонимично *вроде*. Другое его значение, свойственное специальной речи,— отношение рода и вида — здесь не встречается. Вот пример, ярко иллюстрирующий значение приблизительного уподобления: —*Это салфетка?* — *Это ти́па салфетки.* Ударение, сделанное говорящим на *типа*, подчеркивает это значение. При наличии прилагательного активизируется значение квалификации предмета по его признаку. Употребление в конструкции лексических пар, которые сами по себе могут представлять родо-видовые отношения, могло бы способствовать возобладанию в конструкции именно этого значения, однако сами условия протекания разговорной речи и ее характер решают вопрос в пользу единого значения — приблизительного уподобления, которому уступают место значения видовой и признаковой квалификации предмета. Ср.: *Тут было много мясных всяких консервов типа бефа.* В шутливой речи: *Здесь водятся гигантские мыши типа динозавров.* Встречаются случаи, когда говорящий проясняет значение конструкции последующим пояснением: *купила горшок типа чугуна, в форме чугуна.*

Особенно охотно обращаются к обороту «типа + род.» в тех случаях,

когда надо назвать нечто, для чего не существует или чему трудно найти определенное название, ср.: *с ним какие-то странные вещи типа припадков*. Управляющее слово, носящее в подобного типа примерах прономинализованный характер, довольно свободно элиминируется в речи как лишенное информативной нагрузки, а иногда добавляется в конце: *Она болела ну типа паралича болезнь у нее была*. Примеры с отсутствием управляющего существительного:— *Что брать? — Типа кедов; Нужно будет мне потом где-то, в одном местечке, типа сноски дать, кто откуда;— Какие историки? — Типа вас;— Будда — это кто? — Это типа бога*. Характерно, что глагол-сказуемое при отсутствии управляющего существительного имеет форму ср. рода (в прошедшем времени), обладающую максимальной неопределенностью при идентификации рода субъекта и сближающую этим своим свойством конструкцию с безличной, хотя это сближение лишь смысловое, поскольку двусоставность конструкции налицо: *Это только что покосили. Вчера здесь было типа буерака*.

Отсутствие управляющего существительного в данной конструкции — весьма распространенное явление во всех разновидностях современной устной литературной речи — и в обиходно-бытовой, и в речи коллективной адресации. Это отход от нормированного облика оборота, расширение, а может быть, и нарушение, литературной нормы. Ср.: *У них четыре преподавателя защитились и собрались у нас типа складчины; У меня было что-то такое не очень понятное горло болело типа фарингита;— Нет тут никакой тряпки? — А вот перед вами типа щеточки;— Это продавались ну я не знаю.— Типа лимонов как нам за столом давали?; Они нам там читали типа лекции;— А эти конфеты не очень вкусные, потому что внутри не шоколад, а типа крема;— Ты ведешь весь труд? — Весь труд и там еще есть нагрузки, которые оплачиваются.— Продленка?— Ну, там, понимаешь, типа заучества в продленной группе; Есть смысл провести цикл лекций и сделать типа семинарских занятий* (на ученом совете); *Ей предлагали на почту и еще ей предлагали типа уборщицы в поликлинику;— У меня что-то с ногой случилось.— А что с ногой?— Ну, типа седалищного нерва*.

Значение приблизительности номинации в этих примерах можно было бы определить как «нечто вроде» или «что-то вроде» (во втором случае степень приблизительности сильнее). Это или другое неопределенное местоимение могут эксплицитно присутствовать в конструкции, занимая позицию неназванного существительного. Ср.:— *Если что-нибудь прольется, будут пятна.— А что может пролиться?— Что-нибудь типа одеколона; И когда я с него спрашиваю что-нибудь типа доклада, он говорит, что ему некогда писать, у него тренировки; его рубашка и еще что-то типа белья висело на стуле; у меня еще что-то с ногой типа радикулита; какая-то там типа приемной и вот она сидит* (в этом случае обращает на себя внимание согласование неопределенного местоимения с управляемым существительным). Вместо управляющего существительного может быть представлено и указательное местоимение: *она может еще что-нибудь придумать типа того кто не был* (т. е. спрашивать на экзамене тех, кто не был на консультации). Из случаев с местоимениями, которые синонимичны случаям с отсутствием управляющего существительного, нерегламентированными нормой можно считать лишь те, где употреблено неопределенное местоимение-прилагательное. Когда такие обороты попадают в регламентированную речь, существительное восстанавливается, ср.: *какой-то несчастный типа нашего Димочки* (телефильм «Впереди — цель»).

Значение «вроде» приближается к «около», если после *типа* следует форма числительного, причем не обязательно в род. падеже: *ошибок было огромное количество типа шестьсот что-то ошибок там нашлось* (падежной форме числительного способствует употребление его в разговорной конструкции наложения); *У меня есть такая йога, там что-то типа триста упражнений описано; У нее зарплата*

типа сто двадцать рублей; *Нас вся деревня знала: типа таже собралось человек, наверное, двадцать*; *Хорошо бы купить кофе на всех, чтобы там типа два-три раза пить* (с оттенком уступительного значения); *Все это пьется в определенных дозах, типа там три раза в день.*

Близок к этому случай не с числительными, но с существительными перечислительной семантики, причем тоже не в форме род. падежа:— *А когда идет пароход? — Может в какие-то дни типа в понедельник и в среду.*

Есть и еще одна интересная разновидность рассматриваемой конструкции. Внешняя ее форма здесь полностью соблюдена, однако семантические отношения членов смещены — форма род. падежа вмещает в себя и собственное значение, и значение предшествующего существительного, ср.: *Раздавался свист типа реактивного самолета*; *пение типа соловья*; *брезент типа палатки.* Это происходит из-за обычного для разговорной речи нежелания повторять одно и то же слово дважды, если такой повтор функционально не нагружен. Значение оборота можно определить так: «как у». Любопытно, что и в этом случае, как и в случае с неопределенными местоимениями, само это *как у* может эксплицироваться в конструкции, ср.: *Это приспособление типа Кулибина как у народных умельцев.*

Следующий шаг развития значения конструкции — замещение позиции род. падежа одной атрибутивной формой без субстантива, ср.: *Сейчас по Москве ходит инфекция типа моей*; *эти сапоги типа моих*; *У нее много таких штучек типа моих*; *Он сказал: я хочу красивенькую сумочку. И показал типа какой. Типа моей в цветочек*; *У меня такие котлеты типа капустных*; *мясо типа австрийского*; *Что-то еще есть у них типа театрального*;— *Видишь, какие руки? — Какие? — Типа цыпочных*; *Там такие палочки типа железных я тебе говорила*; — *Мам, у тебя нет баночки типа такой?* (показывает). *И еще знаешь типа какой? — Типа какой? — Типа кругленькой маленькой*; *а вообще металлические подкассетники — это, конечно, хорошо, но только когда они не на таких фрикционных, надо когда они на жестких фрикционных, вот, а когда они на этих на каких-нибудь типа фетровых или что-нибудь, в этом роде — это барахло, они греются страшно*[3]; *Такой вот товарищ типа этого собирает их* (тележки на вокзале). Из официальной речи: *Маневры проводились на местности типа ближневосточной* (телепрограмма «Время»); *ну уж не совсем дикари там были типа африканских* (на лекции); *какой-нибудь банальный пример типа всем нам известного.* Из прессы: «Наши подсчеты показывают: очередей не будет, если организовать по одной консультации *типа нашей* на три-четыре района» (ЛГ, 1980, 23 янв.); «И рядом: „запонки *типа индийских*, цена 11 руб. 24 коп.“ — взятка от одного доброхота» (ЛГ, 1980, 12 нояб., здесь это цитата из записи частного лица). Надо сказать, что в приведенную очень продуктивную схему укладываются не все случаи употребления изолированного атрибутива. Есть и такие, где предшествующий атрибутиву субстантив в речи не получает выражения, ср.: *У меня что-то с ногой. Типа седалищного*; *У вас он типа закусочного, а у меня просто так*, или представлен местоимением, ср.: *Что-то еще есть у них типа театрального.* Вот пример, где простая перестановка *типа* и атрибута по примеру рассматриваемой здесь продуктивной схемы уподобила ей совсем другую, узаконенную нормой трехчленную атрибутивную конструкцию, ср.: *Вот такое платье заказала полная дама типа моего* (т. е. вроде меня, следует уточняющий жест). Пример с перестройкой речи на ходу: *У меня есть мишка олимпийский типа твоей как обезьяна такой.* Пример с изменением падежной формы атрибутива под влиянием падежной формы субстантива: *возьмите какую-нибудь тряпку типа льняную.*

---

[3] Пример взят из статьи Н. Н. Розанова [5].

Пример с изменением формы числа: *Можно сказать, что это новелла. Типа таких, какие печатаются в «Неделе»*. Соотносительность атрибутива в рассматриваемой конструкции с местоименным коррелятом *такой* или *какой* усугубляет компаративный характер ее значения. Отметим еще возможность замещения позиции управляемого родительного указательным местоимением: *Я видела массу сфотографированных сочинений типа того по роману Горького «Мать»*. Из прессы: «Не потому ли, несмотря на все призывы и некоторые практические меры типа тех, о которых шла речь выше, производство на собственном дворе колхозника продолжает сокращаться?» (ЛГ, 1980, 17 дек). Единичный пример замещения позиции родительного придаточным: *Он задал вопрос вот типа что...*

Близость нормативной трехчленной конструкции с атрибутивом и рассмотренной конструкции с атрибутивом в позиции постпозитивного родительного иногда приводит к их смешению в речи, в том числе и телевизионной, где наряду с узаконенным *Выберите мне, пожалуйства, полочку этого типа* звучит и *На двенадцатую ночь приходил праздник, веселье, карнавал, типа этого*. Конечно, это происходит и на лекциях: *рассуждения типа такого что сейчас наша методика...*; *в случаях произношения типа вот такого как вождь...*

Мы подробно осветили во втором разделе этой статьи возможные модификации нормативной конструкции «субстантив + *типа* + зависимая форма род. падежа» в живой устной речи. Не все они нормативны, но все восходят к нормативной письменно-литературной конструкции, хотя порой отдалились от нее чрезвычайно и изменились почти до неузнаваемости. Это, так сказать, пример врастания канцеляризма в живую речь. Примеры показывают, что *типа* получает более широкое и менее конкретное значение, чем *вроде*, а это позволяет ему различным образом (с большей или меньшей степенью выраженности значения приблизительности уподобления) конкретизироваться в контексте.

Таким образом, форма *типа* повторила историю развития отыменных предлогов, выражающих компаративные отношения, грамматикализуя в определенных условиях свое исходное лексическое значение. Отрыв *типа* от исходной формы и лексическая автономность его в приведенных случаях заходит так далеко, что для языкового сознания облик слова в виде *типа* теряется (нам пришлось слышать пояснение говорящего: «это надо писать *типо*»). Крайняя степень этого процесса — статус частицы, к которому стремится *типа*. Правда, этот процесс происходит преимущественно в устных сферах литературного языка и почти минует художественную литературу, попадая лишь в те сферы письменно-литературной речи, где сильно ироническое, подражательное (фельетонное) начало. Усиленная конкуренция *типа* с *вроде* в устных сферах литературного общения, сопровождающаяся охарактеризованными процессами его экспансии, ведет к тому, что *вроде*, просуществовав всего около ста лет и не укоренившись прочно и окончательно в устном употреблении, постепенно уходит из него.

III. Еще более резкое преобразование в сфере устного литературного общения претерпела конструкция с формой именительного-квалификатора (имени собственного) после *типа*. В качестве прямого заимствования из книжной речи она может входить в устную и воспринимается в ней как канцеляризм (ср.: *Это вафли типа «Лесная быль»*; — *Что за фильм «Спасите Конкорд»*? — *Типа «Экипаж», только французский* — разговор в ЦДЛ; *Ну что-то вроде типа скажем там «Деревня» Пушкина* или в лекторской речи при вводе примера: *например, в каком-нибудь случае типа «плетка»*; — *Что это за слово*? — *Это там типа «заболеть»* — здесь возможен и инфинитив, и любая другая примыкающая форма), однако более интересны случаи изменения значения конструкции при соблюдении ее каркаса, в котором тем не менее имя собственное имеет тенденцию заменяться нарицательным. Собственно говоря, и с именем собственным может наблюдаться выражение не квалификационного, а уподобительного (сравнительного) значения,

ср.: *входит тетенька с маленькой собачкой типа Финик* (кличка собаки); *Рынки были типа Киеви Дерибас огромные.* С именем же нарицательным уподобительное значение возникает в конструкции как типовое, ср.: *Кто нашел тетрадь (типа дневник) в кожаной обложке, просьба вернуть в к. 12* (объявл.); *Она, как сказать, порядочная дрянь. Или как прежде говорили — женщина типа вамп* (разговор в ЦДЛ); *Это шапка типа люкс*; *Она мне достала какое-то средство типа какой-то порошок*; *Мой муж это вообще, он привез чего-то там типа две рубашечки*; *У меня много таких вещей типа туфли у меня...* В общественно адресованной речи: *часть из них могут направляться по строго направленным каналам, ну вот типа проводник или кабельные линии связи* (доклад на симпозиуме); *Они используют старые народные инструменты типа кости* (на семинаре).

Бывает и введение посредством *типа* высказывания-цитаты, ср. в устной речи: — *Если вы думаете, что я вам буду рассказывать анекдот типа «я вам писал»*, то вы ошибаетесь; в художественной мемуарной прозе: «Начитались газетной болтовни *типа: нужна или не нужна современному крестьянину русская печь*» (В. Золотухин, Дребезги).

Как видно из примеров, степень приблизительности уподобления может быть различной. Значение «вроде» здесь прослеживается, но не вполне отчетливо из-за ослабления грамматических свойств предлога. Переходя из конструкции с именем-квалификатором (в кавычках) в конструкцию с именем нарицательным, *типа* теряет способность к управлению и сопровождается формой им. падежа. Грамматическая характеристика его меняется, это не наречие (хотя оно может приближаться к *как*), не предлог (хотя значение «вроде» не исчезает вовсе) и не частица (ее функции здесь не прослеживаются), она очень диффузна и тем самым емка. Эта грамматическая неопределенность делает словечко *типа* удобным для использования в качестве модного, но не слишком строго закрепленного в определенных функциях, значениях, позициях и окружениях средства.

В чутко реагирующем на живые языковые процессы фельетонном жанре нам встретился один случай, когда на подобной конструкции с *типа* (разумеется, в характерологической функции) держится речевая окраска: «Может, он думал, на ярмарке работают аттракционы *типа карусель, гигантские шаги, комната смеха, измерение силы*» (Крокодил, 1979, № 5). Это — пока предел разговорности при отражении *типа* газетной речью, ограниченной необходимой дозой нормативности печатного слова.

Возможности сочетания *типа* с формой им. падежа существительного очень способствует тенденция к экспансии им. падежа в область косвенных, широко и многопланово представленная в современной устно-разговорной литературной речи. Именно эта тенденция рождает к жизни такие случаи, как: *жили типа палатка*; *и там на каждом кружочке лежал кусочек колбасы и приправы ну типа перец там огурец*; *и потом там на две недели после операции отправляют ...ну ...типа санаторий.* (Повторяет:) *На две недели после операции отправляют типа санаторий* (без паузы). Последний пример показывает, что момент обдумывания, поиска подходящего наименования не отражается на самой конструкции. Ср. еще: *Младший у них ничего — в мать. А старший не то что совсем в отца, а типа дебил*; *Он не роз букетик ей дарит, а типа веник*; *сидят на лекции всякие типа факультет повышения квалификации*; — *А вы тут почему?* — *Типа надкостница* (в поликлинике); *Ну и меня двинул какой-то типа «Хлеб»* (о машине); — *А что за вечер?* — *Типа посиделки. Вначале кино. Потом ужин. И танцы.* В телеречи («Контрольная для взрослых»): *Я помню у меня была такая типа пальма не пальма.* Вот пример переходного типа, где при перечислении сильноуправляемых объектов (а в этом положении в устно-разговорной речи часто появляется форма им. падежа) употреблены рядом формы род. и им. падежей (хотя последняя может быть истолкована тоже как форма вин. падежа, если не

считать ее относящейся к конструкции с *типа*): *и еще что-нибудь может быть подкупим типа хлеба, молоко.*

Экспансия им. падежа при *типа* в разговорной речи простирается столь далеко, что захватывает даже формы имен собственных — фамилий, имен, названий стран, городов. Ср.: *Это надо в командировку ехать типа Клин, Калинин...;— Какой-то из Австралии? — Из Австралии типа Данила Тихонов* (вспоминают фамилию танцовщика); *Я часто улыбаюсь типа Крикунам* (фамилия).

Особенно заметна утрата связи *типа* с исходным *тип* при именительном, его автономность, самостоятельность, хотя и малая определенность в лексическом и грамматическом отношении, когда оно не только проникает в состав подлежащего, как это сейчас было показано, но и вклинивается между согласованным определением и подлежащим, ср.: *и вообще там все-таки какой-то типа бук торчит.* Как видим, здесь *типа* достигает степени почти полной плеонастичности.

Исчезновение управляющего существительного перед *типа* возможно в обеих конструкциях — и с родительным после *типа* (примеры приводились выше), и с именительным после него. Особенно заметна автономность *типа* в составе подлежащего, что, как мы видели, широко представлено с именительным после *типа*, но возможно и с родительным, ср.: *Они в то время не имели никакой цены. Это была типа макулатуры* (обращает на себя внимание согласование глагольной формы с существительным, а не с местоимением); *У него было типа инсульта, а потом случилось типа инфаркта; У нее типа гриппа.* Наличие определенного лексико-синтаксического контекста в однотипных предложениях говорит об устойчивости таких построений, даже их клишированности. Ср. еще: *Приходишь в хозяйственный магазин, там типа двух цветов, ну два цвета есть* (о красителе); *У меня есть какой-то мешок из-под масла типа.*

Видимо, на этой же основе возникают случаи, когда *типа* вклинивается перед именной частью сказуемого, и рождаются сочетания *типа* с именительным падежом не только существительного, но и прилагательного, ср.: *— Яблоки снаружи хорошие, а внутри... — Что? — А внутри типа гнилые.*

Исчезновение управляющего существительного ведет к разрушению обеих конструкций, что, в свою очередь, усиливает самостоятельность изолированного *типа* в функции частицы с диффузным значением, которая может сочетаться практически с любым следующим за ней словом. Таким образом, разрушается не только первая часть конструкции (наличие управляющего существительного), но и вторая (наличие формы род. или им. падежа). Выход *типа* из конструкции завершает процесс его полного отрыва от исходного *тип*.

типа + тв. предикативный: *Он что-то был типа там бухгалтером.*

типа + тв. адвербиальный: *— Что такое «ладом»? — Я считаю, что типа там «естественным образом».*

типа + тв. предложный: *Там какие-то сидят типа за свадебным столом; Он говорит пойду с Таней. Я думала это типа с другими детьми; Ну, я пойду, может быть, мне дадут какую-нибудь комнату типа за выездом* (ср. атрибутивный характер предложно-падежного сочетания: *они закусывают типа перед обедом*).

типа + предложный: *Ее всю перекосило типа на нервной почве; Где-то типа во дворе; Поселили нас плохо, типа в коровниках жили; нас сформировали типа в группы, посадили типа в теплушки. Вышли мы типа на маленькой станции* (ср. соседство *типа* с формами разных падежей); *Вот вас пошлют... Интересно, сколько вы проработаете типа в Клементьеве, в колхозе; Кто-то мне рассказывал про черного мальчика типа Алеши Иванова. Потом оказалось, что он типа на картошке там* (ср. тоже сгущение *типа* в одном примере); *Они подушками*

подрались. Но это типа в паузах (во время спортсоревнований в лагере).

типа + вин. предложный: *Тогда вам надо где-нибудь так типа в понедельник зайти; В этом году это все собрались хорошо сделать, типа на постоянную основу* (поставить показ кинофильмов в общежитии).

типа + род. предложный: *там дети типа от родителей-алкоголиков;— Она совсем не ходит? — Немножко ходит. Типа там до туалета может пройтись.*

типа + дат.: *Открытое письмо к своим типа односельчанам* (ср. вклинивание *типа* между прилагательным и существительным); *Легко дать точное определение бытовому предмету, а типа искусству труднее.*

Обратим в этих примерах внимание на нередкое сопровождение *типа* частицей *там*.

Интересна запись связного текста с обилием *типа*. Приводим ее с некоторыми сокращениями: *Заказ получили! Типа для ветеранов. Рыба красная. Типа горбуша. Малосол. Вафли и чай. Нет, не индийский. Типа в нагрузку.*

В некоторых из приведенных случаев управляющее слово еще сохраняется, но падеж следующего за *типа* слова определяется не им, а или этим управляющим словом, или (даже чаще!) глаголом. Тем самым *типа* полностью выключается из системы склонения — не только как словоформа, но и как управляющее слово.

И, наконец, полное завершение автономизации *типа* демонстрируется возможностью полного отсутствия именного окружения — в этих случаях *типа* сопровождается глаголом или целой глагольной фразой.

С глаголом: *Лицо покрывается красными пятнами, потом они начинают типа шелушиться; Тебе надо постричься типа подрезать чуть-чуть; Тебе надо что-то сделать со своей головой, типа постричься!* (ср. однотипность контекстов); *пока его типа не обжаривает, а как бы кипит в масле; Ну, вы пока поделайте что-нибудь типа умывайтесь.*

С придаточным предложением: *Он мне сказал, что типа он ко мне зайдет; Я ей вообще-то говорила типа того что вот я хочу погулять; Эти мешки соединены между собой ну типа как фиксируются сардельки соединяются* (док. фильм «Когда исчезают барьеры»); *Я не умею рисовать, ну типа там как дети начинают рисовать лицо с глаз; Они от нее балдели типа как мы вот от него; Давайте уберем со стола типа что есть не будут; Он ужасный трусиха типа если его в темной комнате оставить.*

С глаголом и относящимися к нему словами: *и он все свалил на несчастных женщин типа заставил давать показания следователю. Пошли мы погуляли типа пообедали в ресторане; Завтра дадим Ольге кучу поручений типа купить нное количество хлеба; Цезарь решил ну типа как должен отправиться, что ли; Лучше иметь резерв времени, С., знаешь, типа спустила шина; Белый эмалевый фон и типа карандашных линий несколько нарисованы.*

Здесь можно вспомнить, что приглагольное употребление было свойственно и *вроде*, приобретавшему в этом случае союзный характер, но оно, как отмечает Е. Т. Черкасова, вскоре угасло. Приглагольное же *типа* признаков союза не обнаруживает.

Другие единичные возможности сочетаемости *типа*: *Что такое малахольный? Это типа шальной; У кого есть типа чего поесть?; такая называлась дорога ледяная возили типа волоком по ней.*

В заключение охарактеризуем сочетаемость *типа* с разного рода местоимениными, наречными, союзными словами, разными частицами. Это на-

блюдается очень часто. Нам уже приходилось отмечать сочетание *типа там*. Отметим некоторые другие.

Типа как (реже — *как типа*). После сочетания может следовать и существительное в им. или косвенных падежах, и сравнительный оборот, и глагольная группа. Значение оборота соответствует общелитературному «такой, как», т. е. на первый план в значении *типа* выступает сема сравнения (или уподобления на основе сравнения). *Типа* в этом сочетании не обнаруживает определенной категориальной принадлежности. Ср.: — *Ой, шкатулочки! Типа как я купила, только я за пять рублей купила; Такие большие булочки типа как лепешка; Не такие, а типа как из-под обуви; Нет там ни кружавчиков, ни оборочек. А вышивка. Типа как вот там кофты были; Это пальто как типа куртка; Она безумно худющая, типа как Сережка; У меня была белая шубка типа как у Кати; Это типа как раньше* [*шыры, жыры*] *было* (на лекции); *Он был типа как не то кореец, не то китаец какой-то; А еще вы знаете в какую мы игру играли? А вот типа как вы, в девятку; Он на меня посмотрел типа как «я, мол, знаю».*

Типа который (*какой*): *А если перед нами случай типа там который я уже упоминал...; Нельзя картофельные котлеты выдавать за хорошие типа которые мы ели; Ему задают вопросы типа... какие типа можно считать каверзными?*

Типа когда: *Это не губной звук, т. к. есть какой-нибудь случай типа когда ну «урожай».*

Типа того (*что*): *Всякие подойдут и будут мне мораль типа того что читать; Она мне сказала, что ты там кричала типа того там, что я тебя ненавижу.*

Типа что-то: *У одной было типа что-то с мозгом; Сейчас они должны там типа что-то Толстой* (о том, что проходят в школе).

Типа так (*типа вот так*): — *Распространяют по рублю.— Как лотерейный билет.— Да, типа вот так вот; Что-нибудь типа так вы думаете.*

Можно заметить, что правую сочетаемость названных групп определяет второй их член. Категориальная принадлежность *типа* выражена нечетко, значение приблизительного уподобления прослеживается.

Очень продуктивно сочетание *типа* с местоименным актуализатором *такой*. Диапазон возникающих при этом конструкций весьма широк — от общелитературных построений с согласованными с *типа* местоимением при отсутствии последующего существительного (ср.: *Такая металлическая, как Инка заказывала, такого типа, стоит тридцать рублей; — Какие там сапоги? Вот такого типа?*), где значение оборота в общем синонимично отдельно употребленному местоимению, в связи с чем *типа* можно считать плеоназмом, до собственно разговорных. Они могут иметь разное строение, ср.: *Меня мама просила привезти скатерть у нас старая такая типа бархат плюшевая* (*плюшевая* может рассматриваться и как добавленный в конце высказывания атрибутив к слову *скатерть*, и как атрибутив в составе конструкции с *типа*, а такая диффузность грамматической природы частей высказывания характерна для разговорного синтаксиса); *Это не мячик, а такой типа шарика; — Какой костюмчик? — Типа такой голубенький с помпошками; ему нужна такая типа краснькая наша* (о полке). Как видим, указательное местоимение может располагаться как перед *типа*, так и после него. Ср. еще: — *У тебя нет такой заплаты типа от матраца?* Как видно из примеров, правое окружение сочетания подчиняется общим законам сочетаний с *типа*.

Конечно, отнюдь не все из приведенных наблюдений соответствуют нормам правильного литературного рече- и словоупотребления. *Типа* порой оказывается лишним в устном употреблении. Его появление в речи поддерживается не столько коммуникативными задачами сообщения, необходимостью выразить определенный смысл, сколько далеко не во всем оправ-

данной языковой модой. Культурно-речевой аспект рассматриваемого явления не прост. Экспансия нашего осколка, пополняющего ряды частиц исконно русского происхождения (а *тип* — заимствование), не может вызвать одобрения с точки зрения задач языкового строительства и управления процессом языкового развития. С другой стороны, эта экспансия обязана своим возникновением и активизацией определенной бреши в системе лексических средств служебного характера со значением уподобления, приблизительного уподобления, идентификации, квалификации через сравнение: специально закрепленного средства точной, «научной» квалификации предмета, его характеристики через родо-видовую принадлежность или сравнительное уподобление до недавнего времени в составе незнаменательной лексики в разговорной и устно-литературной речи не было. Эта брешь закрылась наукообразным словечком *типа*, которое обрело лексическую самостоятельность, получило обширный круг функций, изменило свою грамматическую природу и проявило способность выступать во многих и разнообразных контекстных окружениях.

И надо сказать, что его узус в этих непомерно расширившихся окружениях противоречит литературной норме. Такие уже вполне агглютинативные стыки, которые появляются у словечка *типа*, не свойственны русской грамматике, они противоречат сочетаемости частей речи в русском языке. Налицо явное расхождение узуса и нормы. Характерно, что в речи старшего поколения русской интеллигенции *типа* встречается не расширительно, а только в составе конструкций, узаконенных письменно-литературной нормой. Правда, такое употребление исконно письменных конструкций (кроме трехчленной с атрибутивным членом) в устной речи носит оттенок излишней книжности, поскольку слишком явственным остается их специальное происхождение, хотя возрастание степени их общелитературности несомненно. Если расширительное употребление *типа* в речи старшего поколения русской интеллигенции и происходит, то лишь за счет привлечения в конструкции с ним конкретной лексики, но не за счет изменения самих конструкций. Все многочисленные изменения конструкций и почти безграничное расширение функций и сочетаемости *типа* (см. III раздел этой статьи) свойственны речи среднего и молодого поколений и даже детей (которые, конечно же, не могут непосредственно заимствовать образцы употребления *типа* из специальной речи). Эти изменения сродни просторечию, т. е. выходят за пределы действия литературной нормы и являются данью языковой моде. Вот почему ни в художественной, ни в публицистической (и даже фельетонной) речи они не отражаются.

Характерно, что расширительное употребление *типа* ведет к его грамматическому и лексическому опустошению и в результате — паразитическому бытованию в речи. Возникает своеобразный парадокс, языковое противоречие — стремящееся к строгости смысла и «научности» выражение *типа* оказывается семантически весьма неопределенным, его сочетаемостные и грамматические свойства также не проясняются, а, напротив, расплываются в безграничном произволе узуса. Во многих случаях *типа* может быть изъято из конструкции легко, без ущерба для ее смысла и с пользой для синтаксиса. Это относится в особенности к тем случаям, когда в конструкции присутствуют слова семантического ряда *вроде*, синонимичные *типа*, которое таким образом, создает тавтологию. Это говорит о том, что само по себе оно не в состоянии выразить все те значения, на которые претендует.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг. Под ред. Котеловой Н. З. М., 1971.
2. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка.— ВЯ, 1973, № 2, с. 10 и сл.
3. *Черкасова Е. Т.* Переход полнозначных слов в предлоги. М., 1967, с. 94—96.
4. *Черкасова Е. Т.* Изменения в составе предлогов.— В кн.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века. М., 1964, с. 254.
5. *Розанова Н. Н.* О некоторых интонационных особенностях разговорной речи.— В кн.: Вопросы стилистики. Вып. 12. Саратов, 1977, с. 117—118.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АРБАТСКАЯ Е. Д., АРБАТСКИЙ Д. И.

О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ КЛАССАХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Традиционное деление имен прилагательных на качественные, относительные, притяжательные и др. приобрело широкое распространение как в учебной, так и в научной литературе. Некоторые аспекты этой классификации и связанная с ней терминология остаются недостаточно ясными, получают различное истолкование. Вместе с тем современные изыскания в области семасиологии, словообразования прилагательных выявили новые факты, которые не укладываются в ранее установленные узкие рамки. Накопленный в исследованиях материал требует более всестороннего анализа, дальнейшей систематизации.

Значительную группу адъективных слов современного русского языка составляют предметно-качественные прилагательные, соотносительные по своему значению с родительным падежом имен существительных: *солнечное затмение* (ср. *затмение солнца*), *земельный надел* (ср. *надел земли*), *лошадиное ржанье* (ср. *ржанье лошадей*), *судейское решение* (ср. *решение судей*), *рыбная ловля* (ср. *ловля рыбы*) и др. В некоторых случаях смысл таких прилагательных почти полностью исчерпывается указанием на мотивирующее слово, например, *подвальное* (*помещение*) — то же, что подвал, *шоссейная* (*дорога*) — то же, что шоссе, *итоговые* (*данные*) «являющиеся итогом», *каботажное* (*плавание*) «являющееся каботажем» и под. Поэтому исследователи подчеркивают обычно предметный (относительный) характер лексического значения этих прилагательных, обусловленный прежде всего мотивирующим словом (или основой). Однако едва ли можно согласиться с утверждением, что такие предметные прилагательные не заключают в себе никакой содержательной добавки по сравнению с мотивирующим словом и абсолютно лишены качественного значения. Напротив, смысловое содержание предметно-качественных прилагательных обусловлено также и поясняемым словом. Ср. *гусиный крик* (субъектное значение), *гусиная охота* (объектное значение), *гусиная шея* (носитель признака), *гусиное яйцо* (производитель предмета) и др. Это означает, что прилагательные в данном случае указывают не только на предмет, но и на качества предметов, которые обозначаются поясняемыми словами, т. е. заключают в себе элемент качественного значения. Ср. *лошадиные скачки*, но *лошади скачут*, *соловьиная песня*, но *соловей поет* и под. Содержательная (качественная) добавка, которую заключают в себе предметно-качественные прилагательные, очень важна, она как раз и оправдывает их существование в языке. Ср. невозможность образования прилагательных с чисто предметным значением типа **лесной рост* (*лес растет*, *рост леса*), **хлебная покупка* (*покупать хлеб*, *покупка хлеба*) и под.

Качественное значение предметных прилагательных соотносительно со значением родительного определительного: *авторский коллектив* — *коллектив авторов*, *мебельное производство* — *производство мебели*, *почвенный покров* — *покров почвы* и под. При этом, как отмечают исследователи, элемент качественного значения у предметных прилагательных проявляется гораздо ярче, сильнее, чем у родительного

определительного. Ср. *писательский труд* и *труд писателя*, *родительские наставления* и *наставления родителей*, *актерское обаяние* и *обаяние актера* и под. У многих прилагательных, например, в составе сочетаний типа *рыбья пляска*, *орлиный полет*, *вражеские проделки*, *охотничьи рассказы* и под., значение качества даже превалирует над значением предметности. Во всяком случае образование предметно-качественных прилагательных обусловлено не только стилистическими, но и семантическими задачами,— необходимостью выразить некоторые оттенки качественного значения. Транспозиция в области прилагательных русского языка носит синтактико-семантический характер.

В грамматиках русского языка и в других исследованиях многие предметно-качественные прилагательные рассматриваются под рубрикой притяжательных [1, с. 299—301; 2, с. 327—328]. Между тем лексическое значение этих слов достаточно разнообразно и далеко выходит за рамки притяжательности. Здесь можно выделить, по крайней мере, пять основных семантических разновидностей. 1) Действующий агент (лицо, животное) как характерный признак операции, действия: *птичье щебетанье* (т. е. щебетанье птиц), *мышиная возня* (т. е. возня мышей), *суслиций свист* (т. е. свист суслика), *редакторская правка*, *студенческая демонстрация*, *советско-американский диалог*, *партийное руководство* и др. Ср. у В. Маяковского: «Я вам переведу звериный рык, если вы не знаете языка зверячьего» (150000000). 2) Производитель, создатель какого-либо предмета, а также творец или автор какого-либо труда как характерный признак созданного или произведенного предмета: *пчелиный мед* (т. е. мед, выработанный, собранный пчелами), *папино письмо* (т. е. письмо, написанное папой), *Петров сын* (т. е. сын, рожденный Петром), *Далев словарь* (т. е. словарь, созданный В. И. Далем), *Третьяковская галерея*, *блоковские стихи*, *гоголевские «Мертвые души»*, *тургеневские «Записки охотника»*, *гегелевская абсолютная идея* и др. 3) Носитель признака, качества, состояния как характерная особенность этих свойств, качеств: *лисьи ухватки* (т. е. ухватки, характерные для лисы), *воронний норов*, *человеческий характер* (т. е. характер, свойственный человеку), *учительское терпение*, *союзнический долг*, *детские шалости*, *юношеская непосредственность*, *кофейный цвет*, *яблочный вкус*, *винный запах* и др. Ср. у В. Маяковского: «Северяне нам наврали о суровости февральей» (Краснодар). К этой же группе примыкают прилагательные, обозначающие живые существа и структурные особенности их тела, выступающие в качестве характерных черт конкретных элементов единого целого: *лисий хвост* (хвост этой или любой другой лисы), *гусиная кожа* (кожа этого или всякого другого гуся), *лошадиная морда*, *свиная туша*, *баранья голова*, *коровьи ноги* и др. 4) Владелец какой-либо вещи, собственности как характерный признак этой вещи, предмета: *материн дом* (т. е. дом этой или любой другой матери), *хозяйский хлеб* (т. е. хлеб этого или всякого другого хозяина), *помещичья усадьба*, *охотничья лодка*, *рыбачьи сети*, *Сашенькин наряд* и др. 5) Объект действия, забот, наблюдений как характерная черта операции: *траекторные измерения* (т. е. измерения траектории), *семейные хлопоты* (т. е. хлопоты о семье), *долларовые подачки*, *президентские выборы*, *моржовый промысел*, *любовные стихи* (т. е. стихи о любви), *военная литература*, *приключенческий роман*, *восточный вопрос* и др. Выявление разновидностей предметно-качественных прилагательных позволяет точнее раскрыть их специфическое значение.

Рекомендуемая единая формула «относящийся к такому-то предмету» отнюдь не раскрывает специфики лексического значения предметных прилагательных, ибо не содержит в себе какой-либо конкретной качественной характеристики. Реальное значение этих слов передается лишь такими определениями, которые непосредственно фиксируют перечислен-

ные выше семантические разновидности. Значение притяжательных прилагательных (владелец предмета) достаточно точно передается определениями, построенными по схеме: «принадлежащий тому или иному лицу», например, *бабушкин дом* «принадлежащий бабушке». Значение носителя признака адекватно раскрывается типовыми определениями «свойственный кому-, чему-либо», «характерный для кого-, чего-нибудь». Например, *гегемонистские* (*замашки*) «свойственные гегемонистам», *борцовский* (*характер*) «характерный для борцов» и др. Подобным же образом значение создателя, производителя предмета, автора труда может быть определено как «созданный или произведенный кем-либо». Например, *змеиный* (*яд*) «яд, вырабатываемый змеями», *пушкинский* (*стиль*) — «стиль, созданный А. С. Пушкиным» и под. Значение субъектных прилагательных раскрывается общей формулой «такое-то действующее лицо, предмет или носитель признака», например, *экстремистские* (*выступления*) «выступления экстремистов» и под. Универсальная формула «относящийся к такому-то лицу, предмету» ничего не прибавляет к этим содержательным толкованиям.

Предметно-качественные прилагательные — одна из наиболее древних семантических групп, с которой связан начальный этап формирования прилагательных как части речи. Они сравнительно широко представлены в праславянском, древнерусском языках. Их яркая черта — это наличие достаточно продуктивной именной системы словоизменения, которая служит нередко основанием для рассмотрения этих прилагательных в рамках именной парадигмы (Н. С. Трубецкой, А. Вайян, Е. В. Урысон [3] и др.) . В современном русском языке состав предметно-качественных прилагательных в связи с процессом более четкой дифференциации предметного и адъективного значений значительно изменился. Начиная с XVII—XVIII вв., а отчасти и в более раннее время многие прилагательные с суффиксами *-ий*, *-ов* (*-ев*), *-ин* с именным словоизменением были постепенно вытеснены формой родительного падежа имен существительных. С другой стороны, этот разряд слов пополнился более качественными прилагательными с суффиксами *-н*, *-ск*, *-инск*, *-овск* (*-евск*), *-истск* с местоименным словоизменением [4]. Именное склонение предметных прилагательных в современном русском языке уже не соответствует их качественному значению и является в известной мере пережиточным явлением. Поэтому оно не может служить основанием рассмотрения этих слов в рамках субстантивной парадигмы.

В современном русском языке предметно-качественные прилагательные составляют меньшую долю адъективных слов, чем в древнерусском языке, в тексте их объем в среднем не более 5—6% всех других прилагательных [1]. Тем не менее они сохраняют все их основные семантические разновидности и проявляют подчас заметную продуктивность. Наибольшую продуктивность обнаруживают субъектные и объектные прилагательные типа *лоббистская деятельность*, *народный контроль*, *леспромхозовские работы*, *натриевая активность*; *личностная характеристика*, *кометная теория*, *спутниковые наблюдения*, *сернокислое производство* и др. Менее продуктивны прилагательные со значением носителя признака, владельца какого либо предмета: *регбистская резвость*, *сердечно-сосудистые заболевания*, *досаафовский аэродром*, *медсанбатовский грузовик* и др.

Более многочисленную группу в современном русском языке образуют качественные (или качественно-однородные) прилагательные, обобщающие познанное человеком качественное своеобразие окружающего мира. Генетически эти прилагательные связаны с предшествующими, в силу чего они по традиции не отграничиваются от них и рассматриваются обычно в одной группе под термином «относительные». На-

[1] Частотность этой и других семантических групп устанавливалась на основе подсчета их употребления в текстах различных жанров. Всего было проанализировано около 22 п. л. художественной, общественно-политической (пресса), научно-популярной литературы, в которой встретилось 10 186 словоупотреблений прилагательных.

пример, в современных научных грамматиках утверждается, что притяжательные прилагательные (в узком и широком смысле) являются лишь одной из разновидностей относительных прилагательных [1, с. 279; 2, с. 341; с. 307]. Между тем по своему содержанию качественные прилагательные коренным образом отличаются от предметно-качественных. Если последние содержат в себе ту или иную степень предметности, в известной мере занимают промежуточное положение между предметностью и качественностью, то собственно качественные прилагательные фактически свободны от предметного значения и служат для обобщения собственно качественного значения. Поэтому, несмотря на наличие яркой субстантивной, а также глагольной, наречной и прочей мотивации, качественные прилагательные обозначают в конце концов не сами предметы или процессы, обстоятельства, а статические качества, «вытекающие из самой природы предмета» (В. В. Виноградов). Например, в основе прилагательного *хирургический* (*нож*, *кабинет*) заложено указание на отношение к хирургу или к хирургии, но это отношение здесь является лишь способом выражения (обобщения) особого качественного значения — функции предмета (ножа, кабинета и др.). Слово *рассыпчатый* (*пирог*) также содержит указание на отношение к процессу рассыпания, тем не менее оно служит прежде всего для выражения особого качества — структуры пирога или другого изделия. Аналогично прилагательное *вечерний* (*звон*) через отношение к вечеру обозначает реальное качество — вечернее время звона и т. д. Мотивация качественных прилагательных утрачивает свое самостоятельное предметное значение и отходит на задний план, а на передний план выдвигается конкретное качество, свойство конкретных предметов, явлений. «...В относительных прилагательных, поскольку они именно прилагательные, вскрывается оттенок качественности,— подчеркивал А. М. Пешковский,— а оттенок отношения оказывается вторичным» [6, с. 82]. И это качественное значение прилагательных формируется прежде всего на основе их взаимодействия с поясняемым словом. Об этом свидетельствует тот факт, что прилагательные с одной и той же мотивирующей основой получают разные значения, если они относятся к разным по значению поясняемым существительным. Например, прилагательное *горный* в сочетании со словами *озеро*, *дорога* и под. получает локальное значение «расположенный в горах», ср. *горное озеро*, *горная дорога* и др. В сочетании же с существительными типа *лыжи*, *артиллерия* и под. эти слова приобретают функциональное значение «предназначенный для использования в горах». Ср. *горные лыжи*, *горная артиллерия* и др. Ср. также *палубное судно* (структура) и *палубные пассажиры* (местоположение), *асбестовый рудник* (назначение) и *асбестовая ткань* (материал), *пергаментная рукопись* (структура) и *пергаментное лицо* (состояние, цвет) и др. С другой стороны, нельзя не заметить, что разномотивированные прилагательные получают одно и то же лексическое значение, если они относятся к одному и тому же существительному и обозначают один и тот же конструктивный признак. Например, *занимательный* и *увлекательный рассказ*, *гулкий* и *раскатистый звук*, *застенчивый и стеснительный мальчик* и др. Мотивирующая основа, как видно, не только не мешает выражению реальных качеств, но и помогает это сделать более ярко, выразительно. Она является как бы предметной призмой для обобщения различных качеств предмета.

Традиционное положение о чисто относительном значении качественных прилагательных возникает обычно вследствие отрыва этих слов от поясняемых ими слов и преувеличения роли мотивации. «Относительные прилагательные *глазной*, *ветровой*, *автомобильный*, *световой*, *производственный* и т. п. при выделении из словосочетаний с существительными выражают общее и совершенно абстрактное „отношение к чему-либо“»,— утверждает В. М. Павлов [7; ср. 8, с. 5]. Это положение верно в том смысле, что даже при полном отвлечении от реальных свойств, качеств, обозначаемых мотивированными прилагательными, в последних сохраняется связь с производящей основой, отношение к ней. Однако следует иметь

в виду, что, во-первых, мотивация и лексическое значение прилагательных, как и других частей речи, обычно не тождественны, во-вторых, назначение рассматриваемых прилагательных заключается в том, чтобы выявлять, обобщать те качества, которые отражаются в значении поясняемых ими слов — конкретных существительных. «В прилагательных изображаются признаки, заключенные в природе предметов» [6, с. 84]. Поэтому указание только на мотивирующую основу еще не раскрывает их реального лексического значения. Это может быть достигнуто лишь путем выявления тех конкретных признаков предмета, которые названы мотивированными прилагательными. Л. В. Щерба писал: «...Без существительного, явного или подразумеваемого, нет прилагательного» [9]. Игнорирование реального качественного значения прилагательных неизбежно ведет к отрицанию качественного и субстанционального лексического значения слова, к замене его чистыми отношениями, оно оказывается также в явном противоречии с фактом многозначности мотивированных прилагательных.

Лексическое значение качественных прилагательных отличается от значения предметных прилагательных не только отсутствием компонента предметности, но самим характером и способом выражения качества. У предметных прилагательных это значение диффузно, нерасчлененно, предельно синтетично, его в известной мере можно определить как «такой, который присущ данному предмету, лицу» без какой бы то ни было конкретизации: *медвежий* «такой, как у медведя», *собачий* «такой, как у собаки» и под. Лексическое значение качественных прилагательных, напротив, всегда аналитично. Эти слова имеют цель расчленить синтетическое значение предметности, выявить его составляющие свойства и качества. Правда, значительное количество современных прилагательных обнаруживает элементы синтетизма, включает в значение два, три признака. Например, функциональные прилагательные нередко фиксируют в своем значении не только назначение, но и структуру, строение: *ф у т б о л ь н ы й* (*поле, мяч, костюм*), *п а с с а ж и р с к и й* (*самолет*), *а в т о м о б и л ь н о е* (*шоссе*), *т е л е в и з и о н н ы е* (*антенны*), *с п о р т и в н ы й* (*зал*), *д в е р н а я* (*ручка*) и др. Локальные прилагательные в свою очередь нередко содержат в себе указание не только на местоположение, но и на происхождение, вкус и др., например, *м о с к о в с к и е булочки*, *т у л ь с к и е пряники*, *с и б и р с к и е пельмени*, *ч е ш с к о е пиво*, *м о л д а в с к о е вино*, *к р ы м с к и е яблоки* и др. Значение состояния сочетается со значением следствия; *т р е в о ж н ы й крик*, *г р у с т н ы й день*, *о п а с н о е заболевание* и др. В рамках одного значения нередко объединяются одновременно предметные и качественные компоненты. Например, такие прилагательные, как *с о с н о в ы й* (*лес*), *б е р е з о в а я* (*роща*), *у ч и т е л ь с к и й* (*съезд*), *к о м с о м о л ь с к о е* (*собрание*), *п и о н е р с к и й* (*отряд*) и под., обозначают одновременно и действующий субъект, и структуру, состав того или иного единства. Прилагательные в составе словосочетаний *Ломоносовские чтения*, *Горьковская конференция*, *Пушкинский вечер* и под. обозначают одновременно лицо, в честь которого проводится то или иное мероприятие (предметное значение), и цель этого мероприятия (качественное значение). Однако подавляющее большинство современных мотивированных качественных прилагательных имеет предельно аналитическое значение, обобщает обычно один какой-либо признак или качество. Назначение этих прилагательных в том и состоит, чтобы обобщить, выделить все те познанные человеком элементарные качества, свойства, которые составляют качественное содержание окружающего мира. Формирование и развитие собственно качественных прилагательных — это результат огромных успехов многовековой аналитической деятельности мышления человека.

При описании значения качественных прилагательных иногда указывается два-три общих семантических разряда. При этом говорится, что прилагательное в сочетании с существительным каждый раз выражает нечто новое, неповторимое и всякие попытки обобщить эти индивидуаль-

ные оттенки практически бесперспективны (Е. А. Земская, Н. А. Янко-Триницкая). Однако трудности здесь явно преувеличены. Во-первых, прилагательные, как и всякие другие слова, обобщают, поэтому в их значении, кроме индивидуального, частного, имеются также и общие универсальные компоненты. Более того, эти категориальные компоненты составляют основное содержание их лексического значения. Во-вторых, выявление универсальных семантических компонентов, разрядов как раз и представляет центральную проблему семантического анализа прилагательных.

Анализ внутреннего содержания прилагательных и поясняемых ими существительных показывает, что в основе лексического значения качественных прилагательных лежит весьма ограниченное количество первичных статистических свойств, в которых тем не менее обобщается все познанное человеком качественное своеобразие окружающего мира: 1) функция (назначение), использование предметов, веществ: *учебный* (*комбинат*), *раздаточный* (*материал*), *служебный* (*вход*), *товарный* (*вагон*), *оперный* (*театр*), *обеденный* (*прибор*), *прохладительный* (*напиток*), *успокоительные* (*капли*) и др.; 2) структура предмета, состав вещества, материала: *сводчатый* (*потолок*), *пирамидальный* (*тополь*), *коленчатый* (*вал*), *волокнистая* (*древесина*), *кожаный* (*диван*), *крючковатый* (*нос*), *женоподобный* (*юноша*), *клюквенный* (*сок*), *сернистый* (*источник*) и др.; 3) место распространения, обитания, пространственное положение предмета: *лесной* (*зверь*), *степное* (*животное*), *подводное* (*растение*), *полярный* (*житель*), *пограничный* (*пункт*), *африканская* (*деревня*) и др.; 4) генезис (происхождение), способ образования, получения, образ действия: *экономное* (*расходование*), *ножевая* (*рана*), *потомственный* (*рабочий*), *хирургическое* (*вмешательство*), *бездефектное* (*производство*), *комбайновая* (*уборка урожая*), *письменное* (*сообщение*), *жульнический* (*прием*) и др.; 5) время существования или исчезновения: *реформенный* (*период*), *утренний* (*мороз*), *еженедельный* (*сбор*), *обеденный* (*перерыв*), *годовой* (*отпуск*) и др.; 6) статическое состояние (физическое, социальное): *безветренный* (*день*), *экономическое* (*положение*), *социальное* (*условие*), *безлошадное* (*хозяйство*), *имущественное* (*положение*) и др.; 7) цель действия или деятельности, причина или следствие явления: *просветительская* (*деятельность*), *жертвенный* (*подвиг*), *смертельная* (*рана*), *зловещая* (*примета*) и др.; 8) цвет (окраска), вес, запах, вкус и др.: *табачный* (*цвет*), *литровый* (*сосуд*), *килограммовая* (*гиря*) и др. Говоря словами М. Горького, эти слова придают «почти физическую ощутимость тому, что изображается». В сочетании с существительными они раскрывают реальный диапазон широкого и нередко неопределенного в употреблении термина «качество».

Весьма важно отметить, что общее качественное значение прилагательных и их универсальные семантические разряды (признаки) обобщаются словообразовательными аффиксами. Так, функциональное значение (признак) прилагательных обобщается суффиксами: *-ев* (*-ов*), *-очн*, *-ебн*, *-альн*(*-ильн*), *-тельн*(*-ительн*) и др.: *сторожевой* (*катер*), *сушильный* (*шкаф*), *успокоительный* (*прием*) и др. Структуральное значение обобщается суффиксами *-ат*, *-чат*, *-ан* (*-ян*): *усатый*, *коленчатый*, *створчатый*, *серебряный* и др. Приставки *по-*, *за-*, *под-*, *над-*, *при-*, *между-* в сочетании с суффиксами *-н*,*-енн* обобщают локальное значение: *пограничный*, *заоблачный*, *прибрежный*, *подветренный*, *надпочвенный* и др., а приставки *до-*, *по-*, *после-*, *перед-*, *меж-*, *между-* в сочетании с суффиксами *-ов*, *-онн*, *-енн* обобщают временное значение: *дореволюционный*, *дореформенный*, *пожизненный*, *послеродовой*, *межсессионный* и др. Это означает, что в основе словообразовательных значений лежат универсальные (наиболее массовидные) семантические признаки, т. е. лексические значения прилагательных одновременно являются словообразовательными и наоборот.

Для описания лексического значения как качественных, так и других мотивированных прилагательных обычно рекомендуется общая, единая формула «относящийся к такому-то предмету». Однако, как отмечают Я. К. Грот [10], А. П. Евгеньева [11], А. М. Бабкин [12] и другие лексикографы, эта универсальная формула не раскрывает реального значения качественных прилагательных, ограничиваясь туманной отсылкой. Поэтому в толковых словарях русского языка к качественным прилагательным применяются типовые семантические определения, которые непосредственно раскрывают и обобщают указанные выше семантические разряды, категории. Структуральное значение прилагательных обобщается определениями типа «содержащий или имеющий в своем составе то-то и то-то», «сделанный, приготовленный из того-то», «состоящий из того-то». Например, *свинцовый* «сделанный из свинца», *эфироносный* «содержащий в себе эфир». Функциональное значение прилагательных обобщается определениями, построенными по схеме «предназначенный или служащий для чего-нибудь», «используемый или пригодный для чего-либо». Например, *торговый* «предназначенный или используемый для торговли», *проездной* «пригодный для проезда». Локальное значение прилагательных выражается типовыми словарными определениями, составленными по схеме «находящийся, расположенный там-то»: *пограничный* «расположенный в непосредственной близости от границы», *околоземный* «находящийся вблизи Земли» и т. д. Такими же прямыми, реальными, а не формально-отсылочными определениями раскрывается смысл временных, генетических, цветовых и других качественных прилагательных. Первую часть этих определений образуют не нулевые связки, а причастия, которые непосредственно выражают общие категориальные значения — функцию, структуру, место и др., обобщаемые словообразовательными аффиксами. В силу этого типовые словарные определения к качественным прилагательным одновременно обобщают и словообразовательные значения аффиксов. Последующая часть определения конкретизирует это общее качественное значение применительно к каждому конкретному слову.

В толковых словарях русского языка к некоторым качественным прилагательным в соответствии с так называемой «относительностью» их лексического значения применяется подчас общая недифференцированная формула «относящийся к такому-то предмету». Однако лексикографы все чаще отказываются от этой оторванной от реального смысла формулы и переходят к типовым содержательным толкованиям. Весьма показательна в этом смысле позиция авторов 17-томного «Словаря современного русского литературного языка». В предисловии к этому словарю указывается, что относительные (качественные) прилагательные вообще не требуют определения, поскольку их значение якобы полностью исчерпывается указанием на мотивирующую основу или слово [13]. Между тем именно в этом словаре дается наиболее содержательное раскрытие качественного значения этих прилагательных, которое отнюдь не сводится к значению мотивирующей основы. Теоретическое положение об относительности лексического значения качественных прилагательных оказывается в явном противоречии с лексикографической практикой. Одна из актуальных задач современной семасиологии и лексикографии заключается в том, чтобы полнее раскрыть значения качественных прилагательных, закрепивших в языке многовековые итоги познания качественного своеобразия окружающего мира.

Таким образом, качественные прилагательные отнюдь не составляют единого семантического класса с предметно-качественными (в том числе притяжательными) прилагательными. Они отличаются от последних как по содержанию, так и по аффиксальному оформлению. Это, несомненно, особая лексико-семантическая категория слов, смыслом существования которой является выявление и обобщение системы элементарных качеств и свойств. В частности, речь идет о выражении однородного качества — наиболее типичного значения прилагательных как части речи. В тексте художественной литературы качественные прилагательные составляют в среднем 20—30% других прилагательных, в общественно-политической

и научной литературе это количество возрастает до 50—60%. При этом качественные прилагательные в современном русском языке являются наиболее продуктивной семантической категорией. Из 730 прилагательных, зафиксированных в [14], более 700 (97%) являются собственно качественными. Более продуктивными из них являются функциональные и структуральные прилагательные типа *водомерное устройство*, *адресовальная машина*, *антибиотический препарат*, *газораздаточная станция*, *водозащитная зона*, *бензомоторная пила*, *бесстыковая магистраль*, *асбоцементные изделия*, *ацетатное волокно*, *каркасно-панельные конструкции*, *лавсановая ткань* и др. Значительную продуктивность обнаруживают локальные прилагательные типа *околоземный*, *орбитальный*, *внегалактический*, *межконтинентальный*, *венерианский*, *пуэрториканский*, *камбоджийский* и др. Достаточно продуктивны также генетические прилагательные типа *безотвальная обработка почвы*, *бескондукторное обслуживание*, *бездефектное изготовление деталей*, *видеотелеграфная связь*, *аэровизуальное наблюдение*, *аутогенная тренировка* и др. Количество собственно качественных прилагательных в общем фонде адъективных слов постепенно увеличивается.

Наиболее многочисленную группу в современном русском языке образуют качественно-градуальные прилагательные. Они выражают неоднородность обозначаемого ими качественного признака предмета. Несмотря на длительную традицию выделения этих прилагательных под термином «качественных», они до сих пор не получили достаточно четкого и однозначного истолкования. Во многих исследованиях качественно-неоднородные прилагательные отождествляются в той или иной мере с качественно-однородными. Так, в «Русской грамматике» (1980) они определяются как слова, которые «обозначают свойство, присущее самому предмету или открываемое в нем, часто — такое, которое может характеризоваться разной степенью интенсивности» [2, с. 541]. Аналогичное весьма широкое определение качественно-неоднородных прилагательных как слов, которые «обозначают свойства и качества предметов, непосредственно воспринимаемые органами чувств», находим в Грамматике АН СССР 1954 г. [1, с. 279]. Такое определение было дано еще А. Х. Востоковым [15]. С другой стороны, качественно-неоднородные, или градуальные, прилагательные ограничиваются весьма узкой группой немотивированных, т. е. не содержащих в себе отношения к другим словам, прилагательных [8, с. 4]. Эта концепция, восходящая еще к Ф. И. Буслаеву [16], принята за основу в современных терминологических словарях О. С. Ахмановой [17], Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой [18]. Легко показать, что ни та, ни другая трактовки не раскрывают специфики лексического значения анализируемых слов. Большинство качественных прилагательных обозначает свойства предмета, которые непосредственно воспринимаются органами чувств, но они не являются тем не менее качественно-градуальными. С другой стороны, многие качественно-градуальные прилагательные, например, *интересный*, *кудрявый*, *задиристый*, *заботливый* и мн. др., являются мотивированными, т. е. выражают свое значение через отношение.

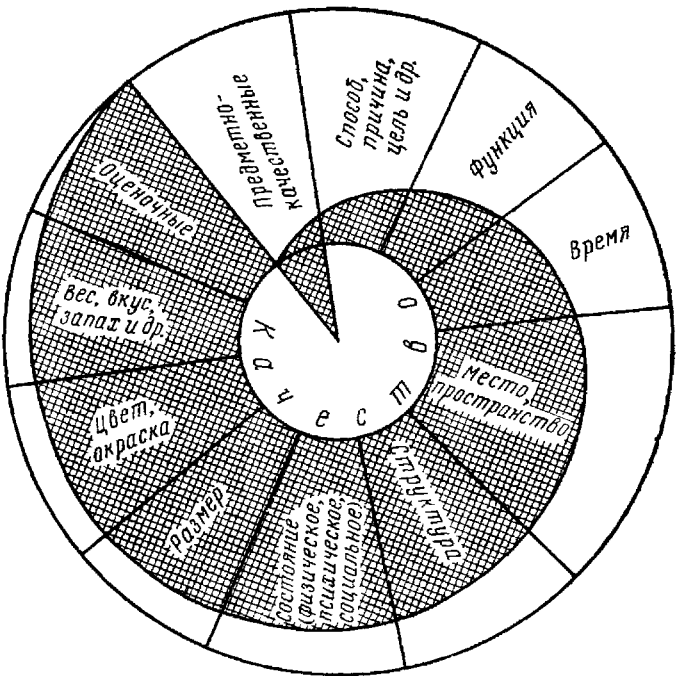
Как и собственно качественные, качественно-градуальные прилагательные обобщают и раскрывают качественное разнообразие окружающего мира. Они обозначают те же разновидности качества, которые лежат в основе лексического значения качественно-однородных прилагательных. В этом проявляется не только сходство в значении анализируемых семантических разрядов, но и универсальность указанных конструктивных признаков и разрядов. Отличаются же они наличием дополнительных семантических оттенков.

Во-первых, качественно-градуальные прилагательные, в отличие от качественных, содержат в своем значении указания на неоднородность качества, т. е. включают в свое содержание ряд различных оттенков того

или иного качества, являются, иначе говоря, качественно-неоднородными. Например, прилагательное *холодный* обозначает признак, качество, которое содержит в себе ряд оттенков холодности: не очень холодный (холодноватый), очень холодный (холоднущий), самый холодный (холоднейший) и др. Прилагательное *красный* также выражает целую серию цветовых оттенков красного цвета: «красноватый, светло-красный, темно-красный, пунцовый, бордовый, свекольный, вишневый, терракотовый» и др. В частном словоупотреблении каждое из таких прилагательных указывает на какое-либо конкретное проявление признака или его степени, например, *холодная рука*, но *холодная зима*, *красные щеки*, но *красное знамя* и под. Однако в общем (словарном) значении каждое из таких слов обобщает все конкретные оттенки и в целом обозначает единый признак или качество в его разновидностях. *Холодный* вообще — это, согласно семнадцатитомному «Словарю современного русского литературного языка»,— «имеющий низкую или относительно низкую температуру», ср. *холодный климат*; *красный* вообще — это «имеющий окраску одного из основных цветов радуги, цвета крови и его ближайших оттенков», ср. *любить красный цвет*; *молодой* вообще — «находящийся в возрасте от отрочества до зрелости (противоп. *старый*)», ср. *молодое поколение*. Такие образования, как *холодненький*, *холоднущий*, *холоднейший* и под., выражают фактически те оттенки градуального качества, которые содержатся в общем значении качественно-градуальных прилагательных.

Во-вторых, качественно-градуальные прилагательные обозначают также различную степень интенсивности качества, т. е. заключают в себе также и количественный аспект значения, выражают разную степень проявления признака, его неоднородности. Например, те же слова *холодный*, *красный*, *молодой* одновременно с указанием на качественную неоднородность обозначают разную степень их интенсивности: «более или менее холодный, более или менее красный, более или менее молодой» и др. И дело здесь отнюдь не в том, что такие прилагательные обозначают качество, которое «может проявляться в разной степени интенсивности» [5, с. 37], а в том, что в своем общем словарном значении они в с е г д а обозначают неоднородность качества и различную степень его проявления. И эта особенность значения непосредственно обнаруживается в способности таких прилагательных присоединять к себе количественные наречия типа *очень*, *весьма*, *почти*, *совершенно* и под. Таким образом, качественно-градуальные прилагательные раскрывают новую сторону качества, свойства — его неоднородность, градуальность. Это специфическое значение может сообщаться особым аффиксом. Некоторые из этих аффиксов, например, *-енн*, *-онн*, *-альн*, *-озн*, *-ивн*, *-л*, являются одновременно и суффиксами качественных прилагательных. Здесь мы встречаемся с аффиксальной многозначностью, ср. *промышленный*, *хозяйственный*, *оборонительный* и др., но *восторженный*, *доверительный*, *презрительный*, *кощунственный* и др. Однако в русском языке имеется целый ряд суффиксов, например, *-ив*, *-лив*, *-ав*, *-ляв*, *-ист*, *-ичн*, *-к* и др., которые служат только для обобщения специфического качественно-неоднородного или градуального значения: *уступчивый*, *счастливый*, *сухощавый*, *травянистый*, *шаткий* и др. Качественная неоднородность и различная степень ее интенсивности в рамках различных семантических разрядов проявляется отнюдь не одинаково. Одни из качественных признаков преимущественно однородны, неградуальны, другие же, напротив, являются обычно разнородными и градуальными. Между тем или иным общим качеством и его неоднородностью, или градуальностью, имеется, стало быть, как это показано на прилагаемой схеме, определенная зависимость (область градуальности заштрихована). Оценочные прилагательные типа *красивый*, *замечательный*, *превосходный*, *изумительный*, *божественный* и под. являются обычно градуальными и качественно неоднородными: «Голос у меня тогда был божественный, без хвастовства скажу, настоящее меццо-сопрано» (Л. Гинзбург, Разбилось лишь сердце мое). Они обычно содержат в себе более высокую степень градуальности, чем другие качественно-градуальные прилагательные. Реальный смысл каждого такого прила-

гательного раскрывается обычно совокупностью более конкретных прилагательных. Например, слово *чудесный* (*человек*) может одновременно означать и «веселый», и «талантливый», и «честный, порядочный», и др. Прилагательное *отличный* (*материал*) аналогично может означать одновременно и «прочный», и «красочный», и «звуконепроницаемый» и др. Каждое из перечисленных слов в свою очередь является разнородным и градуальным. Преимущественно неоднородными и градуальными по значению являются прилагательные, обозначающие качества, внутренне присущие самому предмету: вес, цвет, запах, вкус, состояние, размер: *легкий*, *душный*, *теплый*, *синий*, *мерзлый*, *заботливый*, *узкий*, *длинный*, *болезненный*, *бедственный* и др. Достаточно широка (хотя и значительно



у́же) степень градуальности и качественной неоднородности у прилагательных, обозначающих структуру предмета, место, время, например, *холмистый*, *ранний*, *экстренный* и др. Степень градуальности прилагательных, обозначающих, так сказать, внешние по отношению к предмету признаки — функцию, цель, способ, причину, следствие, условие, а также прилагательных предметных, невелика или незначительна, например, *полезный*, *рентабельный*, *издевательский* и др. Качественно-градуальные прилагательные вносят существенный элемент в общий семантический спектр прилагательных.

С характером лексического значения качественно-неоднородных прилагательных непосредственно связан вопрос о диапазоне качественной неоднородности, о количестве степеней признака и способах их языкового выражения. Этот вопрос изучается обычно разными разделами лингвистики — грамматикой, словообразованием, семасиологией и в силу этого получает весьма различное решение. Е. Кржижкова полагает, что количественные наречия, раскрывающие степень интенсивности признака у прилагательных (и глаголов), выражают, по крайней мере, шесть степеней признака [19]. В рамках словообразования говорится о трех степенях признака [2, с. 332]. В морфологии обычно выделяется лишь одна или две степени признака (сравнительная и превосходная). Между тем различные средства выражения неоднородности и градуальности качества используются обычно для выражения одних и тех же степеней признака

и неоднородности качества. Ср., например, разг. *глубоченный* «очень глубокий», *сверхмодный* «очень модный», *зеленоватый* «слегка зеленый» и др. Поэтому их целесообразно описать в рамках единой системы неоднородности и градуальности качества.

В основе современной системы градуальности и неоднородности качества лежат четыре (кроме исходной формы) основные степени, выражаемые лексическими, словообразовательными и словоизменительными средствами. 1) Предельно высокая степень градуальности и неоднородности качества. Морфологически это значение выражается суффиксами *-ейш(-айш)*, приставками *наи-*, *сверх-*, *супер-*, *ультра-*, а также образованиями на *-ее* (*-ей*), *-е*, *-ше* в сочетании со словами *всех*, *нет ничего*. Например, *наиаккуратнейший*, *высочайший*, *сверхдальный*, *ультраправый*, *супермодный*; *моложе всех*, *нет ничего благороднее* и др. Лексически это значение выражается количественным местоимением *самый*, наречием *наиболее*: *самый надежный*, *наиболее достойный* и др. 2) Высокая, но непредельная степень признака (качественной неоднородности) обозначается суффиксами *-ейш(-айш)*, формами на *-е*, *-ее(-ей)*, а также приставками *раз-*, *пре-*: *милейший* (*собеседник*), *злейший* (*враг*), *сильнее смерти*, *чернее ночи*, *развеселый*, *прехорошенький* и др. Ср. авторское образование А. Ахматовой: «Взоры огненней огня и усмешка Леля... Не обманывай меня, Первое апреля!» (Вереницы четверостиший). В разговорной речи в том же значении используются образования с экспрессивными суффиксами *-охонек(-ехонек)*, *-ошенек(-ешенек)*, *-ущ(-ющ)*, *-енн*: *больнехонек*, *белешенек*, *здоровущий*, *широченный* и др. Лексически эта степень передается количественными наречиями *очень*, *крайне*, *слишком*, *особенно* и др. Например, *очень сильный*, *слишком шумный*, *особенно интересный* и др. 3) Наличие качественной неоднородности и степень признака выше нормы выражаются суффиксами *-е*, *-ше*, *-ее(-ей)*, *-ист*, а в разговорной речи также суффиксами *-аст*, *-еньк*, *-оньк*: *ярче*, *старше*, *каменистый*, *зубастый*, (простореч.) *махонький* и др. Описательно эта степень обозначается словом *более*: *более грозный*, *более богатый* и др. 4) Пониженная степень признака (а также наличие неоднородности качества) обозначается суффиксами *-оват(-еват)*, в разговорной речи суффиксом *-оньк(-еньк)*: *солоноватый*, *синеватый*, *тоненький*, *слабенький* и др. Описательно эта степень обозначается словом *менее*: *менее ясный*, *менее известный* и др.

Отмеченные четыре степени признака отнюдь не исчерпывают всех возможных разновидностей интенсивности и неоднородности качества. Всякое усиление или ослабление той или иной степени обозначается также весьма продуктивными формами на *-ее(-ей)* с приставкой *по-* или без нее. Например, *этот человек добр* (*очень добр*), *а этот еще добрее* (*подобрее*); *Этот день был очень короткий*, *а следующий день будет короче* (*покороче*) и т. д. Формы на *-ее(-ей)* могут обозначать также постепенное усиление или ослабление признака, качества: *русло становилось уже*, *заря разгоралась все ярче и ярче*. Кроме того, в русском языке имеется значительное количество наречий, которые также весьма детально обозначают всякое усиление или ослабление любого градуального признака, например, *еще сильнее или слабее*, *не совсем здоров*, *более или менее приличный*, *чуть-чуть заметный*, *почти неизвестен*, *сильно усталый*, *совсем холодный*, *совершенно негодный*, *необыкновенно красивый*, *дьявольски быстрый* и мн. др. Русский язык располагает, таким образом, весьма богатым комплексом стилистически дифференцированных словообразовательных, словоизменительных и лексических средств, которые могут выразить практически любую замеченную человеком степень интенсивности или неоднородности.

Наиболее широким диапазоном градуальности и неоднородности обладают высокоградуальные прилагательные. Они обычно охватывают значительную часть общего градуального спектра и располагают максимальным набором градуальных форм. Сюда относятся широко известные немотивированные или слабомотивированные прилагательные типа *здоровый*, *молодой*, *сильный*, *дорогой*, *широкий* и др. Малым или незначительным диапазоном интенсивности или неоднородности об-

ладают низкоградуальные прилагательные. Сюда входят обычно мотивированные прилагательные типа *дружественный*, *туманный*, *песчаный*, *перистый*, *музыкальный*, *последний* и под., от которых градуальные формы образуются редко или вовсе не образуются. Качественно-градуальный характер лексического значения этих прилагательных устанавливается часто лишь путем присоединения к ним количественных наречий, ср.: *очень туманный*, *совершенно слепой*, *почти последний*, *самый кокосовый* (*остров*) и др. Таким образом, степень неоднородности, или градуальности, различных прилагательных неодинакова: она колеблется от двух, трех, четырех до пяти, шести и более единиц.

Лексикографическое описание качественно-градуальных прилагательных не может ограничиваться лишь указанием на качество. Необходимо уже в самом определении (толковании) раскрыть, насколько это возможно, специфические черты его лексического значения — наличие оттенка неоднородности качества и его градуальности. Такие определения к цветовым прилагательным в свое время использовал В. И. Даль: «**Красный**.... рудой, алый, чермный, червленой; кирпичный, малиновый, огневóй и пр. разных оттенков и густоты» [20, т. II, с. 187]; «**Сивый**... темносизый, серый и седой, темный с сединою, с примесью белесоватого, либо пепельного» [20, т. IV, с. 180]. В синонимических рядах к градуальным прилагательным было бы целесообразным, на наш взгляд, фиксировать особыми пометами усиление или ослабление признака, как это делается в [21]. Для более яркого раскрытия качественно-неоднородного значения целесообразно также включать в одну статью к тому или иному прилагательному, кроме краткой формы, также и другие формы, выражающие различные стороны этого значения: например, образования с суффиксами *-енн*, *-ущ*(*-ющ*), *-оват*(*-еват*), *-оньк*(*-еньк*) и др. Для раскрытия лексического значения низкоградуальных прилагательных целесообразно также использовать словосочетания с количественными наречиями и местоимениями, если они не вошли в само толкование.

Качественно-градуальные прилагательные выделяются по своему значению и аффиксальному оформлению не менее ярко, чем предметно-качественные или качественно-однородные. Нигилистическое отрицание этого весьма многочисленного лексико-семантического разряда прилагательных не имеет достаточных оснований. Основной состав этих слов сформировался еще в XVIII—XIX вв. и в более раннее время. В современных текстах общественно-политической литературы они составляют не более 40—50% всех других прилагательных, однако в текстах художественной литературы их доля возрастает до 70—75%. В русском языке XX в. эти прилагательные малопродуктивны, их специфическое значение развивается в основном путем переосмысления качественно-однородных прилагательных. Характерно, что в СНСЗ зафиксированы лишь единичные примеры таких прилагательных: *нестабильный*, *богемистая* (*молодежь*), *стрессовый* (*момент*), *металлоемкие* (*конструкции*). Граница между качественно-однородными, качественно-неоднородными и предметно-качественными значениями проходит часто, как отмечали В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, внутри одного многозначного слова.

Таким образом, семантическая система прилагательных образует три основных класса: можно выделить предметно-качественные, качественно-однородные, качественно-неоднородные, или градуальные, прилагательные. Каждый из этих широких классов подразделяется в свою очередь на несколько семантических подклассов. Главное различие между этими разрядами заключается не в мотивированности или немотивированности, не в способе их восприятия или познания, а в самом характере качественного значения. Каждый из указанных разрядов отражает особую область качества с сопутствующими компонентами — предметностью, однородностью-неоднородностью, неградуальностью-градуальностью. Лишь совокупность всех этих разрядов и их разновидностей раскрывает наиболее полно весьма широкую категорию качества как специфического значения имен прилагательных. Развитие словообразовательной системы прилагательных идет в направлении все более точного, широкого выраже-

ния рассмотренных универсальных, массовидных компонентов его лексического значения.

Имена прилагательные дают возможность аналитически выразить и обобщить те признаки, качества, которые в синтетическом виде (в сочетании друг с другом) содержатся в значении поясняемых ими существительных. Поэтому как общие, так и более частные разряды (структурные, функциональные, локальные и др.) являются в конце концов не индивидуальными, а универсальными компонентами лексического значения, которые отражаются в значении не только существительных и прилагательных, но и наречий, глаголов, слов категории состояния и др. Своеобразие лексического значения имен прилагательных, их место в лексико-семантической системе языка может быть в полной мере раскрыто лишь на основе учета универсального характера указанных семантических компонентов.

Возвращаясь к традиционной классификации прилагательных, можно сказать, что она касается многих существенных сторон этих слов. Однако нельзя не видеть, что эта классификация неполна, неточна, непоследовательна, оставляет без внимания существенные стороны лексического значения этих слов. Весьма неточна и двусмысленна связанная с нею терминология. Термин «притяжательные прилагательные» адекватно отражает значение лишь одной группы предметно-качественных прилагательных. В широком применении, по отношению ко всем предметным прилагательным этот термин искажает реальный смысл весьма различных по значению слов, затушевывает существенное различие между ними. Другой термин — «относительные прилагательные» — фиксирует лишь наличие мотивации у прилагательных (что, кстати, точнее передается термином «мотивированные») и не раскрывает их реального качественно-однородного значения. При этом коренным образом отличающиеся по своему значению мотивированные прилагательные — предметные, качественные, градуальные — оказываются одинаково относительными, т. е. равноценными по значению. Более того, в противопоставлении к традиционному термину «качественные прилагательные» этот термин фактически заключает в себе отрицание качественного значения у собственно качественных прилагательных. Аналогичные замечания следует отнести к традиционному термину «качественные прилагательные». Этот термин отнюдь не отражает специфику качественно-градуальных прилагательных, которые он обозначает. Он фиксирует у них наличие качественного значения. Между тем специфика этих прилагательных заключается в том, что они обозначают неоднородные и градуальные качества. Нередко термин «качественные» обозначает не качество предмета, а его интенсивность, градуальность, т. е. приобретает противоположное количественное значение. Кроме того, в противопоставлении с термином «относительные» он также содержит в себе отрицание качественного значения у собственно качественных прилагательных. Все это препятствует более глубокому изучению достаточно сложной семантической системы прилагательных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1960.
2. Русская грамматика. Т. I. М., 1981.
3. *Урысон Е. В.* Относительные прилагательные в парадигме древнерусского имени. (На материале Успенского сборника XII—XIII вв.).— В кн.: Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980.
4. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. М., 1964, с. 277—548.
5. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
6. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
7. *Павлов В. М.* О разрядах имен прилагательных в русском языке.— ВЯ, 1960, № 2, с. 67.
8. *Белошапкова В. А., Земская Е. А.* Из истории функционирования отсубстантивных прилагательных.— В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. V. М., 1952.
9. *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 70.

10. Словарь русского языка. Под ред. Грота Я. К. Вып. I—II. СПб., 1895—1897, с. 9.
11. *Евгеньева А. П.* О некоторых лексикографических вопросах, связанных с изданием большого Словаря современного русского литературного языка АН СССР.— В кн.: Лексикографический сборник. Вып. II. М., 1967, с. 171.
12. *Бабкин А. М.* Слово в контексте и словаре.— В кн.: Современная русская лексикография. 1975. Л., 1977, с. 25—26.
13. Словарь современного русского литературного языка. Т. I. М., 1950, с. 11.
14. Новые слова и значения. Под ред. Сорокина Ю. С. и Котеловой Н. З. М., 1971 (сокр. СНСЗ).
15. *Востоков А. Х.* Сокращенная русская грамматика. Казань. 1858, с. 17.
16. *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1958, с. 140.
17. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1956, с. 367.
18. *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь лингвистических терминов. М., 1972, с. 111.
19. *Кржижкова Е.* Количественная детерминация прилагательных в русском языке (лексико-синтаксический анализ).— В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974, с. 124.
20. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1978—1980.
21. Словарь синонимов. Под ред. Евгеньевой А. П. М., 1975.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

МУРЬЯНОВ М. Ф.

К ПРОБЛЕМЕ КРИТЕРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Венок Федоту Петровичу Филину

Язык и стиль поэта — одна из магистральных тем языкознания, работают над ней столь многие исследователи, что подчас возникает сомнение, успевает ли их продукция прочитываться научной общественностью (уместно вспомнить, что среди книг Государственной библиотеки СССР им. Ленина есть тысячи и тысячи таких, на которые ни разу не поступало читательское требование). Поэты ее во всяком случае не читают, для оттачивания мастерства им необходимо не это. Нужна она для собственных целей филологии, для того, чтобы лучше понимать поэтов и учить этому пониманию других. Что значит понимать поэтов — вопрос далеко не простой. Один из возможных ответов на него: понимать — значит уметь различать их, не ошибаться в атрибуциях таких произведений искусства слова, где экстралингвистических данных об авторстве нет.

Положительный опыт в атрибуциях накоплен. Знатоков русской поэзии нового времени у нас много, и квалификация их такова, что трудно представить себе задачу по атрибуции, неразрешимую для их коллективного разума, и было бы невозможно сделать этот разум жертвой обмана, подделки. И все же основой атрибуции в поэзии нового времени является фактор экстралингвистический — наличие автографа либо прижизненной публикации.

Там, где об автографах и биографических подробностях мечтать не приходится,— при атрибуции памятников древней письменности — возрастания роли лингвистических критериев все же не замечаешь. Основой атрибуции здесь являются не индивидуальные нюансы языка, а имена поэтов в надписях к произведениям. Средневековые пергамены содержат противоречивые данные в этих надписаниях — колеблется вместе с ними и научная атрибуция. Одни византологи считают Иоанна Дамаскина автором нескольких канонов, другие приписывают ему сотни канонов; любители золотой середины придерживаются, как всегда, промежуточных оценок, причину которых не стоит искать в природе самого материала. Иоанн — имя не редкостное, и не находится средств решить, скрывается ли за надписаниями Иоанн, Иоанн мних, Иоанн Дамаскин одно лицо, или два лица, или три, или еще большее число одноименных поэтов. Лингвистические критерии для атрибуции здесь не лежат на поверхности, их нужно суметь найти — например, в том, что Иоанн Дамаскин отличался от других византийских гимнографов владением арабским языком и хорошей школой арабской поэзии. Чтобы анализировать вытекающие из этого индивидуальные особенности языка, нужны специалисты такого профиля и объема знаний, которых приходится ждать столетиями. Успехи на этом пути к познанию искусства художников слова, византийских и славянских, дадут возможность лингвистам сравняться с искусствоведами, уже сегодня умеющими различать поколения и школы в иконах, фресках, миниатюрах, где глазу неспециалиста все кажется однообразным.

Путь к этой цели нельзя проложить без вех — хотя бы немногих текстов, достоверно принадлежащих определенным авторам, известным нам не только по имени, но и по месту в своей эпохе.

В интеллектуальной жизни Константинополя с середины IX в. доминирующей фигурой был Фотий — блестяще образованный аристократ, занимавший пост государственного секретаря, затем под Рождество 858 г. прошедший за четыре дня все ступени церковной иерархии, от нуля до патриарха, в 867 г. низложенный сторонниками своего предшественника Игнатия, в 877 г. снова сменивший Игнатия на патриаршем троне, в 886 г. окончательно низложенный (новым патриархом стал 16-летний брат императора Льва VI Мудрого) и 6 февраля 891 г. умерший в армянской ссылке. Дела и слова Фотия, положившие начало расколу между Византией и Римом, вызывали бурную полемику еще при его жизни. Фотия дважды причисляли к лику святых, но русская церковь этого акта не признала [1], тысячелетие со дня кончины великого византийца Россия отметила не литургически, а в стиле эпохи Победоносцева — собранием Славянского благотворительного общества при МВД.

В академической «Истории Византии» читаем: «Интерес Фотия к античной литературе породил даже обвинение его в язычестве: о нем говорили, что во время богослужения он не читал молитв, а бормотал стихи светских поэтов» [1]. Первоисточник не назван, но ясно, что составитель главы «Наука и образование» Е. Э. Гранстрем придала такой вид россказням из памфлета Никиты Давида Пафлагонского, где Фотий, нечестивый от самого зачатия, «по наущению еврейского волхва отрекся от Христа и получил в пособника и руководителя себе демона Левуфа, услугами которого пользовался и тогда, когда сделался патриархом. Присутствовавшие при патриарших служениях Фотия будто бы свидетельствовали, что он вместо тайных священнических молитв читал пред св. престолом стихи из языческих поэтов и при этом тут же изрыгал какие-то скверные зловонные извержения; когда он во время богослужения возвышал святой крест, прозорливые люди видели в руках его змея» [2].

К счастью, византология располагает иными данными для оценки познаний Фотия в античной словесности — прежде всего, сводом его заметок о прочитанном, который известен под названием «Библиотека Фотия»; Фотий-лингвист поддается изучению по написанной им «Лексике». Дошел до нас и ряд собственных произведений Фотия; они, по определению Ф. Дворника, написаны «изящным, чистым, но трудным стилем» [3]. Особенный интерес представляют его две «Беседы на нашествие россов» (865), о существовании которых стало известно из письма приезжего греческого митрополита Паисия Лигарида царю Алексею Михайловичу. Москвичи тогда же предложили за греческую рукопись «Бесед» тысячу золотых, чтобы Паисий, по его собственным словам, продал им Фотия, «словно военнопленного», но сделка не состоялась, хотевший большего Паисий умер в России, и его сокровище исчезло бесследно. Лишь в 1858 г. архимандрит Порфирий Успенский обнаружил «Беседы» в сборнике XIV/XV в. Иверского монастыря на Афоне [4].

Возникновение литературного языка славян произошло при Фотии, именно он должен был сказать последнее слово в решении чреватого последствиями вопроса — быть или не быть славянской литургии. Славянского языка Фотий не знал, но с Кириллом и Мефодием был хорошо знаком лично и санкционировал их деятельность. Он же направил церковную миссию в Киев, о чем объявил в Окружном послании 867 г.— эхо этого события, искаженное анахронизмом, вошло в древнерусские летописи и княжеские уставы, где крещение Руси (988 г.) и киевская церковная иерархия считаются берущими начало от Фотия.

Что из произведений Фотия было переведено на старославянский язык? Можно предположить, что современный ему славянский мир или

---

[1] Славянская «Служба иже во святых отца нашего и равноапостола Фотия. Константинополь, 1849» издана для болгарских общин Македонии. Ее автор — Константин Типалдос, переводчик — болгарский иеромонах Неофит. Греческий оригинал, в Минеях отсутствующий, впервые опубликован в 1848 г. отдельной брошюрой, по ней поется служба Фотию в обителях Афона, но в рукописных местных уставах, как мне сообщил афонский иеромонах о. Василий Гролимунд (письмо от 28 VI 1981), эта служба не упоминается.

хотя бы Киевская Русь заинтересовались «Беседами на нашествие россов» и «Окружным посланием», но подтверждающих фактов нет. Не нуждается в доказательствах только то, что тотчас по написании греческого оригинала было переведено Послание 865 г. болгарскому князю Борису-Михаилу — документ внешней политики, направленный адресату, греческого языка не знавшему. Где это Послание переводилось, в канцелярии патриарха или в болгарской столице? Была ли у князя потребность видеть перевод зафиксированным письменно, или же по непривычности славянского письма считалось достаточным, если придворный переводчик, глядя в греческий текст, здесь же, с листа, расскажет о его содержании? Я. С. Лурье разыскивал Послание в связи с тем, что оно упомянуто новгородским архиепископом Геннадием в конце 1480-х гг. как входящее в круг чтения местных еретиков, и пришел к выводу, что «древнерусский текст этого памятника неизвестен», но есть русский перевод, изданный в 1779 г. [5]. Затем Н. В. Синицыной «удалось обнаружить пять списков этого сочинения в рукописях XVI в.» [6, с. 96], где Послание Фотия «помещено в окружении устойчивого комплекса статей, „конвоя", по выражению Д. С. Лихачева» [6, с. 98]; оно включено в «Новонайденные и неопубликованные произведения древнерусской литературы» — так называется XXI том знаменитой серии ТОДРЛ. Однако еще В. Н. Златарский использовал *все* пять «найденные» Н. В. Синицыной рукописи в аппарате критического текста памятника [7]; он же указал на то, что старшим славянским текстом является сербский список XV в. в Бухаресте, а русский первопечатный текст входит в качестве 47-й главы в «Кириллову книгу» (Москва, 1644). Н. В. Синицыной осталось неизвестным издание Фотиевых документов по болгарской истории, осуществленное П. Тивчевым,— из него явствует, что греческий текст Послания 865 г. дошел до нас в рукописи не старше XIV в. и существует второе Послание Фотия Борису-Михаилу, датируемое осенью 886 г. и известное только в греческом списке [8].

Десяток изречений Фотия числится в «Пчеле», но сохранилась она в списках не ранее XIV в. и проблемы ее источников не разрешены [9].

Больше отвечает нуждам палеославистики положение дел с гомилией Фотия на вербное воскресенье и о Лазаре — она вошла в Супрасльский сборник X в. [10]. Более древнего перевода из Фотия не имеет даже грузинская традиция, располагающая ранними переводами таких памятников, греческие оригиналы которых дошли до нас в позднейших рукописях, либо вообще утрачены [2]. В этой гомилии Фотий — мастер живого слова, умевший вызывать у своих слушателей слезы, предстает перед нами размышляющим на тему такого дня, такого события, которому славянский фольклор впоследствии дал форму и краски праздника детей, вдохнул запахи ранней весны:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
(Блок)

А в начале было слово Фотия: бѫдѣмъ и мы акы дѣти, γενώμεθα καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες [12, с. 340; 13, с. 87] и артистизм перевоплощения: рѫкама плешта ликоуѭ·и съмѣшаѧ сѧ скачѫ съ дѣтьми, χεῖρας κροτῶ χορεύων καὶ συναγελάζομαι σκιρτῶν τοῖς νηπίοις [12, с. 332; 13, с. 83] — только силой слова, движением интонации, ведь на самом деле слушающие продолжали видеть перед собой говорящего Фотия таким же величаво неподвижным, в литургическом облачении, в центре «ослепительного зрелища византийского церковного богослужения» [14].

Теперь — о Фотии-поэте. Если не ищешь слова поэтического — можно сказать образным выражением Фотия из этой же гомилии: въ книжъныихъ роудахъ·въ поустошь бьдиши·а иже вь нихъ таинааго·не иско-

[2] Первый известный сегодня грузинский переводчик Фотия — Георгий Мтацмидели (ум. в 1065 г.), у него Символ веры «имеет бросающееся в глаза сходство с V главой Послания Фотия папе Николаю I» [11].

паюши ни сьбереши злата, τοῖς μὲν τοῦ γράμματος μετάλλοις ματαίως ἐναγρυπνεῖς, τὸν ἐν αὐτοῖς δὲ κρυπτόμενον οὐκ ἀνορύσσεις, οὐδὲ θησαυρίζεις χρυσόν [12, с. 335; 13, с. 84]. В игнорируемых академической наукой служебных Минеях церковнославянской печати, в которых по-своему хорошо разбирались сельские грамотеи-клирошане старой России, есть анонимная стихира IV гласа, оригинал ее признан в византологии как творение Фотия. Она находится в составе службы патриарху Мефодию, 14 июня, в качестве стихиры на стиховне, ἀπόστιχον τοῦ ἑσπερινοῦ и представлена в Стихирарях XII в. (ГИМ, Син. 279, л. 75 об; ГПБ, Q. п. I.15, л. 162; БАН, 34.7.6, л. 143) и Минее XIV в. (ЦГАДА, ф. 381, № 118, л. 18). Текст в Стихирарях написан в расчете на простановку музыкальной нотации, а потому без аббревиатур:

Весело дьньсь цьркы божию одѣваєть сѧ
радоующи сѧ зовоущи
3 просвьтѣ ми сѧ доброта паче вьсѧкого града
се бо свѧтителемъ великоѥ притѧжаниѥ
славьныи Меѳодии шьствиѥ на небо сътвори
6 придѣте оубо праздьнолюбьци правовѣрьныихъ сънимиѣ
ликъ съставльше коупьно божьствьноую ракоу
ицѣлении мъножьство приимъше отъ неи
9 просите оу Христа бога
избавити вьселеноую отъ вьсѧкои ѥреси [3].

В стихометрической разбивке мы следовали за греческим текстом мюнхенского Стихираря XI/XII в. [15]; с нотацией он издан по венскому Стихирарю XIII в. [16]; он есть в неопубликованном Стихираре 1106 г. (ГПБ, Собр. РАО, № 1, л. 110) и в печатной Минее:

Εὐφροσύνως σήμερον ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ στολίζεται,
ἀγαλλομένη κράζουσα·
3 Ἐλαμπρύνθη μου τὸ κάλλος ὑπὲρ πᾶσαν πόλιν·
ἰδοὺ γὰρ τῶν ἐρχιερέων τὸ μέγα κειμήλιον
ὁ ἔνδοξος Μεθόδιος, τὴν πορείαν πρὸς οὐρανὸν ἐποιήσατο·
6 δεῦτε οὖν φιλέορτοι, τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα,
χοροστατήσαντες περὶ τὴν θείαν λάρνακα,
ἰαμάτων πλημμύραν λαβόντες παρ' αὐτῆς,
9 ἱκετεύσωμεν αἰτήσασθαι Χριστὸν τὸν θεὸν
τοῦ ῥυσθῆναι τὴν οἰκουμένην ἀπὸ πάσης αἱρέσεως.

Установилось мнение, что эти слова прозвучали в погребальных ритуалах над патриархом Мефодием, скончавшимся 14 июня 847 г. Первой его высказала профессор Сорбонны Е. Арвайлер, исходившая из содержания текста [17]. Уникальный случай датировки стихиры, написанной одиннадцать веков тому назад, с точностью до нескольких дней! К сожалению, ничего обязывающего к принятию этой точки зрения я обнаружить в стихире не сумел. Наоборот, при всей теологической безупречности определения кончины праведника как повода для радости и даже веселья развивать эту сторону понимания смерти уместно в отдаленные годовщины, когда эмоциональное уступает место философичному, но отнюдь не в надгробном слове, где называть присутствующих праздно-любцами, то есть любящими праздники, было бы как-то странно. Если с прахом патриарха Мефодия поэтическая мысль связывает *ицѣлении мъножьство* — значит, его гробница в столичном соборе Апостолов имела как место поклонения некоторую традицию. Необычна концовка стихиры; нарушение стереотипа в обстоятельствах, требующих строжайшего такта, вряд ли взял бы на себя молодой мирянин, новичок в литургической поэзии. Отнесем стихиру ко времени патриаршества Фотия!

Фотием написана еще одна стихира Мефодию, VI гласа. В Стихирарях она следует непосредственно за первой (в Стихираре ГИМ, где листы

---

[3] Разночтения (из Минеи № 118 — только лексические): 1 одѣвакть сѧ ГИМ 3 просвѣти ГПБ 4 велкии ссоуд ЦГАДА 5 Мефодиик ГПБ 6 и право- ГПБ православныхъ съставъ ЦГАДА 7 ликовствовавше ЦГАДА 8 цѣлбъ ЦГАДА 9 Хрьста ГПБ 10 отъ ГПБ.

переплетены неправильно, за л. 75 нужно читать 92-й), но в структуре службы ее место — в конце утрени, где она выполняет функцию славника, δοξαστικὸν τῶν αἴνων:

Звѣзда въсиꙗ благочьстиꙗ
отъ запада сълньца сиꙗющаго великыи въ свꙗтительхъ Меѳодиѥ
3 мракъ бо отъгънавъ зъловѣрьныихъ
почилъ ѥсть въ истиньнѣмь въстоцѣ
правьдьнааго сълньца
6 Христа бога нашего
и тамо съ бесплътьныими въдварꙗꙗ сѧ ликы
и оу прѣстола прѣстоꙗ троица
9 ꙗко прѣподобьнъ ꙗко моученикъ ꙗко свꙗтитель ꙗко патриархъ
дѣꙗниѥмь и видѣниѥмь
намъ просить вѣрою творꙗщиимъ
12 свꙗщеноую ѥго память велию милость [4].

Ἀστὴρ ἀνέτειλεν εὐσεβείας
ἀπὸ δυσμῶν ἡλίου τοῦ φαινομένου ὁ μέγας ἐν ἱεράρχαις Μεθόδιος.
3 καὶ τὴν ἀχλὺν διατμήξας τῶν κακοδόξων
κατέπαυσεν εἰς τὴν ὄντως ἀνατολὴν
τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου,
6 Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν·
κἀκεῖσε ταῖς ἀσωμάτοις συναυλιζόμενος χορείαις
καὶ πρὸς τῷ θρόνῳ παρεστὼς τῆς τριάδος
9 ὡς ὅσιος, ὡς μάρτυς, ὡς ἱερεύς, ὡς πατριάρχης
πράξει καὶ θεωρίᾳ
ἡμῖν αἰτεῖται, τοῖς ἐν πίστει τελοῦσι
12 τὴν ἱερὰν αὐτοῦ μνήμην, τὸ μεγα ἔλεος.

Здесь патриарх Мефодий чествуется *ꙗко прѣподобьнъ*, ὡς ὅσιος. Исходные значения этих слов ничего общего не имели, ὅσιος есть «богобоязненный» (Платон понимал ὁσιότης как умение правильно вести себя перед богами), тогда как *прѣподобьнъ* производно от и.-е. корня **dhabh-* «соответствовать»; сближение произошло в языке славянской церкви, где лексика формировалась после иконоборчества, под живым впечатлением победы над ересью. Термин выразил идею иконы [18] и знаменательно применен в нашей стихире к тому, кто возглавлял византийскую церковь в час победы — к Мефодию. Достопримечательно и словосочетание πράξει καὶ θεωρίᾳ, *дѣꙗниѥмь и видѣниѥмь* — ранний пример антитезы, которой готовилось великое будущее [19], наступившее в Петровскую эпоху, когда заговорили «какъ по ѳеоріи или зрѣнію, такъ и по пракси или дѣйствованію» [5].

Давно предполагали, что Фотием написан и канон Мефодию. Это произведение опубликовано лишь в 1972 г., на основе четырех греческих списков, старший из которых, cod. gr. 620 Синайского монастыря, относится к X в. [20]. Инициалы тропарей канона образуют акростих Μεθοδίῳ Φώτιος ὕμνον προσφέρω «Мефодию (я), Фотий, гимн приношу». Чтобы не оставалось сомнений, о котором Фотии идет речь, старший список имеет надписание на поле возле заглавия: Φώτιος πατριάρχης. Ирмосы, второго плагального гласа, Фотий взял готовые, часто встречающиеся в годовом круге Миней и в Октоихе. Их автор — Иоанн мних (Дамаскин?) [21].

Палеославистике есть чем приветствовать превосходную публикацию византологов: существует старославянский перевод Фотиева канона, который мы рассмотрим ниже по двум русским июньским Минеям XII в. (ГИМ, Син. 167, лл. 94—98об и ГПБ, Соф. 206, лл. 48об—50об) параллельно с греческим текстом. За основу транскрипции славянского текста

---

[4] Разночтения: 2 ѡтъ ГИМ сълньца·сиꙗющааго ГПБ свѣтꙗцѣ сѧ ЦГАДА въ архїереѡхъ ЦГАДА Меѳодию ГИМ 3 ѡтъгънавъ ГИМ зъловѣрьныхъ ГПБ и мьглоу пресѣкъ злославныхъ ЦГАДА 4 отоцѣ БАН истоцѣ ЦГАДА 5 сълньца ГПБ 6 Хрьста ГПБ 7 въдварꙗꙗ сѧ съ бесплътьныими ГПБ бестелесными ЦГАДА 8 и *опущено* ГПБ пре престоломъ престоꙗ творца ЦГАДА престола престоꙗ БАН троица ГПБ 9 прѣподобьнъ БАН 10 и *опущено* ГПБ 11 свер пающимъ ЦГАДА 12 и велию БАН, ГИМ.

[5] Пример 1720 г. из картотеки Словаря XVIII в. Института русского языка АН СССР; там же зафиксировано первое употребление грецизмов — через западное посредство: П. А. Толстой в своем «Путешествии» (1699) «не только хотѣлъ приложитися наукъ теоричныхъ, но тожъ имѣлъ чинить и практикою».

принимаем первую из рукописей, как написанную без аббревиатур. В расстановке колонов обе рукописи существенно разнятся, причем вторая ближе придерживается греческого оригинала, который берется нами за основу при членении славянского текста на стихи. В нумерации строф (тропарей) римская цифра обозначает песнь канона, арабская — номер тропаря внутри песни.

I, 1	Μαρμαρυγὰς ἀπαστράπτων	Свѣтьлостию ѡблистаꙗ
	τῶν ἀρετῶν,	добродѣтелии
3	ὡς νυμφίος πρόεισιν	ꙗко женихъ изиде
	ἐκ παστάδος τῆς σαρκὸς	и щьртога прошьдъ
	εἰς νυμφῶνα ἅγιον θεοῦ	въ невѣститель свѧтыи божии
6	σὺν ἀγγέλοις δαψιλῶς	съ ангелы обило
	νῦν εὐφραινόμενος.	весел ѧ сꙗ[6].

Ср. Пс 18,6: *ꙗко женихъ исходѧи ѿ чертога своего*, ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ — образ восходящего солнца. Отсюда — блеск, которым начинается канон. Среди слов, переводившихся как *свѣтьлость* (λαμπρότης, φαιδρότης, αἴγλη и др.), μαρμαρυγή выделяется экспрессивностью, из-за редупликации корня. Поэты любили употреблять его, чтобы выразить сверкание чего-то быстро движущегося — например, оружия. У Гомера встречаем μαρμαρυγὰς ποδῶν:

Стали цветущие юноши, в легкой искусные пляске.
Топали в меру ногами под песню они; с наслажденьем
Легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился.

(«Одиссея» 8,263—265; пер. В. А. Жуковского)

В византийскую эпоху μαρμαρυγή обозначало фаворский свет, но в каноне предпразднеству Преображения τὰς ἡλιακὰς μαρμαρυγὰς переведено как *сълнѣчьныꙗ лоуча* (Минея XII в. ГИМ, Син. 168, л. 30). В Минее Дубровского (XI в.) поэт называет апостола Варфоломея угольком, зажженным *бжиꙗ дха сиꙗниимь*, τῇ τοῦ θείου Πνεύματος μαρμαρυγῇ (ГПБ, F. п. I. 36, л. 7). В нашем случае источник света — добродетели Мефодия. Что ἀρετή передавалось через *добродѣтель*, слово с иной внутренней формой, обнаруживает в переводчике образованность, выходящую за рамки богословия. Основное значение ἀρετή — превосходство в чем-либо. Евангелисты этого слова не употребили ни разу. Видеть причину превосходства, ἀρετή, не в деньгах или воинской доблести, как у Гомера и Гесиода, не в справедливости или славе, как в языке Септуагинты, а в деятельности, направленной на благо общества, в творении добра — это означает знакомство с Аристотелем.

Христианская интерпретация цитированного выше Пс 18,6 под женихом разумеет Христа, под чертогом — Марию. В тропаре переводчик не уловил смысла τῆς σαρκὸς и опустил этот член предложения, добавив от себя ненужное *прошьдъ*. Именно σάρξ является тем, что в псалме названо своим чертогом, παστάς. Из чертога плоти, ἐκ παστάδος τῆς σαρκὸς, светлая душа (ψυχή, в тексте не названа) проследовала в брачный чертог, *невѣститель*, νυμφών, на небесах. Брак души с Богом — так интерпретировала патристика Песнь песней, таким видится поэту ἱερὸς γάμος — то, что произошло с душой Мефодия после его смерти. В литургии возглашается, что архиерея украшают священными одеждами *ꙗко невѣстоу*, Фотий назвал Мефодия (точнее: его душу) женихом. Это затемняет и без того непрозрачное соотношение понятий пола, но имеет оправдание: архиерей, в силу принципа подобия, есть образ Христа, а, следовательно, и мистического Христа-жениха.

В последнем стихе перевод опускает наречие νῦν «ныне». Концовка хороша небанальным обстоятельством образа действия: веселиться обильно. Ср. *не ѡ било смѣꙗти сѧ* в «Поучении» Владимира Мономаха.

---

[6] Разночтения Соф: 1 Свѣтьлости облистаꙗ 7 сѧ. Греческое разночтение: 1 Μαρμαρυγαῖς.

I, 2	Ἐν διεξόδοις ὑδάτων	Въ исходищнихъ водьныихъ
	πνευματικῶν	доуховьныихъ
3	φυτευθείς, ἐβλάστησας	насажєнь прозаблъ єси
	τῶν δογμάτων το στερρόν,	повелѣнии твьрдоє
	εὐανθοῦν τοῖς πέρασι τερπνόν	доброцвѣтьноую странамъ красьноую
6	εὐσεβείας γλυκασμόν,	благочьстиꙗ сладость
	σοφὲ Μεθόδιε.	моудре Мефодиє [7].

Ср. Пс 1, противопоставляющий праведника и нечестивца: первый — словно вечнозеленое дерево у родника, второй — это пыль, поднимаемая ветром с пересохшей земли. В псалме — *древо насажденое при исходищихъ водъ*, τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων. У Фотия пояснение: ὑδάτων πνευματικῶν, подчеркивающее метафоричность родника и дерева. Фотий и его переводчик более чутки к художественности псалма, чем синодальные переводчики Псалтыри на русский язык, у которых — дерево, посаженное при потоках вод. Разница между потоком и его исходищем велика, для поэтического мышления это две темы; в персонификациях родник отождествляется с женским началом, поток — с мужским.

На дереве, изображающем собой Мефодия, вырос плод, который называется *повелѣнии твьрдоє*. Понятнее говоря — то твердое, неизменное, что заключено в вероучении. Субстантивация прилагательного, взятого для такого случая в форме ед. ч. ср. рода — нормальное явление греческой грамматики, ср. τὸ καρτερικὸν καὶ στερρὸν τῆς ψυχῆς, у Евсевия [22]. В икосе Фотию и Аниките, по рукописям начиная с XI в.: *просвѣтити же ѡмраченоє разоума моѥго зарею благодати*, φωτίσαι δὲ τὸ ζοφῶδες τοῦ νοός μου τῇ αἴγλῃ τῆς χάριτος [23]. Здесь отличие в порядке слов, была возможность варьирования и по грамматическому числу, ср. Пс 102, 1, который все знали как антифон, открывающий пение литургии: *блгослови дѹше моѧ господа, и всѧ внѹтреннѧѧ моѧ* (πάντα τὰ ἐντός μου) *имѧ стое егѡ*. Синодальный перевод на русский язык устранил эту грамматическую особенность, получилось *вся внутренность моя* — русские поэты так не сказали бы!

И еще одно дает подразумеваемое дерево — сладость, γλυκασμόν (слово Септуагинты, его нет у античных поэтов). Ее благоухание ощутимо от края до края земли, таковы границы, выраженные четким τοῖς πέρασι и неотчетливым *странамъ*.

1, 3	Θυσιαστήριον θεῖον	Жьртвьникъ божествьныи
	τὴν σεαυτοῦ	свою си
3	ψυχὴν ἐργασάμενος,	доушю съдѣлавъ
	πάτερ, θύματα δεκτὰ	ѡтьче заколениꙗ приꙗтьна
	ἀρετὰς προσέφερες Χριστῷ,	добродѣтели приношааше Христови
6	τῶν μωλώπων τῷ πυρὶ	мозольми ѡгнѧ
	ὁλοκαυτούμενος.	вьсь съжагаѥмъ [8].

Жертва возлагается на θυσιαστήριον «жертвенник, алтарь» и, обложенная дровами, ритуально сжигается; дым и есть дар, которого боги ждут от людей. Θυσία «жертва» происходит от θύω «дымить»; не столь ясна этимология праслав. *жрьтва*. Ставят в параллель литов. *giriù* — *girti* «хвалить, славить», из чего выводят значение «хвалебная песнь, воспевание». Однако в тех религиях, ритуалы которых поддаются наблюдению, акт жертвоприношения как раз окружен благоговейным молчанием. Наряду с обычным жертвоприношением, когда от жертвенного животного сжигается определенная часть, а прочее идет жрецам, Ветхим заветом предусмотрено *всесожжение* (иврит. ола, греч. ὁλοκαύτωμα) — высший вид жертвы, отличающийся тем, что здесь ничто не расходуется для земных целей, все возносится дымом на небо. В «Мученичестве Поликарпа» (II в.) гибель за веру впервые названа всесожжением [24]. Сила образа нашла признание у многих гимнографов и даже поэтов нового времени — В. А. Жуков-

[7] Разночтения] Соф: 1 исходищихъ 2 дѣвныхъ 5 доброцвьтьноую странамъ красноую 6 блгочьстьꙗ 7 Мефодье.

[8] 3 дшю 4 оче 5 приношаше 6 огнѧ 7 въсесъжагаѥмъ.

скому Бог мыслился принимающим от России грандиозную жертву всесожжения 1812 года:

Он в дым Москвы себя облек.

Мефодий мучеником в точном смысле этого слова не был, жертвенник — внутри него самого, его душа. Она — сакральный центр храма, каким является человек в целом. Разница с жертвенником синагоги есть, и немалая. По Иоанну Златоусту, «тот жертвенник — бездушный, а этот — одушевленный (ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἄψυχον τὸ θυσιαστήριον, τοῦτο δὲ ἔμψυχον). Там все, положенное на жертвеннике, делается добычею огня, обращается в пепел, разрешается в золу и пыль, и дым рассеивается в воздухе; здесь нет ничего такого, и плоды здесь другие» [25]. Фотий нашел для жертвенного пламени уникальное уподобление — у него Мефодий сожжен τῶν μωλώπων τῷ πυρὶ «огнем кровоподтеков». Действительно, Мефодий во время гонений на иконопочитателей был приговорен к бичеванию и запорот до полусмерти. Вместе с тем это аллюзия не пророчество: τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν «кровоподтеком его мы исцелились» (Ис 53, 5), в Новом завете примененное к Христу (I Пет 2, 24) и читаемое в паримии страстной пятницы.

Переводчик не справился со словосочетанием τῶν μωλώπων τῷ πυρὶ.

III, 1	Ὁ λόγος ἄφθονος, σοφέ,	Слово нескоудьно моудре
	ἄληπτος δὲ ὁ βίος,	нескоудьно же житие
3	ὁ ἱδρὼς δέ, τρισμάκαρ,	потъ же трьблажене
	τῶν ἀγώνων σου σεπτὸν	подвигъ твоихъ чьстьныихъ
	ἀρχιερέα θεοῦ	свѧтителѧ божиѧ
6	ἔχρισέ σε,	помаза тѧ
	κόσμον ἁγιάζοντα.	мира освѧщающа [9].

Слово нескоудьно — это не многословие; ἄφθονος означает, что слово Мефодия не имело недоброжелательности, зависти, было щедрым на доброту. Греческий и славянский эпитеты к житию неадекватны, по точному смыслу ἄληπτος житие Мефодия — «неумопостигаемо совершенно».

Основное в тропаре — помазание Мефодия. Помазание — высокое понятие в средиземноморской культуре, помазанниками называли царей, само имя Иисусово, Χριστός, буквально означает «помазанник». В ритуале христианского помазания, символизирующем наложение печати св. Духа, применялось оливковое масло с ароматическими специями. А в нашем случае это собственный пот Мефодия, пот его подвигов во имя веры. Смелый ход поэтической мысли, ведь П. Шантрен видел в слове ἱδρώς «пот» вульгарность [26]. Но в Синайском Евхологии (XI в.) говорится о Христе: *поущеи потъ свои на земльѫ акы кръвь* [27], это соответствует Евангелию (Лк 22, 44). О. Н. Трубачев указал мне на параллель — притчу о потном философе, рассказанную Мефодием Солунским немецкому королю, в паннонском Житии Мефодия (Усп. сб. 107а).

Небольшое количество греческих и еще меньшее — славянских имен способно образовывать композиты, начинающиеся с τρι(σ)-, *три-*, *тре-*, которое придает семантике исходного слова иррациональное усиление (τρισμάκαρ), вовсе не означающее арифметическое утроение. Другие числительные для этой цели не употребляются, число *три* имеет давние привилегии в сакральной сфере [28].

III, 2	Δογμάτων ἔβλυσε πηγὸς	Оучении источи стоуденьца
	ἡ πολύφθογγος γλῶσσα,	мъноговѣщаныи ѩзыкъ
3	εὐφροσύνης πληροῦσα	велиѧ испълнѧѩ
	τὰς καρδίας τῶν πιστῶν,	сьрдьца вѣрьныихъ
	τοῦ ἱεράρχου Χριστοῦ,	свѧтителѧ Хрьстова
6	ἀσεβούντων	нечьстьныихъ
	τὴν ὀφρῦν βυθίζουσα.	гърдыню погроужаѩ [10].

Если *стоуденець* течет с языка и так обилен, что наполняет весельем (εὐφροσύνης; в славянском пропущен слог) сердца одних и затопляет

[9] 2 нескоудьно] непорочьно 4 чьстьныхъ.
[10] 1 Оучени 2 много- 4 вѣрныихъ 6 нечьстьныхъ.

гордыню (τὴν ὀφρῦν, буквально: «бровь», подразумеваются высокомерно поднятые брови) других, это сейчас производит такое же впечатление, как от карикатуры. У византийцев критерии были иными, образность Фотия покажется даже умеренной рядом с каноном, творением Феофана, где язык св. Нила топит ересь, источая *хлѧби повелѣнїи*, καταῤῥάκτας δογμάτων [29, с. 360] — намек на шесть нильских водопадов от Асуана до Хартума.

III, 3	Ἰδοὺ τὰ τέκνα σου πολλὰ	Се чада твоꙗ мънога
	τάφον περικυκλοῦντα·	гробъ ѡбьстоупающа
3	ὥσπερ ἄνθη ποικίλα	ꙗко цвѣты различьны
	τὰ διδάγματα τὰ σὰ	оучениꙗ твоꙗ
	ὀσφραίνονται μυστικῶς	обонѧють таино
6	εὐωδίαν,	благооуханиѥ
	πάτερ, ἀποστάζοντα.	ѡтьче искаплѧюща [11].

Чадами патриарха является весь народ — таково количество людей, в воображении поэта окруживших гробницу Мефодия. Все они нюхают цветы, в которых утопает гробница — море разнообразных цветов, символизирующих назидания усопшего. *Обонѧють таино* — не украдкой, не исподтишка, а с трепетным чувством приближения к святыне. Тончайшие понятия греческой мистериальности первоучители славян обозначили словом *таина* — возможно, того же корня, что и *тать* «вор». Облагораживание семантики пришло постепенно, когда носители языка вошли во вкус церковных ритуалов. Благоухание цветов мыслится Фотию капающим, а не струящимся или подобным дуновению. Неудачный образ? Но ведь и у Пушкина

Лишь повеет аквилон,
И закаплют ароматы

— чего поэт не видел в своих первоисточниках (*потекѹтъ ароматы*, que les parfums en découlent — Песнь песней 4, 16).

IV, 1	Ὡς κλῆμα εὔφορον	Ꙗко розга гобьза
	καρπὸς ἐβλάστησας	плодъ прорастилъ ꙗси
3	τὸν τῆς γνώσεως βότρυν,	разоумьныи грьзнъ
	ἐξ οὗ φαγὼν	ѡтъ него же сънѣдъ
	τῶν αἱρετιζόντων χορὸς	ꙗеретичьскыи ликъ
6	τὰς μύλας θλάττεται, σοφέ,	зоубы съкроушаѥть сꙗ моудре
	τῶν πιστῶν δὲ ἀναπλάττεται.	вѣрьныихъ же съгражаѥть сꙗ [12].

Флора византийского гимнографа не обходилась без винограда. Он не назван, но релевантным словом является βότρυς «гроздь» — оно, как правило, применимо только к винограду. Что плоды великого ума могут быть для одних хороши, а для других не по зубам — это в порядке вещей, так сказать можно. Но здесь плодам и зубам словно возвращено их непереносное значение, и налицо чудо: гроздь хороша для правоверных, а еретики, пытаясь вкусить от нее же, ломают себе зубы.

Поразителен стих τῶν αἱρετιζόντων χορός. Средневековая церковь не находила для характеристики своих противников иных слов, кроме бранных. Χορός, *ликъ* — противоположность этому. Для фразеологии отцов церкви и гимнографов привычны ангельский лик, лик праведников, лик преподобных (ср. у Лермонтова: *Хоры стройные светил*) — но толпы, полчища, сонмища бесов, еретиков, нечестивых.

IV, 2	Φωτὸς πεπλήρωται	Свѣта испълни сꙗ
	ἡ σή, τρισμάκαρ, ψυχὴ	твоꙗ трьблажене доуша
3	ἀκηράτου καὶ κόσμῳ	нетьлѣньнааго мироу
	ταῖς ἀρεταῖς	добродѣтельми
	λύχνος ἐχρημάτισεν,	свѣтильникъ бысть
6	τὰ διαβήματα ἡμῶν	стопы наша
	εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν ἄγουσα.	на поуть правыи приводꙗщи [13].

---

[11] 2 обистоупающа 7 очѥ.
[12] 4 нѥго 5 еретичьскыи 6 сꙗ] си 7 вѣрьныхъ же съгражаѥть сѧ.
[13] 1 сꙗ] сѧ.

Светильник души Мефодия выводит блуждающих на путь прямой, понятие о правом как антитезе левого в оригинале отсутствует.

Эпитет ἀκήρατος — не редкость в гимнографии, но в применении к свету он также необъясним, как и *небо с нетленным закатом* у Фета. Историческое недоразумение началось с того, что древний переводчик допустил ошибку, ставшую традиционной: в ἀκήρατος он усмотрел приставку α- со значением отрицания и корень κηρ, которому приписывается значение «разрушение, тлен». Но «с греческой точки зрения существует лишь неделимое ἀκήρατος, означающее одновременно „нетронутый" и „чистый"» [26]. Искони оно служило эпитетом для воды, вина, девственницы; в византийскую эпоху участились применения к понятиям невещественным. Пушкинский стих

И Страсбурга пирог нетленный

Ю. М. Лотман комментирует так: «Паштет из гусиной печени, который привозился в консервированном виде (нетленный), что было в то время модной новинкою (консервы были изобретены во время наполеоновских войн)» [30]. Вопросы экономики («что мы имеем с гуся?») заслонили поэтику, а пушкинский текст подправлен: союз *и* превращен Ю. М. Лотманом в предлог *из*. Так легче поверить, что петербургский ресторатор-француз не умел испечь пирог по-страсбургски и каждый раз доставлял его из Франции — не то гужевым транспортом по бездорожью, не то при попутном ветре по морю. Однако вариант в рукописи поэта: [*Явись*] *и ты пирог нетленный* усиливает впечатление, что суть — не в изобретении консервов, а в ироническом употреблении церковнославянизма.

IV, 3	Ὡραῖον μώλωψιν,	Красьна прѣподобьнае
	φαιδρον τοῖς δόγμασιν,	свѣтьла оучении
3	ἐξαστράπτοντα θείαις	блистающа божествьными
	τῶν ἀρετῶν	добродѣтелии
	λαμπηδόσι βλέπουσα,	сиянии видѧщи
6	νυμφαγωγόν σε ἡ Χριστοῦ	невѣстителѧ Хрьстова
	ἐκκλησία ἐξελέξατο.	цьркы избьрала ѥсть [14].

Переводчик уклонился от точной передачи выражения ὡραῖον μώλωψιν, характеризующего Мефодия как красивого кровоподтеками: то, что византийцами воспринималось серьезно, могло у неподготовленных славян вызвать бесчинный смех. *Невѣститель* в первом тропаре имело значение «брачный чертог», νυμφών, а здесь — «свадебный дружка», νυμφαγωγός, последнее переведено в «Словах» Григория Назианзина (XI в.) как *невѣстоводьць* [31], в февральской Минее XI/XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 103, лл. 8 и 38об) как *наженитель*. Перечисление вариантов можно было бы продолжить, они — свободное словотворчество переводчика, а не реалии славянского брачного права.

V, 1	Τῷ θείῳ φέγγει σου, ἀγαθέ,	Божествьнымъ свѣтъмь ти блаже
	τὴν ἀμαυρωθεῖσάν μου ψυχὴν	омраченоую ми доушю
3	τοῖς ζοφεροῖς ἁμαρτήμασι	омраченыими грѣхы
	ταῖς πρεσβείαις, σῶτερ,	молитвами съпасе
	τοῦ ἱεράρχου σου	свѧтителѧ твоѥго
6	καταύγασον καὶ σῶσον,	озари и съпаси
	ὡς παντοδύναμος.	ѩко милостивъ [15].

Глагол *омрачити* применен дважды, для передачи двух греческих слов. Очень черные грехи (ζοφερός < ζόφος «полный мрак», а именно «мрак преисподней» — так у Гомера и других) вызвали некоторое потемнение души как целого (ἀμαυρόω < ἀμαυρός «трудноразличимый, темноватый» — эпитет призрака; ср. ἀμαύρωσις «ослабление зрения»).

---

[14] 1 прпдбне 3 бжствьными.

[15] 1 Бжствьнымь свѣтомь 2 омраченоую ми дшоу.

V, 2	Ἰδοὺ πανήγυρις τηλαυγὴς·	Се тьржьство свѣтьло
	τοῦ ἀρχιερέως τοῦ θεοῦ	свѧтителѧ божиѧ
3	ἡ μνήμη σήμερον προκειται·	памѧть прѣдьлежить дьньсь
	δεῦτε μετὰ πόθου	придѣте съ любьвию
	πάντες ἀρύσασθε	вьси искоупите
6	τοῦ πνεύματος τὴν χάριν,	доуховьноую благодать
	ὕμνους προσάγοντες.	пѣснь приносѧще [16].

Приглашение *черпать*, ἀρύσασθε переведено через *искупать*. Название праздника — *тьржьство* — еще не утратило первоначального значения торжища. Дело не только в наивном, «народном» понимании смысла всякого празднества — с чем считались в средневековых городах епископы, охотно разрешая совмещать главные церковные праздники с ярмарками. Христианство называют религией искупления, причем искупление есть перевод греч. λύτρωσις или ἀπολύτρωσις, означающего освобождение из рабства путем выкупа. В данном случае «куплена» будет благодать, χάρις. Как и в случае с ἀρετή, мы оказываемся перед несоответствием греческого и славянского слов по их внутренней форме (χάρις — «радующее», «то, что радует»), но превосходной философской увязки, без понимания которой нельзя объяснить странное слово в русском языке — *благодарить*, где направленность действия по глаголу почему-то противоположна направленности дарения самого блага. Уже при первых славянских переводах пришлось считаться с тем, что в χάρις специфически греческое радостное мироощущение заслонилось теологией апостола Павла, образовалось новое значение — «ответное чувство при получении дара свыше, при оказании милости», осознавалась свобода в действиях оказавшего милость: он дарит, но может и не дарить. Правопорядок христианских государств получил, для уподобления небесному правосудию, символический придаток — институт помилования, даруемого, как и благодать, «без предварительного права или заслуги и достоинства приемлющего» [32]. Рус. *благодарить* в своем исходном значении — это харизматический рефлекс, частица небесной благодати, идущая навстречу давшему благо земное. Sacrum commercium религии искупления [33]! Ее торжищу Фотий придал эпитет τηλαυγής — не просто *свѣтьло*, а далеко бросающее свой свет, греч. τῆλε «далеко» связано с литов. *tolì* и слав. **dal-* [34].

V, 3	Ὁ τάφος ἤνοιξεν οὐρανούς,	Гробъ ѡтьвьрзе небеса
	ὃν ὑπὲρ Χριστοῦ ὑπεραθλῶν	въ немь же по Хрьстѣ положенъ
3	ἤνεγκας χαίρων, Μεθόδιε·	радоуи сѧ нынѣ отьче Мефодьѥ
	τὰ ἐν τοῖς ὠραίοις	на красьноую
	ποσὶ δὲ σίδηρα	же ногоу оковы
6	παραδείσου τὰς πύλας	небесьнаѧ врата
	σοὶ προηυτρέπισαν.	тебе прооуготоваша [17].

Могила как отверстие в небеса — это не только лазурь, брызнувшая из-под лопаты гробокопателя, но и переосмысленный факт из биографии Мефодия: иконоборцы несколько лет продержали его в темнице, причем для изощренности пытки темницей этой был могильный склеп.

Красные ноги скончавшегося патриарха предвосхищают «абстрактные символы», какими показались Д. С. Лихачеву красивые ноги в качестве новшества «экспрессивно-эмоционального стиля конца XIV—XV в.» [35].

VI, 1	Σοφίας καὶ χάριτος	Моудрости и благодати
	ἐξεχύθη γλυκασμὸς	излыѧ сѧ сладость
3	ἐν τοῖς σοῖς, μάκαρ, χείλεσι	на твоѥю блажене оустьноу
	καὶ ὡς μέλι κηρίων οἱ εὐπρεπεῖς	ѩко медьныи сѣть словоущии
	προέρχονται λόγοι σου,	происходѣть словеса твоѧ
6	τῶν πιστῶν τὰς καρδίας	и вѣрьныихъ сьрдьца
	ἱλαρύνοντες.	оумащающе [18].

Сладость питала Мефодия, сладостью он питает *вѣрьныихъ*. Первая изливалась на него свыше, вторая исходит от него самого и подобна меду.

---

[16] 3 предълежить 4 любъвью 5 вси.

[17] 2 нѥмь 3 нынѧ оче Меѳодьѥ 4 красьною.

[18] 2 излиѧ сѧ 4 словоущеи 5 происходѣть 6 вѣрныихъ.

Сравнения словес с медом удостаивались выдающиеся ораторы и поэты, как повелось с античности [36] и продолжалось в средние века (канон Иоанну Дамаскину в декабрьской Минее), только поэты нового времени не приняли бы такой похвалы.

VI, 2	Ὑπήνεγκας κίνδυνον	Подъылъ ѥси бѣдоу
	ὡς ἀνάπαυσιν, σοφέ,	ѩко покои моудре
3	ὡς δὲ τερπνὸν παράδεισον	ѩко красьныи раи
	ἐξορίας ὑπέστης, ὡς δὲ φαιδρὸν	изгънаниѥ прѣтьрпѣ ѩко въ свѣтьлоую
	παλάτιον ᾤκησας	полатоу въсели сѧ
6	τὸν ἐπώδυνον τάφον,	въ болѣзньныи гробъ
	ἱεράρχα Χριστοῦ.	свѧтителю Христовъ [19].

Κίνδυνος — это не столько *бѣда*, слово с семантическим оттенком фатальной неизбежности, сколько риск решительной борьбы, опасность, которой человек подвергает себя сознательно. Противоположность этому — ἀνάπαυσις, *покои*, слово высокого стиля, известное всем византийцам по звучавшему в каждодневных молебнах евангельскому призыву труждающихся и обремененных (Мф 11, 28—29).

Сущ. ἐξορία в классическом языке не засвидетельствовано. Для византийцев возникала ассоциация с выражением из постной Триоди: ἡ ἐξορία τοῦ Ἀδάμ «изгнание Адама (из рая)», как контраст с участью Мефодия. Τάφος, *гробъ* — не место погребения Мефодия, а могильный склеп, который был для него прижизненной темницей (см. V, 3). Его антитеза — παλάτιον «императорская резиденция».

VI, 3	Μορφώσας τὴν πάνσεπτον	Оукрасивъ вьсечьстьноую
	ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ	цьркъвь Хрьстовоу
3	τοῖς τῶν δογμάτων χρώμασιν	повелѣнии
	ἐξαστράπτουσαν κάλλει ὡς ἀληθῶς,	ѡблистающю добротою ѩко въ истиноу
	ἀκήρατον ἔδειξας	нетьлѣньноу показалъ ѥси
6	την ἀρχαίαν εἰκόνων	дрѣвьнеѥ
	ἀναστήλωσιν.	иконовъѡображениѥ [20].

В переводе исчезло τοῖς χρώμασιν — существенный элемент поэтической картины, ее красочность. Эпитет ἀκήρατον, относящийся к последнему существительному, в славянском тексте привязан, наоборот, к первому. Неточно передано сущ. ἀναστήλωσις, первоначально означавшее водружение на колонну (статуи), в эпоху иконоборчества оно имело в языке иконопочитателей абстрагированный от образа колонны смысл — «воздвижение икон» (ἀναστήλωσις τῶν σεπτῶν εἰκόνων), то есть подъем их в качестве знамени.

Далее у Фотия — тропарь VI, 4, отсутствующий в переводе.

VII, 1	Ὀξυγράφου μὲν ἡ γλῶσσα σου, θεόσοφε,
	κάλαμος ἐχρημάτισεν,
3	ὁ δὲ νοῦς ὁ σὸς
	νοημάτων θείων θησαυρός,
	εἰς ὅνπερ ἐμβάπτουσα, Χριστοῦ
6	τὸν χαρακτῆρα ἐμφανῶς
	ἐστηλογράφησεν.

	Скорописьца оубо языкъ твои Мефодиѥ
	тръсть бысть
3	а оумъ твои
	разоумъ божествьныихъ съкровище
	въ не же ѡмачаѩ Хрьстовъ
6	ѡбразъ ѩвѣ
	въѡображенъ написа [21].

Ср. Пс 44, 2: *ѧзыкъ мои трость книжника скорописца*, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου. Иконописец макает свой инструмент в «сокровищницу» (θησαυρός), наполненную идеями (νοήματα), она назы-

---

[19] 3 красныи 4 изгнаниѥ претьрпѣ·ѩко въ свѣтлоую 5 всели сѧ.
[20] 4 облистающоу 6 древнеѥ 7 иконъ въображениѥ.
[21] 1 Скорописца; Меѳодьѥ 4 скровище 5 в ѥ же омачаѩ 6 образъ 7 въображенъ.

вается νοῦς. Это слово, обозначающее одну из основных категорий греческой философии, ее крупнейший знаток А. Ф. Лосев, пишущий для ученых, оставляет без перевода — *нус*, и семантически объясняет как «ум», «разум» [37]. Наш переводчик не был профессиональным философом и писал для восприятия на слух неграмотными пастухами и пахарями — он применил оба объяснения, и *оумъ*, и *разоумъ*, и даже разграничил их смысл: *оумъ* — это νοῦς, а *разоумъ* — *νόημα*. Существенно, что в византийскую эпоху стали возможными сравнения νοῦς с глазом и светом, что имеет прямое отношение к теории живописи. Этим словом иногда называли блаженный дух , созерцающий великолепие божие [38].

VII, 2	Νοητὸν ἡμῖν παράδεισον ἀνέδειξε	Разоумьныи раи намъ показа
	κύριος τὸ σὸν στόμα, σοφέ,	Христосъ оуста твоꙗ Мефодиѥ
3	προβαλλόμενον	прѣдълагающа
	τὸν καρπὸν τῆς γνώσεως ἀεί,	плодъ разоумьныи присно
	ἐξ οὗπερ γευόμενοι πιστῶς,	ѡтъ него же въкоушающе вѣрьно
6	αἱρετιζόντων τὸν ἰὸν	еретичьскыи ѧдъ
	ἀποκρουόμεθα.	ѡтъражаѥмъ [22].

Принцип отражения яда противоядием занимал умы издревле, его без конца испытывали на приговоренных к смерти, Никандр Колофонский написал о ядах и противоядиях поэму. Но это — об отравлении и исцелении телесного начала. Эта же антитеза применялась к здоровью души. Что можно убить словом — истина известная, *ѧзыка же никто же можетъ ѿ человѣкъ оукротити: не оудержимо бо зло, исполнь ꙗда смертоносна*, ἰοῦ θανατηφόρου (Иак 3, 8). По Клименту Александрийскому, слово σωτήρ «спаситель» (о Христе) выражает получение больным человечеством всех нужных ему противоядий [39]. Фотий как бы развивает эту мысль, у него Христос указывает на уста Мефодия, чьи слова — умственный рай, где произрастают плоды, исцеляющие от яда ереси.

VII, 3	Περιβέβλησαι χρηστότητος εὐπρέπειαν,	Облѣче сѧ въ лѣпотоу благости
	μάκαρ, ἀποδυσάμενος	блажене съѡдѣвъ сѧ
3	ἣν ἐξύφανε	юже истъка
	συμβουλῇ τοῦ ὄφεως στολήν·	съвѣтъмь змиинъмь ѡдежю
	γυμνῷ δὲ προσώπῳ καθορᾶς	нагъмь же лицьмь видиши
6	νῦν κατὰ Παῦλον ἐμφανῶς	нынѣ по Паоулѣ
	θεοῦ τὸ πρόσωπον.	божиѥ лице [23].

В раю Мефодий сбросил с себя земные одежды, которые *истъка съвѣтъмь змиинъмь*. По признакам формальной грамматики ткал их сам Мефодий, но теологический смысл высказывания иной: любой человек несет на себе первородный грех Адама и Евы, совершенный по совету змия и повлекший за собой потерю детски блаженного неведения, потребность облачаться, содержащую зародыш лжи, фальши. Новое одеяние Мефодия — *лѣпота благости*, и теперь он видит Бога. Homo religiosus содрогался от этой мысли, для него она — кульминация любого поэтического произведения. Так было и в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива», написанном в особом душевном состоянии: Лермонтов был арестован за слово правды, брошенное в лицо царю, тотчас распорядившемуся о психиатрическом освидетельствовании поэта.

Сподобился боговидения Мефодий *по Паоулѣ*, то есть согласно учению апостола Павла (2 Кор 3, 12—18; 1 Кор 13, 12). Этот локатив имеет аналогию в тропаре V, 3: *по Хрьстѣ*, но в греческом оригинале — κατὰ Παῦλον (вин. п.), ὑπὲρ Χριστοῦ (род. п.).

VIII, 1	Ῥυπτικὴν λαμπηδόνα	Очистительноую лоучю
	παθῶν κτησάμενος	страстии сътѧжавъ
3	δι' ἀσκήσεως, πάτερ,	пощениѥмь ѡтьче
	ηστραψας κόσμῳ παντὶ	ѡблисталъ ѥси вьсемоу мироу
	τύπους ἀψευδεῖς	ѡбразы нелъжьныи
6	ἀρετῶν, διαγγέλλοντας	добродѣтели възвѣщающа
	τὸν τοῦ παραδείσου	раꙗ
	ἀένναον χειμάρρουν.	приснотекоущии потокъ [24].

---

[22] 2 Меѳодьѥ 3 предълагающа 4 разоумныи 5 вѣрно 6 и еретичьскыи ꙗдъ.
[23] 1 Облече сѧ 2 съодѣвъ сѧ 4 съвѣтомь змииномь одежоу 6 нынѧ по Паулѣ.
[24] 1 лоучоу 2 сътѧжѧвъ 3 оче 4 облисталъ ѥси всемоу 5 образы.

Полет фантазии Ефрема Сирина или Данте, изобразивших картины рая, не имел догматических ограничений, но все же был набор общепринятых образов: роскошный сад, цветущий луг, благоухания, пение птичек, река — зеркальная, спокойная, как будто она несет не воду, а оливковое масло; все залито мягким светом и приятной теплотой.

У Фотиева рая один конкретный признак, но какой! Χειμάρρους — это мутный поток зимнего паводка (от χεῖμα «холодное и дождливое время года; зима; буря»), рвущий все на своем пути. Слово есть в сетованиях библейского Иова по поводу того, что творящему беззакония обычно живется хорошо, а когда он умирает, его с почестями провожают огромные толпы, и даже *оусладеса емꙋ дробное каменїе потока*, ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου (Иов 21, 33). Иероним перевел это на латынь, прибегнув к мифологическому названию реки в преисподней: dulcis fuit glareis Cocyti (Κώκυτος — букв. «воющий, плачущий»). Иначе говоря, даже камни, которые мчит в кромешной тьме поток преисподней, для злодея оборачиваются сладостью. Другой случай — в зловещем контексте Ин 18,1: после своей последней молитвы Иисус переходил ночью на место, где его поджидали, чтобы схватить, стражники с предателем Иудой; топографическим рубежом между свободой и несвободой здесь был χειμάρρους — пусть пересохшее русло, заполнявшееся только в зимние дожди [40], но все равно с эмоционально полнозначным названием. Чем же мотивирован такой выбор слова у Фотия? Существует прецедент, где признак полноводности заслонил собой все пугающее в семантике χειμάρρους. Это было достигнуто в Пс 35,9 определением: χειμάρρους τῆς τρυφῆς (взятым из лексики, описывающей рай в Септуагинте — παράδεισος τῆς τρυφῆς, κῆπος τρυφῆς). Τρυφή «наслаждение, нега, утонченность» — это радость жизни, конечная цель самой жизни, как ее понимали киренаики и эпикурейцы. По этой среде бытования, да и по происхождению от θρύπτω «расслаблять душу и тело», слово τρυφή не очень-то подходило к христианской философии, но менять текст псалма, унаследованный от эллинизированных иудеев, церковь не могла, слово предстояло очистить от языческой соблазнительности и наполнить новым содержанием. Это заслуга Кирилла Александрийского, применившего Пс 35,9 к Христу: πηγὴ...ἐστὶ ζωῆς καὶ χειμάρρους τρυφῆς [22]. Гимнографы VII—IX вв. широко применяли χειμάρρους τῆς τρυφῆς как символ рая. А Фотий опустил определение, оставив в функции символа χειμάρρους.

VIII, 2	Ὁ τῶν ἄθλων σου βότρυς	Страстии твоихъ грьзнъ
	ἤδη ἐξήνθησε	оуже процвьте
3	καὶ καρποὺς τῶν χειλέων	и плодъ оустьноу
	νῦν σοι προβάλλεται·	нынѣ прѣдълагаѥть ти ся
	δίδου καὶ ἡμῖν	подажь и намъ
6	μετασχεῖν τῆς γλυκύτητος,	причастити ся сладости
	ἥσπερ σὺ μετέσχες,	ѥꙗ же ты подаꙗше
	εὐχαῖς σου τοῖς σοῖς τέκνοις.	молитвами си твоими чадо[25]ъ.

Здесь и в предыдущем тропаре есть сущ. ж. р. в род. п. мн. ч.— *страстии*, причем в оригинале ему соответствуют разные слова.

Πάθος в классическом языке обозначало настроение, чувство, возбуждение, аффект — как в хорошем, так и в дурном смысле. В языке апостола Павла это антоним к ἀρετή, попавший в каталог пороков Кол 3,5 — по той причине, что в языке эллинизированных иудеев слово сузило свое значение и стало обозначать эротическую эмоцию; в византийскую эпоху многозначность возвратилась, но только отрицательная [26], ср. в Октоихе: *Ѡ юности моеа мнози борютъ ма страсти*, Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη. Следовательно, в нашем словосочетании ῥυπτικὴν λαμπηδόνα παθῶν налицо genetivus objectivus, который лучше перевести с предлогом: *отъ страстии*, или же нужно принять существующий перевод в качестве синтаксического грецизма. Ἆθλος — понятие положительное, им обозначается подвиг во имя веры. Это — страдание, обычно физиче-

[25] 1 грьзнъ 4 нынѣ предълагаѥть ти ся 6 ся 7 подаꙗше 8 твоимъ.

[26] Особый случай, здесь не рассматриваемый — πάθος τοῦ Θεοῦ «страсти Христовы».

ское. Мефодий Олимпийский называет τὸν ἆθλον τῆς παρθενίας: «величайшая и превосходнейшая жертва и дар, достойнее которого люди не могут ничего другого принести Богу — подвиг девства» [41].

VIII, 3	Στρατιαὶ οὐρανίων	Воиньства небесьная
	νῦν ἐπαγάλλονται,	нынѣ радоують ся
3	δεδεγμέναι προσθήκην	приимъша приложение
	τὴν σήν, παμμάκαρ, ψυχήν,	
	δόξῃ καὶ τιμῇ	
6	στεφομένην θεοῦ δεξιᾷ	вѣньчаюмоу божиюю десницею
	ὅθεν σου τὴν μνήμην	тѣмь твою памѧть
	γεραίρομεν ἐν ὕμνοις.	чьстимъ въ вѣкы [27].

В переводе пропущены два стиха. Первый говорит, какое *приложение* получило небесное воинство: *твою*, *всеблаженный*, *душу*, то есть душу Мефодия; второй — чем увенчан Мефодий: *славою и честью* (Евр 2, 9).

IX, 1	Φωνὴ	Гласъ
	κυρίου σὸ ἐχρημάτισας,	господьнь ты былъ еси
3	φλόγα πυρὸς	пламы ѡгньнъ
	ἀπίστων γλωσσαλγίαν συγκόπτουσα	невѣрьныихъ языковрѣдия съсѣкая
	καὶ βροντῶσα, πάνσεπτε, τοῖς πέρασιν	и грьмя вьсечьстьне коньцѣмъ
6	ἦχον θεογνωσίας,	гласъ богоразоумыя
	ᾧ φωτιζόμενοι,	имь же просвѣщаюми
	νῦν ἐπαγαλλόμεθα Χριστῷ,	нынѣ радоуюмъ ся Хрьстоу
9	σὲ μεγαλύνοντες.	тѧ оублажающе [28].

Гласъ употреблено дважды: в первый раз ему соответствует φωνή «голос речи», во второй раз — ἦχος, слово, неприменимое к членораздельным звукам речи, им можно было обозначать звучание музыкального инструмента, или — как здесь — гром. Он имеет способность просвещать — озарением вспышки молнии, не названной, но неотделимой от понятия грома. Впрочем, почти названной, иносказанием — *пламы ѡгньнъ* и есть молния.

IX, 2	Εὑρὼν	Обрѣтъ
	ἀνάπαυσιν τῶν ἀγώνων σου	покои подвигъ твоихъ
3	πατριαρχῶν	съ патриаршьскыими
	χορείαις συναυλίζῃ, Μεθόδιε,	ликы въдвараюши ся прѣмоудре Мефодие
	καὶ μαρτύρων στέφει συστεφόμενος,	и моученичьскыимъ вѣньцьмь оукрашь ся
6	κάλλει συνεξαστράπτεις	добротою блистаюши
	τῷ τῆς ἁγνείας σου,	чистоты твоюя
	μάκαρ, ἀσκητῶν ὡς ἀκριβὴς	блажене постьникомъ опасьное
9	κανὼν γενόμενος.	правило бывъ [29].

Ἀγῶνες (ср. тропарь III, 1) является синонимом к ἆθλος, в античности последний характерен для поэзии, первый — для прозы. Оба слова — из лексики спортивных состязаний, куда относится и обычай награждать победителя венком. Раннехристианским авторам само понятие венка, увенчания претило, но оно оказалось неистребимым и возродилось в преобразованном значении — венками оказывали почесть усопшим, в знак того, что смерть есть победа над страстями.

В греческом тексте Мефодий — «точное мерило» для аскетов. Славянское *опасьное правило* больше походит на палицу пастуха.

IX, 3	Ῥωσθεὶς	Оукрѣпль ся
	δυνάμει θεοῦ, μακάριε,	силою божиюю блажене
3	προφητικῶς	пророчьскы
	τὰς μύλας τῶν λεόντων συνέθλασας·	зоубы чрѣновыя львомъ съсѣклъ еси
	παρρησίαν ἔχων δὲ καὶ νῦν πρὸς θεόν,	дьрзновение же имѣѧ нынѣ къ богоу

---

[27] 2 нынѧ радоують ся.

[28] 3 огньнъ 4 невѣрныхъ языковредия 5 и грьмѧ всечьстьне коньцемъ 8 нынѧ радоюмъ сѧ.

[29] 3 патриаршьскыми 4 сѧ Мефодье 5 оукрашь ся вѣньчаи сѧ 8 опасное.

6	πάσης τῆς ἐκκλησίας	ѡтъ вьсеѩ цьркъве
	τούτους ἀπέλασον,	тѣхъ ижгени силою
	ταύτην περιέπων ὡς τὸ πρίν,	сънабъдѩ ѩко прѣже
9	σοφὲ Μεθόδιε.	ѡтьче Мефодиѥ [30].

Под львами подразумеваются нечестивцы, ср. Пс 57, 7, из его старославянского текста здесь появилось определение *чрѣновыѩ*, которого нет выше, в тропаре IV, 1 [34]. Наречие προφητικῶς, *пророчьскы* сравнивает Мефодия, истязаемого нечестивцами, с пророком Даниилом во рву львином (Дан 14, 31—42).

Мефодий имеет *дьрзновениѥ къ богоу*, παρρησίαν πρὸς θεόν. Совместимо ли это с должной богобоязненностью? Παρρησία может иметь значение и отрицательное, и положительное, в зависимости от контекста. Здесь подразумевается самосознание такого сына, который потрудился как следует и поэтому не прячет глаза, представ перед отцом.

Далее у Фотия — тропарь IX, 4, отсутствующий в переводе.

Таковы беглые наблюдения над Фотиевым каноном. Неаргументированным суждениям, что «реалист Фотий был довольно далек от поэзии» [42] и его опытам «особое поэтическое достоинство, кажется неприсуще» [43], теперь можно возразить, что Фотий и в поэзии — орел, работа над его каноном была превосходной школой художественного перевода.

ЛИТЕРАТУРА

1. История Византии. Т. 2. М., 1967, с. 358.
2. *Иванцов-Платонов А. М.* К исследованиям о Фотии. М., 1892, с. 19.
3. Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 8. Freiburg i. Br., 1963, Sp. 487.
4. *Куник А. А.* О трех списках Фотиевых бесед.— Записки Имп. АН, 1906, т. VII, № 8, с. 82.
5. *Лурье Я. С.* Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века. М.— Л., 1960, с. 188.
6. *Синицына Н. В.* Послание константинопольского патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому.— ТОДРЛ. Т. XXI. М.— Л., 1965.
7. Български старини. Т. V. София, 1917.
8. Извори за българската история. Т. VIII. Гръцки извори. Т. IV. София, 1961.
9. Melissa. Hrsg. von Tschižewskij D. München, 1968.
10. *Мечев К.* Словото на патриарх Фотий.— Проучвания върху Супрасълския сборник, старобългарски паметник от X век. София, 1980.
11. *Tarchnišvili M.* Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur. Città del Vaticano, 1955, S. 166.
12. *Северьянов С. Н.* Супрасльская рукопись. СПб., 1904.
13. Φωτίου Ὁμιλίαι, ὑπό Β. Λαουρδᾶ. Θεσσαλονίκη, 1959.
14. *Лазарев В. Н.* Византийская живопись. М., 1971, с. 100.
15. *Christ W., Paranikas M.* Anthologia graeca carminum christianorum. Leipzig, 1871, p. 100.
16. Sticherarium. Edendum curaverunt Höeg C., Tillyard H. J. W., Wellesz E. Copenhague, 1935.
17. Byzantinische Zeitschrift. Bd. 58. München, 1965, S. 350.
18. *Мурьянов М. Ф.* К семантике старославянской лексики.— ВЯ, 1977, № 2, с. 133.
19. *Snell B.* Theorie und Praxis im Denken des Abendlandes. Hamburg, 1951.
20. Analecta Hymnica Graeca. X. Canones iunii. A. Acconcia Longo collegit et instruxit. Roma, 1972, p. 50—62, 339—344.
21. *Eustratiades S.* Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932, p. 159.
22. *Lampe G. W. H.* A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1968.
23. Der altrussische Kondakar. Bd. 3. Hrsg. von Dostál A. und Rothe H. Giessen, 1980.
24. Lettres et Martyre de Polycarpe de Smyrne. P. p. Camelot P.-Th. Paris, 1969.
25. Patrologia Graeca. T. 59. Paris, 1862, col. 90.
26. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris, 1968.
27. *Nahtigal R.* Euchologium Sinaiticum. Ljubljana, 1942.
28. *Топоров В. Н.* К семантике троичности.— Этимология 1977, М., 1979.
29. *Ягич И. В.* Служебные Минеи. СПб., 1886.
30. *Лотман Ю. М.* Роман Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1980, с. 143.
31. *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1902.
32. Словарь русского языка, составленный II Отделением Имп. АН. Т. I. СПб., 1895, с. 196.

---

[30] 1 сѧ лвомъ сътьрлъ ѥси 5 имѣѩ нынѧ 6 всеѩ 7 иждени 8 сънабъдѧ ѩко преже 9 оче Меѳодьѥ.

33. *Herz M.* Sacrum commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der römischen Liturgiesprache. München, 1958.
34. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 4. М., 1977.
35. *Лихачев Д. С.* Необходимые разъяснения.— Русская литература, 1976, № 4, с. 103—106.
36. *Waszink J. H.* Biene und Honig als Symbol des Dichters und der Dichtung in der griechisch-römischen Antike. Opladen, 1974.
37. *Лосев А. Ф.* Статьи по истории античной философии для IV—V томов «Философской энциклопедии». Рукопись для общественного обсуждения. М., 1965.
38. *Crouzel H.* Geist.— Reallexikon für Antike und Christentum. Lfg. 68. Stuttgart, 1974, Sp. 510.
39. *Clément d'Alexandrie.* Le Pédagogue. I. Paris, 1960, p. 288—289.
40. *Schnackenburg R.* Das Johannesevangelium. Bd. 3. Freiburg i. Br., 1975, S. 250.
41. *Méthode d'Olympe.* Le Banquet. Paris, 1963, p. 142.
42. *Ziegler K.* Photios.— Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Halbband 39. Stuttgart, 1941, Sp. 736.
43. *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959, S. 526.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ВОЛКОВ А. А.

ПИСЬМО И ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ

Письмо является системой знаков. Из знаков письма — букв, иероглифов — строятся письменные единицы более высоких уровней, оформленные специальными графическими средствами и, стало быть, являющиеся тоже знаками: предложения, абзацы, тексты. Изучением письма занимаются палеография, дипломатика, текстология и др. науки. Этот комплекс наук обозначается термином «грамматология» [1].

Филология изучает устные и письменные произведения слова как проявления человеческой мысли, т. е. исторически [2]. Семиотика изучает знаки и знаковые образования как результаты человеческой деятельности и как саму эту деятельность, т. е. также исторически [3]. В предмете семиотики выделяются семиотика языка, изучающая знаковые образования, которые организуют произведения слова,— формальную сторону истории словесности, и общая семиотика, изучающая все другие знаковые образования. Письмо и письменность — важнейший раздел семиотики языка как части филологии. В лингвосемиотике выделяется еще семиотика устной речи, иногда называемая паралингвистикой [4], и семиотика массовой коммуникации: информатика и теория массовой информации [5].

В лингвистических работах высказаны в основном три различных взгляда на соотношение письма и звучащей речи [1].

1. Письмо представляет собой неполное, неточное отражение звучащей речи и не имеет самостоятельного значения в лингвистическом исследовании. Факты письма известны лишь в той мере, в какой они свидетельствуют об устной речи. Письмо никак не влияет на устную речь, но само изменяется или должно совершенствоваться в соответствии с нею [7, 8].

2. Письменная и устная речь выступают как манифестации идеальной системы — языка. Поэтому как в той, так и в другой значимо лишь то, что их объединяет,— общие структурные свойства. Такие свойства параллельны в письменной и устной речи [9].

3. Письмо является вторым по важности средством общения после звукового языка. Оно связано с языком как план выражения с планом содержания. Вместе с тем структура конкретного письма не полностью совпадает со структурой конкретного языка, а только на уровне принципов организации. Графема так же относится к графам, как фонема к фонам, причем фонема представляет собой план содержания графемы [10].

Перечисленные подходы вытекают из общелингвистических принципов и характеризуются следующими особенностями: 1) соотношение письма и звучащей речи обсуждается на уровне фонетики и фонологии; 2) графема, независимо от того, трактуется она как буква или как сочетание букв, понимается как основная единица письма; 3) факты письма оцениваются не в их системном соотношении, но по отдельности, и исходя не из самого письма, а из устного языка [11, с. 16—17].

Эти представления, на материале которых и создаются варианты воззрений на письмо, вызывают сомнение в своей применимости к эмпирии письменности — многочисленным системам письма, разнообразно организованным и развивающимся каждая в специфических условиях. Очевидно, предметом теории письма может стать само письмо, изучаемое на

---

[1] Исчерпывающий обзор теорий соотношения письма и языка сделан Т. А. Амировой [6].

основе типологического и исторического сопоставления фактов, а не звуковой язык, каким бы ни было его значение для письма.

Рассматривая перспективы типологии письма, Т. А. Амирова указывает: «Типологии алфавитов и систем письменности предстоит обнаружить: (1) имеются ли какие-либо регулярные закономерности между строением (типологией) естественного языка и строением создаваемого для того или иного языка алфавита и системы письменности; (2) можно ли говорить применительно к виду, типу и форме используемого алфавита о большей или меньшей его прогрессивности, удобстве для развития письменного языка и сопряженного с ним естественного языка; (3) можно ли думать, что тот или иной тип алфавита способствует развитию языковой семиотики более, а другой — менее и затем на каком-то этапе начинает „сдерживать" развитие языковой семиотики.

Таким путем формируемые в графической лингвистике знания получают связь с теорией искусства, историей культуры, семиотикой и другими смежными областями и обретают в них новое осмысление» [6, с. 71].

Итак, в свете современных требований теории типология письма включает сопоставление системных характеристик письма, а не отдельных знаков в их алфавитных значениях, и определение причинных связей в ряду «письменная словесность — письмо — звуковой язык — устная словесность».

Развитая система письма включает три уровня организации — алфавит, графику, орфографию [12].

В процессе использования заимствованного или адаптированного алфавита для создания новых текстов письмо развивается: сначала складывается система алфавита, потом графика и уже впоследствии — орфография. Над этими взаимосвязанными ярусами письма, выступающими как общеобязательные нормативы письменной речи, надстроены частные разновидности книжного, документального, эпиграфического письма, либо частные региональные или ведомственные нормы оформления текстов — разбивка на главы, абзацы, обозначения страниц и т. д. Граница между письмом и письменностью пролегает там, где общие нормативы письма отделяются от частных. В современных печатных письменных языках верхней границей письма остается орфография.

Алфавит представляет собой ансамбль знаков, который складывается в систему в четырех аспектах: начертания, лингвистической значимости, порядка расположения и названий букв.

Начертательный аспект включает каллиграфическую традицию и фактуру письменной речи — совокупность способов исполнения письменного текста определенными орудиями на определенном материале. Из фактур письма на традицию начертаний особенно заметное влияние оказывают эпиграфическая, рукописная, печатная, массовая коммуникация. Начертания знаков и шрифты развиваются в пределах фактуры письменной речи, но зависят от нее лишь частично и сами могут изменять фактуру письма. Так, развитие каролингского минускула в готическое письмо изменило способы заточки пера, разлиновки листа, которые в свою очередь повлияли на становление каллиграфических норм готического письма. Печатная фактура делает шрифт самостоятельной категорией письменного выражения, создавая многообразие шрифтов и постоянство начертаний буквы, которое не изменяется в зависимости от позиции в слове. Тем самым комбинаторика букв определяется не каллиграфическим, а орфографическим нормативом, что существенно изменяет характер системных отношений в письме.

Совокупность единиц языка, именуемых буквами алфавита, образует поле алфавитной номинации. Поле алфавитной номинации, как правило, не совмещается с фонологической системой языка, а членит ее в зависимости от того, какие буквы — имена звуков имеются в алфавите.

Расположение и названия букв играют особую роль в организации алфавита. Способы расположения букв в основном следующие: традиционный, как в русском и подобных алфавитах, мнемонический, при котором имена букв составляют осмысленную фразу, фонологический, как в деванагари,

где расположение букв моделирует фонологические отношения. При заимствовании алфавита мнемонический и фонологический способы обычно превращаются в традиционный, который осмысливается в свою очередь, а названия букв развиваются в своеобразную лексическую микросистему, обладающую даже словообразовательной продуктивностью [13]. Но этот принцип многомерности алфавита вовсе не означает, что любой алфавит будет организован во всех перечисленных аспектах. Он может применяться самым различным образом: как совокупность знаков для чисел, как система обозначений мировых стихий: тогда он используется в магических целях. Подобные способы применения могут влиять на графику и орфографию и создавать внешние правила письменной речи, но непременными свойствами алфавита остаются именование, начертание и порядок расположения букв.

Как всякое имя, алфавитный знак отличен от других начертанием и назначением. Алфавитные знаки выделяют в континууме звуковой речи единства — звуки, слоги, слова. Совокупность выделенных алфавитом единств образует основу звуковой системы устной формы письменно-литературного языка. Типы алфавитов различаются в зависимости от способа (силлабические, звуковые) и систематичности именования звуков языка.

Алфавит поэтому представляет собою звено, связывающее два литературных языка. При этом заимствующий язык в своем фонетическом составе неизбежно толкуется в соотношении с языком-источником заимствования.

В письменно-литературном языке, для которого создан или заимствован алфавит, возникают отношения именованных звуковых единств к неименованным: избыточность, неполнота и недостаточность. Избыточность заключается в том, что один выделенный типовой звук или слог не различим относительно нескольких знаков. Таковы ѳ старославянского, древнерусского и дореволюционного русского алфавита, буквы *k* и *q* западноевропейских алфавитов. Неполнота заключается в отсутствии именования определенной части фонетической системы: в финикийском, арабском и других алфавитах не именованы гласные, во французском носовые гласные, в русском — согласные палатального ряда. Недостаточность заключается в отсутствии имен для отдельных звуков. Французский алфавит не именует звуки [ʃ], [ñ], [ɛ] и др.

Соотношения избыточности, неполноты и недостаточности образуют специфику конкретного алфавита. Латинский алфавит в применении к разным языкам образовал индивидуальную для каждого форму алфавитного именования, но эти формы регулярно соответствуют между собой, что имеет далеко идущие последствия в графике и орфографии.

Материал буквенных и слоговых алфавитов дает основание для выведения следующих универсалий.

I. Число букв алфавита не ниже двадцати и не выше восьмидесяти. Крайние пределы, очевидно, задаются соответственно финикийским (22) и абазинским (72) алфавитами.

II. В алфавитах со слоговой номинацией не существует букв для отдельных согласных звуков.

III. Если в алфавите со звуковой номинацией имеются буквы, именующие гласные, то имеются буквы, именующие согласные. Это значит, что не существует алфавитов, где именовались бы только гласные.

IV. Если в алфавите именуются тоны, то буквы, различающие тоны, либо параллельно именуют звук или слог, либо являются диакритиками (лаосский, тайский).

V. В алфавите каждый знак имеет только один номинант.

Следующие универсалии устанавливают связи алфавитного и текстового именования:

VI. Буква в тексте именует единицу звукового языка не более протяженную, чем в алфавите.

VII. Если алфавит неконгруэнтен (избыточен и/или недостаточен и/или неполон), в тексте представлена переменная номинация.

VIII. Если алфавит недостаточен, в тексте представлена несобственная относительная номинация. Во французском алфавите, как уже говорилось, не именован звук [ʃ] — в графике представлено сочетание *ch*, не именован звук [ɛ] — в графике представлено сочетание *ai*.

IX. Если алфавит неполон, в графике представлена несобственная позиционная номинация. Русская буква ь представляет на конце слова несобственную позиционную номинацию, что связано с отсутствием специальных букв для палатального ряда согласных. В тибетском, тайском, среднеяванском письме представлены более сложные формы этого соотношения.

X. Если в алфавите со слоговой номинацией буквы различают только согласные звуки, диакритики образуют парадигму (деванагари, яванское, лаосское, тайское, тибетское и другие неосиллабические системы). Диакритические знаки неосиллабических систем письма являются буквами, в то время как диакритические знаки, развитые в адаптированных алфавитах типа чешского, не образуют системы именования, соотнесены с отдельной буквой и поэтому несамостоятельны и включены в видоизмененную номинацию.

Графика представляет собой систему именования звуков и звуковых цепей в тексте с помощью специальных приемов. Графические приемы развиваются в основном как компенсация недостаточности и неполноты алфавитной номинации. В графике буквы-имена меняют значения.

На уровне графики обнаруживаются три разряда знаков: с постоянной номинацией (русские *л*, *м*, *н*, *к*, *и*, *ц*, французские *b*, *j*, *k*, *v*, *w*); с переменной номинацией (русские *е*, *ю*, *я*, английские, французские, итальянские *c*, *g*); с видоизмененной номинацией, т. е. развившиеся из лигатур и введенные в алфавит (русские *щ*, *ц*, французская *ç*, чешские *č*, *ř*).

В переменной номинации выделяются следующие разновидности.

1) Собственная номинация: во французском слове *gâteau* буква *a*, изменяя номинацию предшествующей буквы *g*, читается сама.

2) Несобственная номинация: французские буквы *a* и *i* образуют сочетание *ai*, именующее звук [ɛ].

3) Относительная номинация: французское сочетание *ai* читается [ɛ] независимо от позиции в слове: *aimer*, *baiser*, *j'aimai*.

4) Позиционная номинация: французские и английские конечные *-e* не читаются сами, но определяют чтение одной или нескольких предшествующих букв. Во французском и английском слове *face* буква *-e* дает основание читать букву *c* как [s], в английском слове буква *e* позволяет читать *a* как [ei].

Развитие графических процессов может распространяться за пределы связанных с ними и обусловливающих их свойств алфавита: французская несобственная относительная номинация компенсирует неполноту именования носовых гласных сочетаниями *an*, *am*, *en*, *em* и т. д. Несобственная позиционная номинация также не всегда компенсирует неполноту алфавита. Но в тех системах письма, где алфавит неполон, развивается позиционный тип номинации, а в тех, где он недостаточен,— относительный.

Таким образом, избыточный, неполный и недостаточный алфавит дает в графике следующие результаты: развитие дублирования номинации — θ и *ф* в русском дореволюционном алфавите, французские, английские *q*, *k* и т. д.; наряду с дублированием развертывается относительная собственная (франц. *ca*, *ce*) и несобственная (франц. *ch*, *gh*) номинация. Неполнота именования в алфавите приводит к унификации текстового именования (русский ь; румынская *i*; французские *m* и *n* после букв, именующих гласные). Такие унифицированные буквосочетания образуют синтагматические классы, которые в процессе дальнейшего развития занимают стабильное положение в графическом слове, объединяясь позицией.

Орфография представляет собой центр системы письма. Единица орфографического уровня — графическое слово. Оно характеризуется такими свойствами, как (1) единство написания и устойчивость границ; (2) нормативность значения, определяемая словарем; (3) цельнооформленность.

Графическое слово является формой в том смысле, что регулярно объединено с другими графическими словами общими элементами — графическими морфемами. В составе графического слова буква фактически утрачивает собственное звуковое значение, которое определяется ее соседством и позицией, и приобретает функциональное значение как элемент формообразующий. Мера утраты буквой звукового значения определяется развитостью орфографии.

Графические слова по мере развития орфографии подразделяются на классы, в числе которых выделяются два важнейших: орфографически первообразные слова, сохраняющие состав алфавитной и текстовой номинации [2], и орфографически производные слова, в составе которых буква утрачивает первоначальное фонетическое значение и приобретает функциональное. К первому разряду относятся русские *дом*, *стол*, *домик*, *столик*. Ко второму разряду — русские *объединение*, *подсказчик* и т. д.

Сами по себе орфографические процессы также обнаруживают два уровня: 1) отношения связи в буквосочетаниях и 2) членимость графического слова, которая проявляется во всех орфографически развитых системах письма независимо от того, членится ли морфологически слово в языке.

Отношения связи в буквосочетаниях или форма буквосочетания выявляется на основе отношений номинации и дистрибуции букв в тексте. В буквосочетании выделяются два типа: «номинант — буква или группа букв, претерпевающих изменение номинации», и «оператор — буква, определяющая изменение номинации или функции номинанта». Оператором может быть и позиция в графическом слове или буква в позиции. Так, в русском слове *яблоко* оператором является начальная позиция буквы *я*, а во французском слове *grand* — конечная позиция *d*, в форме *grande* буква — *e* в позиции конца слова (позиционный оператор).

По типовой форме буквосочетаний выделяются буквенные синтагмы. Встречаются следующие их виды.

Свободная буквенная синтагма — основная и самая простая форма. Образуется буквами, именующими согласные и гласные звуки при звуковом письме или основу слога и огласовку — при неосиллабическом письме. Свободная синтагма проявляет себя с формальной стороны образованием крупных комбинаторных (так называемых полярных) классов букв. Свободная буквенная синтагма является моделью простого открытого слога. Со стороны номинации свободная синтагма проявляет себя в том, что в составе парадигм, ее составляющих (т. е. букв согласной и гласной номинации), представлены все алфавитные номинации.

Свободная синтагма представляет собою как бы образец, по которому развертывается архитектоника системы письма: каждая из парадигм, образующих свободную синтагму, выделяет дробные классы — связанные синтагмы.

По типам связанные синтагмы бывают: а) односторонними/двусторонними; б) регрессивными (против хода чтения)/прогрессивными (по ходу чтения); в) контактными/дистантными; г) обрамляющими (два оператора слева и справа определяют чтение номинанта, как в среднеяванском письме); д) простые (один оператор меняет чтение одного номинанта: ср. русск. *мать*) и сложные, когда либо один оператор включен одновременно в две связи (как ь в русском слове *семья* или *-e* в английском *face*), либо оператор изменяет номинацию буквосочетания (как во французском слове *grain*, где *n* определяет носовое чтение *ai* → [ɛ̃].

Буквенные синтагмы образуют парадигматические классы, которые могут быть позиционными и относительными.

---

[2] Удобство и легкость орфографии, очевидно, зависят в первую очередь от того, насколько состав графически первообразных слов совпадает с составом ключевых слов языка и как графически первообразные слова распределяются по частоте.

Относительные парадигмы (типа французских *a*, *e*, *i*, *o*, *u*, *y*, с одной стороны, и *b*, *c*, *d*, *f*, *g*, *h*, *j*, *k* . . .— с другой) складывают отношения номинации и организуют графическое слово как совокупность связей в буквосочетаниях.

Позиционные парадигмы развиваются в позициях, значимых морфологически и этимологически (конец графического слова, конец и начало графического корня или основы). Так, в тибетском графическом слове основу представляет так называемая корневая буква. К корневой букве приписывается слева префиксальная буква, сверху и снизу — огласовки и надписные и подписные буквы, а справа — приписные и вторичные, или «суффиксы» [14].

Организация графического слова в буквенном и неосиллабическом письме позволяет вывести следующие универсалии:

XI. Число реально встречающихся в тексте сочетаний букв меньше числа возможных.

XII. Число сочетаний букв, включающих синтагматические отношения, меньше общего числа сочетаний в тексте.

XIII. Если представлена связанная синтагма, то представлена и свободная синтагма.

XIV. Если представлена прогрессивная синтагма, то представлена и регрессивная синтагма.

XV. Если представлена неконтактная синтагма, то представлена и контактная синтагма.

XVI. Если представлена двусторонняя синтагма, то представлена и односторонняя синтагма.

XVII. Если представлена рамочная синтагма, то представлены прогрессивная и регрессивная синтагмы (ср. в тибетском, среднеяванском языках).

XVIII. Если представлена сложная односторонняя синтагма, то представлена и простая односторонняя синтагма (ср. франц. *in* → *ain*).

XIX. Если представлена позиционная синтагма, то представлена и относительная синтагма (как исключение может рассматриваться тибетское письмо, но и в нем свободная синтагма — корневые буквы с огласовками — остается, видимо, относительной).

XX. Если представлена сложная двусторонняя синтагма, то представлена и простая двусторонняя синтагма (франц. *au* → *eau*).

XXI. Если представлена позиционная парадигма начала слова, то представлена и позиционная парадигма конца слова.

XXII. Если представлена позиционная парадигма конца графической морфемы или основы, то представлена позиционная парадигма конца слова.

XXIII. Если в графическом слове представлена позиционная парадигма начала графической морфемы, то представлена и позиционная парадигма конца графической морфемы или основы (ср. в русском, французском, тибетском, тайском, немецком и др. языках).

Приведенные универсалии указывают на некоторые закономерности развития системы письма.

Форма графического слова складывается в процессе развития системы письма независимо от формы слова в звуковом языке, примером чего служат тибетское, тайское, английское, французское письмо. В отдельно взятой системе письма расхождения членения графического и звукового слова могут казаться случайностью или следствием «несовершенства» орфографии, но в типологическом контексте эта случайность принимает вид закономерности.

Наличие сложных отношений в системе письма определяется соответствующими им по типу простыми отношениями. В развертывании буквенных парадигм проявляет себя историческое развитие графического слова от регрессивных отношений, первоначально захватывающих его конец, к началу. Когда слово внутренне расчленяется и регрессивные отношения в основном исчерпываются, наступает очередь развития прогрессивных отношений; когда же контактные синтагмы исчерпывают свои возможно-

сти, развиваются дистантные. В целом наблюдающаяся в системах письма тенденция к номинативному и синтагматическому заполнению сочетаний букв приводит к уменьшению удельного веса свободной синтагмы и, следовательно, к уменьшению числа графически простых слов: в английском и тибетском письме их, видимо, меньше, чем в русском. Тенденции к сокращению удельного веса свободной синтагмы, однако, противостоит включение в письменный язык иностранных слов на основе транскрипции или транслитерации, но сочетаемость букв в таких словах может нарушать исконные правила буквенной комбинаторики (русск. *Йошкар-Ола*). В результате образуются новые буквосочетания, новая номинация и даже новая синтагматика, что и приводит к этимологическому принципу письма, проявляющемуся в дифференциации словаря по языковым стилям.

Становление структуры графического слова представляет собою, следовательно, двунаправленный процесс. Отношения, первоначально свойственные графике, развертываются от именования звуков к выделению специфических позиций, членящих графическое слово морфологически (XX). При этом, как видно из универсалий XXI—XXIII, приемы, формирующиеся в графике, повторяются в орфографии, но на более высоком уровне целых буквенных комплексов — графических морфем или основ слов. Поэтому универсалии XXI—XXIII параллельны универсалиям XIV—XVIII.

В противоположном направлении — слева направо — развивается этимологическая и семантическая дифференциация, затрагивающая в основном начальные позиции графического слова. Это почти всеобщее правило, независимое от системы языка, которое можно иллюстрировать примерами французской и дореволюционной русской орфографии. В словах типа *phrénologie*, *phrénologue*, *phrénologique*, *rhétorique*, *rhétoricien*, *théologie* и т. д. позиционную парадигму конца основы образуют буквы: *q*, *c*, *g*, парадигму начала графического окончания: *u*, *e*, *i*. Функция синтагм *gi*, *ge*, *qu*, *ci* здесь — сохранение графического облика основы. Позиция начала графического слова занята относительной односторонней синтагмой *rh*, *th*, *ph* и т. д., указывающей на греческую этимологию. В русской дореволюционной орфографии этимологический принцип также распространялся на начало слова: *міръ*, *мѣсяцъ*, *хлѣвъ*, *плѣшь*, а графическое окончание оставалось нагруженным морфологически (ъ, ь).

В орфографии, не обремененной насилием нормализатора, который стремится любыми средствами реализовать лингвистическую доктрину, фонетический, морфологический и историко-этимологический аспекты взаимосвязаны и не противоречат друг другу [15].

Система письма — буквенная или слоговая — складывается как результат действия трех факторов: письменной традиции, которая характерна для ареала письма в целом, специфики языковой системы, состояния письменной словесности.

1. Влияние письменной традиции, или ареальная соотнесенность письменности [16], проявляет себя в первую очередь в составе алфавита и в способах обозначения буквами звуков или слогов устного языка — в концепции алфавита.

2. Специфика системы языка, заключающаяся главным образом в соотношении таких единиц, как слог, морфема и слово [17], влияет на грамматическое оформление графических слов.

3. Состав письменности или письменная словесность определяет стилистическое членение вокабуляра, проявляющееся в создании сочетаний букв на основе этимологизирования слов и соотносит письмо со словарной традицией. Кроме того, вся семиотика письма в виде пунктуации, членения текста, системы шрифтов, знаковых систем, различающих графические слова, также производна от состояния письменности.

Таким образом, функциональное соотношение фонетического, морфологического и историко-этимологического принципов письма принимает следующий вид.

	Сближение графических слов, выделение формы слова на письме	Различение графических слов, их индивидуализация и соотнесение со стилем	Композиция графического слова и именование единиц звучащей речи
Фонетический	—	+	+
Морфологический	+	—	+
Этимологический	+	+	—

ЛИТЕРАТУРА

1. *Gelb I. J.* A study of writing (The foundation of grammatology). London, 1952.
2. *Конрад Н. И.* Запад и Восток. М., 1962, с. 7.
3. *Волков А. Г., Хабаров И. А.* Семиотика и общество.— В кн.: Семиотика средств массовой коммуникации. Материалы научного семинара. Ч. I. М., 1973, с. 29—30.
4. *Trager G. L.* Paralanguage: A first approximation.— In: Studies in linguistics, 1958, № 13.
5. *Рождественский Ю. В.* Об одном из приемов семиотического анализа текстов массовой информации.— В кн.: Предмет семиотики. М., 1975, с. 121.
6. *Амирова Т. А.* К истории и теории графемики. М., 1977.
7. *Реформатский А. А.* Лингвистика и полиграфия.— В кн.: Письменность и революция. М.— Л., 1934, с. 44, 46—48.
8. *Панов М. В.* Русская фонетика. М., 1964, с. 279—280.
9. *Уфимцева А. А.* Знаковая природа языка.— В кн.: Общее языкознание. Т. I. М. 1970, с. 111—112.
10. *Маслов Ю. С.* Введение в языкознание. М., 1975, с. 306.
11. *Jakobson R., Halle M.* Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.
12. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Об отношении русского письма к русскому языку.— В кн.: *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963, с. 221.
13. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке. М., 1980, с. 57—60.
14. *Парфионович Ю. М.* Тибетский письменный язык. М., 1980, с. 21—35.
15. *Грот Я. К.* Русское правописание. СПб., 1885, с. 20—21.
16. *Волков А. А.* Русский ареал письменности в системе массовых коммуникаций.— В кн.: Предмет семиотики, с. 356—373.
17. *Рождественский Ю. В.* Типология слова. М., 1969, с. 259—279.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ДАШКЕВИЧ Я. Р.

АРМЯНО-КЫПЧАКСКИЙ ЯЗЫК: ЭТАПЫ ИСТОРИИ

Мертвый уже около трех столетий армяно-кыпчакский язык привлекает внимание тюркологов в нескольких аспектах. Большие надежды подает исконно тюркская лексика языка, которая может стать настоящей сокровищницей лексикологов и лексикографов — с этой областью исследований связано составление словаря армяно-кыпчакского языка, а также многочисленные публикации текстов, снабженные глоссариями. На материале языка раскрываются малоисследованные стороны исторической фонетики и морфологии западнокыпчакских языков. Фразеология и синтаксис подвергаются изучению с точки зрения интерференции и конвергенции языка в условиях славянского окружения.

В социолингвистическом плане армяно-кыпчакский язык изучался недостаточно. Со времени предпринятых лингвистами усилий по первоначальному обобщению соответствующих данных прошло приблизительно два десятилетия, на протяжении которых знания об армяно-кыпчакском языке значительно расширились. Несомненно, на пути подобных исследований громоздятся различные препятствия — необходимо учитывать в едином комплексе как лингвистические, так и экстралингвистические факторы, которые все еще недостаточно раскрыты. Только таким образом можно объяснить возникновение некоторых построений, отрицающих существование армяно-кыпчакского языка, пытающихся закрепить за ним, в лучшем случае, только место графического варианта одного из западнокыпчакских языков (именно «одного» — без точного указания языка, о котором идет речь, или с привязкой к почти неизвестному половецкому языку).

Для подобного отрицательного отношения и, одновременно, для недооценки предыдущих исследований языка, будто бы известного только в стадии увязания и глубокого (в плане лексики, морфологии, фразеологии, синтаксиса) распада, в действительности нет оснований. Даже наоборот, именно в случае с армяно-кыпчакским языком лингвисты заполучили в свою исследовательскую лабораторию социолингвистический материал исключительной ценности: не так часто приходится изучать язык, его функции, на всем протяжении его существования — от возникновения до исчезновения. И хотя объект исследования в данном случае довольно нетипичен — язык одного этноса, воспринятый полностью другим, далеко не родственным этносом,— но, может быть, именно эта нетипичность ситуации образует благодатное поле для достижения не только конкретных результатов, связанных с данным языком, но и выводов общеязыковедческого характера.

Что такое армяно-кыпчакский язык? Сегодня мы в состоянии ответить на этот вопрос достаточно точно: это письменный язык из группы западнокыпчакских языков, бывший в XVI—XVII вв. в употреблении у довольно многочисленной этнографической группы армян-кыпчакофонов, проживавших на Украине отдельными колониями,— язык, на котором была создана разнообразная в жанровом отношении литература, ставшая заметным культурным достижением носителей упомянутого языка.

Именно это большое письменное наследие привлекло внимание многих исследователей, натолкнуло их на разработку отдельных частных и более общих языковедческих проблем. Армяно-кыпчаковедение существует как одно из перспективных и динамичных направлений современной исторической тюркологии. Эта перспективность и динамичность развития ставит

перед исследователями вполне обоснованный вопрос: как возник и почему исчез язык, на котором было создано столь большое число разнообразных письменных памятников.

В одной из предыдущих наших статей, посвященной армяно-кыпчакскому языку [50], мы попытались критически рассмотреть некоторые существующие гипотезы и при этом отталкивались от следующих научно проверяемых фактов: 1) носителями армяно-кыпчакского языка являлись армяне, усвоившие кыпчакский (по групповому названию) язык в зоне его преобладания и господства; 2) этим усвоенным армянами языком не являлся половецкий — язык кочевников причерноморских степей, почти полностью уничтоженных монголами в первой половине XIII в.; 3) этим воспринятым армянами языком был язык другого кыпчакоязычного (снова по групповому названию) этноса, пришедшего в Причерноморье после половцев и сыгравшего важнейшую роль в создании культуры золотоордынского государства и его преемников, в частности, Крымского ханства; 4) древнейшие письменные памятники армяно-кыпчакского языка были созданы вне зоны господства кыпчакского языка, на Украине, и отражают ту ступень развития кыпчакского (по групповому названию) языка, которой к этому времени или несколько ранее достиг крымскотатарский язык.

В пределах настоящего сообщения делается попытка углубить и расширить выдвинутые ранее положения с тем, чтобы остановиться на главных этапах, которые в своем развитии прошел армяно-кыпчакский язык в течение своей истории на протяжении в несколько веков. Этапы эти (как мы постараемся показать ниже) были следующие: 1) усвоение армянами кыпчакского языка как разговорного и дописьменный период языка; 2) возникновение армяно-кыпчакского письменного языка и период расцвета армяно-кыпчакской письменности; 3) упадок и полная гибель армяно-кыпчакского языка. Главное внимание при изложении соответствующего материала постараемся уделить факторам, как лингвистическим, так и экстралингвистическим, сформировавшим именно такую, а не другую линию развития и упадка языка.

Дописьменный период (конец XIII—XV вв.)

Движение монголов на Запад повлекло за собой возникновение нового большого переселения народов — со всеми вытекающими отсюда последствиями также в лингвистической ситуации Евразии. Место половцев в Причерноморье, как мы уже подчеркивали выше, заняли другие кочевники — кыпчакофоны, частично переходившие к городскому образу жизни. Удар монголов по Закавказью выхлестнул оттуда мощную волну армянской миграции, устремившейся также на Север, в Восточную Европу, сперва для подкрепления уже существовавших здесь ранее торговых факторий, потом для создания новых колоний. Не подлежит сомнению, что разговорным и письменным языком и старых, и новых переселенцев был армянский. В киевской армянской среде в домонгольский период возник перевод «Сказания о Борисе и Глебе» именно на армянский язык (место создания перевода доказывается сохранением южнорусских фонетических черт в армянском тексте [2, с. 346—375]). Языковая ситуация в армянских колониях Южной Руси вряд ли существенно переменилась в первые десятилетия после монгольского нашествия — на остальных же просторах Восточной Европы, включенных непосредственно в состав Золотой орды, условия сложились иначе.

Известный историк Георгий Пахимер (1242—1310), один из блестящих умов Византии XIII в., автор хроники, охватывающей 1255—1308 гг., описывая период после набегов Ногая на Крым в конце XIII в., отметил, что «с течением времени [народы], обитавшие внутри этих [стран], я понимаю — аланы, зикхи (т. е. западные черкесы.— *Д. Я.*), готы, русы и различные соседние с ними народы, учатся их [= татар] обычаям и, вместе с обычаями, усваивают язык, и одежду, и делаются ихними союзниками в войне» [26, с. 345]. Хотя Георгий не упоминает армян, но

ясно, что в русло этого процесса конца XIII — начала XIV вв. были втянуты также крымские и другие армяне, проживавшие на подвластных монголо-татарам территориях. Этническая мозаичность Крыма и сопредельных земель (особенно городов) явилась фактором, способствовавшим лингвистической ассимиляции в сторону общего контактного языка, которым оказался татарский. Примерно сто лет спустя французский миссионер Иоанн Галлифонтский (ум. после 1412) писал в «Книге познания земли» (1404 г.) о Северном Причерноморье, что «в этой стране много христиан, а именно латинян или католиков, греков, много армян, зикхов, готов, татов, валахов, русов, черкесов, леков, яссов, аланов, аваров, кумыков, и почти все они говорят на татарском языке» [32, с. 108]. В течение одного столетия процесс языковой ассимиляции местных армян продвинулся далеко, чему способствовал характер занятий армян — купцов и ремесленников,— вынужденных при повседневном контакте с господствующим татарским населением пользоваться татарским, игравшим также роль международного языка Евразии.

Мнение об усвоении армянами татарского языка в золотоордынскую эпоху было высказано давно, однако не на основании не известных тогда высказываний Пахимера и Галлифонтского, а путем логических рассуждений и с привлечением, в качестве косвенного источника, предания о массовом выходе армян из Нового Сарая на Волге (где они провели 60 лет) и переходе их в Кафу в 1330 г. Легенда эта была записана в 1690 г. Давидом Кримеци в колофоне армянской четьи-минеи (рукопись [14]; франц перевод и комментарий [6, с. 498—499, 502—503, 514—519, 525—526]; анализ [7, с. 195, 198—199]) — некоторые авторы-нелингвисты расценивали ее как свидетельство восприятия армянами татарского языка исключительно в Поволжье [42, с. 552; 70, с. 35; 69, с. 33], хотя, строго говоря, в колофоне языковые вопросы не освещаются. По-видимому, более правильно будет считать, что армяне интенсивно усваивали татарский язык в XIV—XV вв. повсюду, где находились армянские колонии на золотоордынской территории, а также в тех случаях, когда находились поблизости этой территории (например, в пределах генуэзских и венецианских поселений Причерноморья) и где образовалась обширная зона контактов с татарским населением хинтерланда. Другими словами, постепенная языковая ассимиляция в сторону кыпчакизации происходила как в Крыму (в современном языкознании это предположение высказал Т. Ковальский [64, с. LXVI—LXXI; 65, с. 29], однако так считали еще армянские авторы XVIII в., например, С. Гювер-Агонц [62, с. 95]), так в Поволжье и Поднестровье. В отличие от некоторых авторов, пытающихся найти в Крыму определенное место, где жили преимущественно (или исключительно) армяне-кыпчакофоны, переселившиеся затем на Украину [75, с. 185—205], мы считаем, что процесс языковой кыпчакизации охватил дисперсно все армянское население Крыма, Поволжья и Поднестровья, а поиски конкретного центра проживания армян-кыпчакофонов в Крыму не могут увенчаться успехом. Гипотеза Ф. фон Крёлиц-Грейфенхорста, в соответствии с которой армяне усвоили татарский язык только в XVI в. в результате торговых контактов [33, с. 308], отпадает.

Как это ни странно, но двухсотлетний билингвизм (или даже монолингвизм с использованием в качестве разговорного исключительно кыпчакского языка) армян в тюркоязычном окружении не привел к образованию армяно-кыпчакской письменности. Поиски текстов на кыпчакском языке с использованием армянской графики, созданных в татароязычном окружении в XIII—XV вв. и даже позже, до сих пор не увенчались успехом. Правда, в литературу изредка попадали сведения о существующих якобы армяно-кыпчакских рукописях, написанных в Крыму. В свое время Я. Ташян высказал предположение, что некоторые из армяно-татарских (по его терминологии) рукописей из собрания венских мхитаристов написаны в Крыму [78, № 143, 311 и др.]. Ф. Маклер упоминал, что существовал армяно-татарский кодекс, написанный в Крыму и привезенный в Париж в 1730 г. [66, с. XIV]. Он с глубоким убеждением писал об ис-

пользовании армянами Кафы и остального Крыма многих рукописей и даже печатных изданий на татарском языке армянскими буквами [67, с. 16]. Но сообщения Ташяна и Маклера построены в значительной мере на недоразумениях; некоторые рукописи, «подозреваемые» Ташяном, что они написаны в Крыму, в действительности оказались созданными на Украине. Маклер, который не был тюркологом, принял за татароязычные рукописи и печатные издания в действительности составленные на турецком (османском) языке в Турции армянами-османофонами. Среди многочисленных (более 200) армянских рукописей, написанных в Крыму в XIV—XVII вв. и хранимых в ереванском Матенадаране, армяно-кыпчакские тексты пока не обнаружены (хотя, конечно, имеются отдельные крымскотатарские вкрапления, например, в колофонах рукописей, так как известны и татарские элементы в армянской эпиграфике Крыма). Неожиданные открытия в этой области, конечно, возможны (тем более, что не все предположения Ташяна, Маклера и других составителей каталогов и обзоров армянских рукописей окончательно проверены) [1], но, тем не менее, на сегодня не подлежит сомнению факт, что сведения о самых ранних армяно-кыпчакских текстах касаются памятников, созданных на территории Украины в первой половине XVI в.— т. е. почти три столетия спустя после прихода монголо-татар в Причерноморье и начала языковой ассимиляции нетатарского населения.

Первоначальный этап состоял в усвоении армянами в качестве разговорного того языка, который господствовал в Золотой орде, а в дальнейшем — в Крымском ханстве, т. е. татарского (крымскотатарского). Как обычно в подобных случаях, язык армян-кыпчакофонов вряд ли был совсем идентичен языку крымских татар. Разница должна была сказаться особенно в области лексики, где, можно предполагать, сохранилось определенное количество армянских слов, отражающих специфику быта, занятий, религии. Если на первоначальный говор тюркоязычных армян можно смотреть как на своеобразный «этнографический» диалект татарского языка (т. е. диалект, функционировавший в пределах этнически чуждой татарам армянской общности), то в дальнейшем, при преобразовании бесписьменного говора в язык значительной разножанровой литературы, этот тюркский по своему строю и составу язык обогатился новыми чертами, дифференцировавшими его от крымскотатарского. Тогда можно уже говорить о рождении отдельного полноправного западнокыпчакского языка, известного сейчас под довольно неуклюжим названием армяно-кыпчакского (на условность и временность этого названия обратил в свое время внимание Э. Шюц [76, с. 146—147]). Но это случилось уже на следующем этапе развития — в условиях отсутствия тюркского окружения и замены его другим, славянским.

Объективность требует упомянуть о том, что в недавнее время были созданы гипотезы, дающие совершенно другое объяснение возникновения армяно-кыпчакского языка, точнее — отрицающие вообще его возникновение в исторически обозримое время. Известный тюрколог Дж. Клосон выдвинул идею, что язык, называемый ныне армяно-кыпчакским, это исконный язык кыпчаков (не определяемых точнее по своему этническому характеру), принявших (снова в не установленное точнее время) армяно-григорианскую религию и только зафиксировавших свой язык при помощи армянского алфавита (примерно таким самым образом, как это было сделано также при помощи арабской графики). Статья Клосона [57] вызывает двойственное отношение. Наряду с очень квалифицированными наблюдениями о многослойной структуре лексики армяно-кыпчакского языка, в ней имеются места, вызывающие недоумение. В своих рассуждениях Клосон применяет самый шаткий метод в науке — метод аналогий. Вот весь ход его предположений.

---

[1] Особый интерес, с этой точки зрения, вызывает упоминание о Молитвеннике на татарском языке армянскими буквами, написанном в XVIII—XIX вв. в не вполне установленном месте [71, с. 932—933, № 1300]. Рукопись еще не подвергалась лингвистической и, например, филигранологической экспертизе с целью более точного определения языка, места и времени ее создания.

1. Армяно-кыпчакский язык очень близок языку Codex Cumanicus'a. С точки зрения базисной лексики — это тот же язык, которым говорят караимы. Если так называемые армяне употребляли такой же язык, то они, по аналогии с носителями языка Codex Cumanicus'a и с караимами, должны иметь аналогичный расовый состав, так как караимы главным образом тюрки, т. е., по-видимому, кыпчаки с хазарским субстратом.

2. В смешанных языках — когда носители одного языка попадают под господствующее влияние носителей другого языка — базисной остается лексика носителей первоначального языка, а периферийная лексика заимствуется из языка господствующих носителей. Например, по Клосону, у таджиков базисная лексика — иранская, а периферийная — тюркская (узбекская), но таджики, конечно, иранцы. В армяно-кыпчакском языке базисная лексика кыпчакская, а армянская — только одна из периферийных; значит, по аналогии, носители армяно-кыпчакского языка предположительно кыпчаки.

3. Имена членов так называемых армянских общин — армянские или, вообще, арменизированные христианские, но фамилии — созданные по тюркскому образцу (патронимикальные типа *Григор оглу*). Поэтому можно предполагать, что носители армяно-кыпчакского языка исключительно или в основном кыпчаки.

4. Носителей армяно-кыпчакского языка считали армянами, а не кыпчаками, по аналогии с тем, как римских католиков вообще часто считали римлянами (итальянцами), греко-православных — греками, хотя не все католики — итальянцы, а не все православные — греки. Так как армяне — монофизиты, всех монофизитов считали армянами, хотя и не все они армяне.

Утверждения Клосона, несмотря на отсутствие фактографического (как лингвистического, так и экстралингвистического) материала, нашли отдельных последователей — поэтому придется уделить некоторое внимание данному дискуссионному социолингвистическому вопросу. При более внимательном рассмотрении аргументы Клосона оказываются необоснованными.

1. Аналогия по линии базисной лексики ничего доказать не способна, так как, например, ирландцы — англофоны (а они составляют большинство ирландской нации) говорят на таком же английском языке, как англичане, но расовый состав англичан и ирландцев различен. Армяне или греки-туркофоны Османской империи, создавшие в XVI—XX вв. значительную литературу на турецком языке армянской и греческой графикой, не являлись ведь арменизированными или эллинизированными в языковом отношении турками.

2. Армяно-кыпчакский язык — это не смешанный язык, а полностью усвоенный тюркский язык, воспринятый, конечно, вместе с базисной лексикой. Язык ирландцев-англофонов — это не смешанный язык, а настоящий английский язык с минимальной кельтской (ирландской) переферийной лексикой.

3. Антропонимия, как известно, не в состоянии доказать этнос ее носителей. Для Клосона совершенно неизвестными остались принципы образования антропонимов армян Украины с их многократной дублетностью в зависимости от разнообразных языковых полей (армянского, армяно-кыпчакского, украинского, польского, латинского). Значительная часть армян официально — согласно документам, составленным на польском, латинском, армяно-кыпчакском языках,— носила имена и фамилии, созданные по украинскому образцу. Если следовать за Клосоном, то это были арменизированные (или кыпчакизированные) украинцы...

4. Религиозный аргумент поражает наивностью. Ведь португальцев, французов потому, что они римские католики, никто не считал итальянцами. Подобным образом, монофизитов-яковитов (западных сирийцев), коптов, нубийцев, эфиопов даже в средневековье, когда представления европейцев об этих народах были довольно смутными, никто не считал армянами.

А. Н. Гаркавец, выступая как последователь Клосона, утверждает,

что ранее характерно было «бытование в смежных с языкознанием областях науки ложных представлений о происхождении армяно-кыпчаков и их языка» [44, с. 6]. В соответствии с новыми представлениями этого автора, изложенными в многочисленных публикациях, никаких армян и никакого первоначального армянского языка, употребляемого ими, не было, а просто в домонгольское, по-видимому, время половцы-кыпчаки Крыма распределились на четыре группы — одна приняла греко-православие и начала именовать себя греками, вторая приняла армяно-григорианство и назвала себя армянами, третья (вместе с остатками хазаров) приняла караимский иудаизм и превратилась в караимов, а представители четвертой группы остались язычниками с тем, чтобы в дальнейшем принять ислам [43, с. 19]. «Кыпчакский язык, таким образом, был родным для абсолютного большинства общины» (имеется в виду армянская община в Каменце-Подольском.— *Д. Я.*) [44, с. 8], потому что «генетически — как в этническом, так и в языковом аспектах, эта народность близка к половцам, крымским татарам, караимам, крымским урумам» [46, с. 210]. Гаркавец утверждает также, что армянописьменные памятники XVI—XVII вв. составлены «почти исключительно в Каменце-Подольском и Львове кыпчаками, именовавшими себя изредка *хыпчах*, но главным образом *ермені* „армяне" в соответствии с исповедуемой религией — армяно-григорианским христианством» [45, с. 6].

Мы уже имели возможность высказаться по поводу предполагаемых, но не подтверждаемых никакими (будь то лингвистическими или же экстралингвистическими) источниками прямых генетических связей армяно-кыпчакского языка с ближе неизвестным половецким [50, с. 86—87] и не будем здесь повторять эти выводы. Можно только отметить, что Гаркавец напрасно недооценил этническое самосознание половцев (будто бы переименовавших себя в армян), которое стало причиной неоднократных волнений и столкновений в одном из мест их переселения — в Венгрии XIII—XIV вв., где половцы вплоть до XVIII в. сохранили реликты своего языка, а до сих пор еще и ощущение своего особого (кунского, т. е. куманского, половецкого) происхождения. Механистическая теория внезапного «богоискательства» половцев-кыпчаков, вдруг расколовшихся по религиозному признаку, фантастична и беспочвенна. Нет малейшего следа армянского прозелитизма среди половцев или ранних татар — да и о каком прозелитизме могла быть речь, если в Причерноморье вели ожесточенную борьбу за сферы влияния такие церковные гиганты, как византийское православие, римский католицизм, а в дальнейшем также ислам. Армяне Украины никогда не называли себя «хыпчах» (здесь глубокая ошибка Гаркавца, не сославшегося, впрочем, на источник своих сведений — такой источник просто не существует). Единственный этноним, которым пользовались как сами армяне, так и окружающие их народы, это название «армяне», что, конечно, являлось отражением этнического самосознания армян, а не попыткой камуфлировать свое неармянское происхождение. Языкознание знает много случаев усвоения одним этносом языка другого этноса с сохранением своего этнического сознания. Только на Украине это греки-татарофоны с греческой графикой своей письменности; евреи-татарофоны, иначе крымчаки, употреблявшие древнееврейскую графику; караимы-татарофоны, потерявшие в Крыму свой караимский (сейчас западнокараимский) язык и усвоившие крымскотатарский с древнееврейской графикой; грузины-татарофоны и др. Подобная смена языка, конечно, накладывала отпечаток на усваиваемый язык, но не меняла исконного этноса носителей новоусвоенного языка. Языковая кыпчакизация армян, наконец, подтверждается упомянутыми выше показаниями источников XIV—XV вв., а также свидетельством многочисленных современников XVI—XVII вв. [50, с. 80—85]. Одного только, хотя и очень важного признака, каким является язык, чересчур мало для определения в ретроспективном плане этноса носителей языка, даже если для них придумать столь искусственное название (производное от недавно созданного названия языка), как «армяно-кыпчаки»... Как известно, в конце XVII — начале XVIII вв. место армяно-кыпчакской письменности

на некоторое время заняла армяно-польская письменность (польские тексты армянской графикой). Если следовать логике создателя гипотезы об «армяно-кыпчаках» — это были всего лишь только поляки, принявшие армяно-католичество и именовавшие себя, в связи с этим, армянами.

Возникновение письменного языка и его расцвет (XVI — первая половина XVII вв.)

Языковая ситуация в армянских колониях на Руси в период, охватывающий много десятилетий после монгольского нашествия, вряд ли существенным образом отличалась от обстановки до 1240 г.— т. е. в колониях по-прежнему господствовал армянский язык. Два дошедших до нас текстуально документа 1363 [62, с. 133—134] и 1398 гг. [18, с. 42—44], составленных соответственно во Львове и в Каменце-Подольском, написаны по-армянски. На армянском языке, как правило, составлялись колофоны рукописей, написанных или переписанных на Украине в XIV—XV вв.,— самые ранние из них датируются 1378 г. [72, с. 25] и периодом после 1379 г. [39, с. 529, № 656]. Конечно, можно возразить, что и документы, и колофоны были, так сказать, внешним официальным проявлением жизни армянских общин и поэтому они составлялись на грабаре. Но ведь полтора столетия спустя аналогичные документы и колофоны составлялись и во Львове, и в Каменце-Подольском на армяно-кыпчакском языке! Нет никаких оснований считать, как это делают некоторые авторы (например, [54, с. 142—144; 69, с. 99—100]), что уже в XIV в. разговорным языком армян Украины был кыпчакский. Ошибочным является также сообщение о том, что в Каменце-Подольском в XIX в. хранились армяно-кыпчакские литургические тексты, датируемые 1296 годом [74, с. 110].

Армяне Украины находились в постоянных контактах со своими единоплеменниками в Причерноморье. Микромиграции из Поволжья, Крыма, возможно, Приднестровья постепенно усиливали удельный вес кыпчакофонов в колониях. Сначала это был язык, служивший для контактов во время торговой деятельности на пространствах Европы, а в дальнейшем — разговорный язык в среде этнически армянских поселенцев. Процесс медленной потери собственного языка в тюркоязычном окружении должен был охватить несколько поколений — в начале более или менее продолжительное время господствовало двуязычие. На Украину с этих территорий прибывали, в основном, или билингвы, или тюркофоны.

Мы не знаем, когда именно и при каких обстоятельствах образовался количественный (и качественный) перевес армян-кыпчакофонов над армянами-«арменофонами», считаем, однако, упоминание известного польского историка Яна Длугоша (1415—1480) о татароязычности армян, датируемое 60-ми гг. XV в. [25, с. 125], признаком усиливающейся доминации кыпчакофонов. Французский миссионер Луи-Мари Пиду де Сент-Олон (1637—1717) перечисляет колонии, в которых еще в 70-х гг. употреблялся кыпчакский язык (Пиду прямо пишет о том, что это были колонии армян, выходцев из Крыма): Киев, Владимир, Луцк, Львов, Каменец, Снятын и Галич [35, с. 130]. Можно считать (сообщение Пиду не противоречит другим прямым и косвенным показаниям источников), что во всех этих городах кыпчакофоны действительно победили. В сфере разговорного языка это произошло приблизительно в последней четверти XV в.— тогда интенсифицировалась миграция армян на Украину, вызванная захватом прибрежной зоны Крыма и Приазовья, а в дальнейшем и Приднестровья турками-османами (соответственно в 1475 и 1484 гг.). Эту миграцию отметили, по-видимому, не дошедшие до нашего времени каменец-подольские армянские церковные хроники, использованные в конце XVII в. армянским историком Степаносом Рошкой (1670—1737) [37, с. 196]. Подобный ход событий согласуется с выводами нескольких поколений арменоведов и тюркологов [61, с. 411; 59, с. 391; 55, с. 109; 42, с. 550—551; 52, с. 157; 68, с. 56; 76, с. 147—148], к которым они приходили другими путями.

Как мы указывали выше, большой парадокс в истории армяно-кыпчакского языка состоит в том, что письменный язык был создан не в тюркской среде, а в окружении славянского — украинского, отчасти польского населения. Этот парадокс пока не находит себе удовлетворительного объяснения; возможно, сыграл роль именно высокий уровень армянского этнического самосознания, препятствовавший созданию армяно-кыпчакской письменности в крымскотатарском окружении, где ее могли бы расценивать как видимый признак ассимиляции с татарами и свидетельство серьезной ломки барьера, окружавшего армянские колонии. В славянской языковой среде возникновение армяно-кыпчакской письменности к подобным последствиям не приводило — барьер между армянами и неармянами сохранился. Это только одно из возможных объяснений явления, которое ждет еще углубленного исследования.

Этот парадокс не единственный. Из общих положений языкознания известно, что языки, которые мигранты переносят с места на место, где они подвергаются влиянию иноструктурных языков, обычно теряют свои индивидуальные черты, неуклонно деградируют. Армянам же, как это ни странно, оказалось под силу пережить не только в одной тюркской языковой среде своеобразную языковую революцию с заменой армянского языка разговорным кыпчакским, но и при переходе в другую, славянскую, языковую среду удержать этот новоприобретенный язык от деградации и потери самобытных черт. Наоборот, очередная миграция привела к языковой эволюции на более высокую ступень: к превращению бесписьменного языка во всесторонне развитой язык многожанровой литературы.

В соответствии с легкоконтролируемыми научными данными, колыбелью армяно-кыпчакской письменности явился Львов 20 — 30-х гг. XVI в. Именно тогда в среде львовской армянской колонии состоялся своеобразный языковой переворот. В 1521 г. делопроизводство общины переходит с армянского на армяно-кыпчакский: в книге львовского армянского суда последняя запись на армянском языке датирована 12 марта 1521 г., а первая на кыпчакском — 26 августа 1521 г. (судьба книги неизвестна; см. [56, с. 87; 51, с. 160]). В 1528 г. был изготовлен армяно-кыпчакский перевод Львовского судебника — кодекса армянских прав (реминисценция Мхитара Гоша), утвержденного королем Сигизмундом I в 1519 г. [34, с. 241—251, 274—277]. Характерно, что армяне, поставленные королевской властью перед выбором перевода судебника с официально утвержденного латинского текста на украинский или польский языки, избрали перевод на... кыпчакский. В 1530 г. или несколько лет спустя была составлена «Хроника Польши» [21, с. 122—123], в 1537 г. или сразу же после него написана так называемая «Венецианская хроника» (вопреки названию, составлена во Львове) [21, с. 115—121; 24, с. 38—41] — обе на армяно-кыпчакском языке.

Поражает динамичность этих событий. Как будто насильственно сдерживаемая языковая энергия вдруг сломала барьеры и выхлестнула наружу, объявляя о рождении нового письменного языка. Даже если считать, что далеко не все самые ранние памятники армяно-кыпчакского языка, созданные во Львове, дошли до наших времен (а это, конечно, так), столь насыщенная, почти лихорадочная писательская деятельность, развернувшаяся на протяжении неполных двух десятилетий, просто поражает. Несомненно, весь этот «языковой взрыв» во Львове не был результатом деятельности одного человека, не мог быть также следствием давления среднего (даже многочисленного) слоя горожан кыпчакофонов. По-видимому, именно тогда сложился во Львове кружок культурных деятелей, из среды которых вышла инициатива перевода делопроизводства общины на кыпчакский, составления по-кыпчакски трудов исторического и юридического содержания. Имена этих людей неизвестны и, наверное, останутся неизвестными навсегда. Нельзя предполагать, что подобная переориентация могла состояться без покровительства гражданской верхушки (армянский войт, совет старейшин) и без благословения духовного руководства (львовский армяно-григорианский епископ).

Не представляется возможным определить время и условия подобных

перемен в других колониях. Известно только, что в Каменце-Подольском языковая борьба приняла затяжной характер, иногда верх брала группа армян-арменофонов (наверное, более многочисленная, чем во Львове). Неизвестно, когда впервые общественное делопроизводство перешло на армяно-кыпчакский язык, но в 1559—1567 гг. оно с полным размахом велось уже по-кыпчакски [17, с. 123—227]. В 1572—1575 гг. оно возвращается к армянскому [29, с. 97—362], чтоб затем снова перейти на кыпчакский. Хроника общины (впрочем, не узко общинного, а более широкого краевого содержания), ведение которой находилось в руках наместника (авакереца) львовского армяно-григорианского епископа, только в 1611 г. переходит на армяно-кыпчакский [21, с. 68; 24, с. 26—27]. Абсолютно ничего не известно о языковых переменах в других общинах, в которых (согласно Пиду) господствовали кыпчакофоны — в Киеве, Луцке, Снятыне и др. Имеются глухие сведения об армяно-кыпчакском делопроизводстве в Замостье [34, с. 158]. Можно, однако, считать, что те колонии, в которых преобладали кыпчакофоны, ориентировались на армянскую колонию в крупнейшем в это время городе на Украине — Львове, являвшемся к тому же духовным центром для всех колоний.

Значение языковой переориентации не следует преуменьшать. Именно в 20—30-х гг. XVI в. произошло превращение бесписьменного говора крымских армян-тюркофонов и вышедших из этой среды эмигрантов в самостоятельный письменный армяно-кыпчакский язык, отделившийся от генетически наиболее близкого ему крымскотатарского. Уже самые ранние, перечисленные выше, памятники армяно-кыпчакского языка убеждают в том, что произошло рождение нового языка. «Кто-то» (как мы предполагаем, члены львовского культурного кружка) осуществил на практике применение армянского алфавита к тюркскому языку— причем это не было простое употребление чужой графики (ведь в это время в области графической записи тюркских языков почти безраздельно властвовал арабский алфавит, в чем армяне, из среды которых постоянно выходили переводчики восточных языков, были прекрасно осведомлены), а применение в соответствии с довольно последовательно выработанными орфографическими правилами. При всей гибкости армянского алфавита за его графемными возможностями оставалась, например, адекватная передача таких специфически тюркских звуков, как *ö*, *ü*. Все эти и подобные трудности правописания были учтены. Вместе с этим, изучение самых ранних текстов доказывает, что нововозникший язык уже не был идентичен крымскотатарскому синхронного периода. Правда, это утверждение в определенной мере висит в воздухе — в нашем распоряжении нет (или они не изучены) крымскотатарских текстов 1520—1530 гг., близких в жанровом отношении к древнейшим памятникам армяно-кыпчакского языка (язык ханских ярлыков, подверженный влиянию османской дипломатической традиции [53], не может быть, в данном случае, объектом полноправного сравнения). С другой стороны, однако, можно с полной уверенностью сказать, что некоторые черты письменного армяно-кыпчакского языка первой половины XVI в. совершенно точно отсутствовали в крымскотатарском языке того же времени. В последнем не могло быть лексических славянизмов, индоевропеизированных синтаксических конструкций, возможно, также некоторых специфических фонетических явлений (последний вопрос не совсем ясен, так как система передачи тюркских звуков средствами армянской графики все еще не исследована до конца). Другими словами, армяно-кыпчакский язык первой половины XVI в. при сохранении доминирующих генетических связей с крымскотатарским языком того или несколько более раннего времени не являлся уже его диалектом. Дифференциация в различных областях зашла далеко, и это еще раз доказывает превращение говора в самостоятельный язык.

Подобная дифференциация, конечно, стала возможной только благодаря тому, что люди, формировавшие язык, сами не были эмигрантами из Крыма, а их потомками в третьем-четвертом поколении. Косвенным образом это подтверждает решающую роль миграции, связанной с событиями 1475 г. в Крыму.

Создание очерка армяно-кыпчакской литературы, вызванной к жизни нововозникшим языком, выходит за пределы нашей задачи. Единственный имеющийся очерк такого рода, хотя увидел свет не так давно [73, с. 801—808], несколько устарел. Каждый год приносит новые открытия в этой области [2]. Лингвистического анализа заслуживают многочисленные памятники переводной (в основном, с армянского) литературы — культовой (молитвенники; части Библии ветхого и нового заветов, причем, несомненно, предпринималось по несколько переводов, например, Псалтыри, возможно, используемой, по параллели с украинской школой того времени, для обучения детей грамоте на армяно-кыпчакском языке; проповеди; сборники песен) и светской (Сказание об Акире Премудром). Создавалась оригинальная художественная литература (вирши духовного содержания), календари и пасхалии, астрологические и алхимические трактаты, исторические сборники и хроники, отдельные хроникерские заметки, сборники законов, лечебники, эпистолярий, колофоны, эпиграфика и др. Особое внимание лингвистов привлекают и должны привлекать в еще большей мере армяно-кыпчакские словари толкового типа, грамматические пособия (парадигмы, словари грамматических терминов и др.). Они свидетельствуют, с одной стороны, о высокой культуре обучения армяно-кыпчакскому языку в колониях — обучения как кыпчакофонов, так и арменофонов (всех тех, кто владел знанием армянской графики), с другой стороны, о наличии пуристических и нормативных тенденций у создателей подобных грамматических и лексикографических пособий. Художественная литература свидетельствует даже о стремлении к созданию кыпчакогенных (а не славяногенных) неологизмов. Большое по объему место среди письменных памятников армяно-кыпчакского языка занимают остатки делопроизводства львовской и каменец-подольской общин (судебные и судебно-административные книги, финансовые книги, книги метрических записей, предбрачных договоров, завещаний, архиепископских распоряжений и т. п.), а также отдельные частные акты (торговые договоры, полномочия, денежные расписки, финансовые отчеты и др.). Использование памятников делопроизводства в качестве лингвистического источника требует, однако, большой осторожности — тенденция к объявлению записей канцелярского языка отражением разговорного («народного») армяно-кыпчакского языка (с различными далекоидущими выводами о конвергенции, разложении, распаде языка) требует сугубо критического подхода. По-видимому, гораздо ближе к «народному» языку язык частных писем, частных финансовых отчетов и денежных расписок — конечно, если в их составлении не принимали участие заправские канцеляристы. Но документация такого типа также требует критического отношения — она ведь не свободна от трафаретных штампованных фразеологизмов, нетипичных для обыкновенного разговорного языка.

Необходимо отметить, что благодаря использованию армяно-кыпчакского языка в официальной документации этот язык приобретает всеобщее признание на Украине. Административно-судебные учреждения Львова принимали акты, написанные на армяно-кыпчакском языке (правда, с параллельным переводом на польский) как юридически полноправные документы. В особо важных случаях разрешалось вписывать их в оригинале в судебные книги, обычно заполняемые записями, составленными на латинском и польском. Договор львовского армяно-григорианского епископа Н. Торосовича с львовскими и каменецкими армянами 1627 г. внесен армянской графикой на кыпчакском языке в львовскую замковую книгу ([7, с. 1901—1904], о публикации см. [49, с. 84, № 101]). Это говорит не только о ранге языка, приравниваемого к общепринятым официальным языкам государственного делопроизводства, но и о популярности и распространении армяно-кыпчакского языка.

Вслед за рукописной книгой появилась печатная. В 1618 г. во Львове началось книгопечатание на армяно-кыпчакском языке. Неизвестно,

---

[2] Имеется перечень изданий памятников и посвященных им исследований, осуществленных по 1978 г. [49, с. 79—86].

сколько вообще появилось изданий на этом языке, так как до наших дней дошло только одно название (Alγiš bitiki), сохранившееся в единственном экземпляре. Типография прекратила свою деятельность после смерти ее основателя Ованеса Карматанянца (Ивана Муратовича, 1589—1624). Печатание армяно-кыпчакских книг не возобновилось.

Армяно-кыпчакская книга, рукописная и печатная, находила своего читателя в ряде армянских колоний на Украине. Отдельные документы, письма создавались за ее пределами (Стамбул, Эдирне, Люблин) ([9, л. 2, 7, 15, 10], о публикациях см. [49, с. 84, № 106, 123, с. 86, № 149]). На армяно-кыпчакском языке писали в Риме [51, с. 164]. Носители армяно-кыпчакского языка встречались далеко за пределами Украины — в 1620 г. в Иерусалиме был записан крохотный армяно-кыпчакский глоссарий [12, л. 262 б], в 1619 г. там же составлен колофон на армяно-кыпчакском языке [15, с. 226 б]. Уцелевший печатный экземпляр Alγiš bitiki был приобретен в Стамбуле, как кажется, около 1662 г.— там также находились приверженцы армяно-кыпчакского слова.

Период расцвета армяно-кыпчакского языка исследован явно недостаточно. До сих пор не решен (и, по существу, не поставлен) вопрос о наличии диалектов армяно-кыпчакского языка. При выделении его диалектов следует исходить из различий, обусловленных историческими факторами, и, в частности, степенью взаимодействия с неармянскими и некыпчакскими наречиями. Серьезные исследования в этом направлении не проводились. В свое время М. Левицкий и Р. Кон считали, что можно говорить о двух диалектах армяно-кыпчакского языка, из которых один подвержен влиянию османского языка [34, с. 157]. Действительно, некоторые тексты — письма или денежные обязательства, составленные на территории Турции,— насыщены фонетическими и лексическими османизмами (ср., например, [9, л. 2, 7, 15], о публикациях см. [49, с. 84, № 106, 123; с. 86, № 149]), что объясняется влиянием османского окружения. Пока нет возможности определить наличие особого османизированного диалекта армяно-кыпчакского языка. Стоит, однако, отметить мнение известного армянского путешественника Симеона дпира Леаци (Симеон Мартиросович, 1585 — после 1639) о том, что татароязычные армяне Львова пришли через Ангурию (т. е. Анкару) и из-за этого потеряли свой язык [36, с. 346; 20, с. 248].

Судьба армяно-кыпчакских рукописей и печатных изданий сложилась печально — они гибли вместе с гибелью языка и гибелью колоний. Если до нас дошло все-таки довольно значительное их количество — потеряно, несомненно, гораздо больше. Вполне возможно, что отдельные жанры письменности погибли полностью. На основании разбросанных по различным сочинениям цитат из Библии можно предполагать, что переведено было чуть ли не все Священное писание, из которого сохранились только отдельные части. На армяно-кыпчакском языке велись купеческие книги, известные только по выдержкам в переводах на польский. Уже в наше время погибли упомянутые в литературе [47, с. 221, 225] ценные фольклорные тексты (заговоры). Некоторые переселенческие очаги, в которых проживали армяне-кыпчакофоны, вообще не оставили памятников своего «локального» языка, хотя они, несомненно, были.

Все это говорит о больших потенциальных возможностях языка, его зрелости, жизнеспособности и динамике, перспективности его развития.

И вдруг наступает катастрофа. Прекращается переписка рукописей, обрывается делопроизводство, исчезает язык.

Упадок языка (вторая половина XVII в.)

Картина меняется как в калейдоскопе, а весь процесс развивается лавинообразно. Армяно-кыпчакское рукописание, по-видимому, не вышло за пределы 60-х гг. XVII в. Последним видным автором, упорно сохранявшим армяно-кыпчакский язык в своей литературной деятельности, был вардапет Антон — трехтомник его проповедей составлен в 1600—1662 гг., кстати, в Язловце и в Серете [78, № 479—481]. Правда,

существует армяно-кыпчакский Сборник псалмов и молитв, датируемый 1694 г. [13], но эта датировка более чем условна — 1694 г. обозначена наиболее поздняя запись на полях рукописи, созданной в действительности гораздо ранее.

В третьей четверти XVII в. в основном прекращает свое существование официальный статус армяно-кыпчакского языка. В львовской книге предбрачных договоров и завещаний записи на этом языке прекращаются еще в 60-х гг. XVII в. 1670 г. датируются последние записи о смертях, 1680 г.— о рождениях в львовской метрической книге, дальше идут записи по-польски. Армяно-кыпчакская книга распоряжений львовского архиепископа заканчивается 1675 г. [51, с. 161, 164]. Часть наиболее необходимой документации за прошлые годы срочно переводится с кыпчакского на польский — что свидетельствует о катастрофическом уменьшении количества лиц, понимающих записи на армяно-кыпчакском. Итак, в 1680 г. писарь львовской общины Лыскевич составил, на основании упомянутой выше книги завещаний, написанной (согласно документу 1733 г.) «на татарском наречии» (idiomate Tartarica), особый переводной перечень церковных прибылей от недвижимого имущества [8, с. 109]. В судебно-административных книгах каменецкой армянской общины чересполосица (армяно-кыпчакские записи вперемежку с латинскими и польскими) начинается в 50-х гг. и длится по 1663 г. [48, с. 154]. Последняя армяно-кыпчакская запись помещена под датой 20 августа 1663 г. [4, л. 266]. (Необходимо при этом, однако, учитывать и то, что книги за 1664—1708 гг. погибли.) Известен еще частный акт (завещание), составленный в Каменце-Подольском на армяно-кыпчакском языке 18 декабря 1669 г. ([10, л. 6—9]; о публикации см. [49, с. 86, № 149]).

В качестве контрольного показателя, определяющего нижнюю границу употребления армяно-кыпчакского языка, нами привлечены армяно-кыпчакские глоссы (маргиналии) и подписи. Армяно-кыпчакские пометы на иноязычных датированных текстах, хранимых в армянских общинах, могли быть проставлены не ранее создания этих текстов. Во Львове армяно-кыпчакские маргиналии сопровождают записи по 1680 г. включительно [8, л. 18—19, 20]; последняя (найденная до сих пор) подпись датируется 1683 г. [1, с. 920]. Армяно-кыпчакские глоссы на фрагментах книги армянского суда в Язловце виднеются рядом с текстом 1671 г. [11, с. 215, 216, 220]; последняя «язловецкая» подпись датируется 1669 г. [2, с. 271]. Пометы на книгах армянского суда в Станиславе сопутствуют протоколам за 1679, 1681—1685, 1687—1689 гг. (первая книга) и 1692 г. (вторая книга) [5, 6]. Последняя подпись из Станислава помечена 1686 г. [3, л. 383].

Тем не менее, еще в 70-х гг. XVII в. шведский военный и дипломат Захариа Гамоцкий (1620—1679), по происхождению армянин с Украины, обучал немецкого проповедника И. Гербиниуса османскому языку с явными кыпчакскими элементами, которые и отразились в составленном Гербиниусом турецком катехизисе ([30]; ср. также [79, с. 24—97; 60, с. 179—180]).

Надписи на полях и подписи 80 — 90-х гг. XVII в.— это последние реликты некогда столь бурно расцветавшей литературы.

Выдвигалось несколько гипотез для объяснения причин упадка армяно-кыпчакского языка. Эти теории можно распределить на две группы — объяснения лингвистическими и экстралингвистическими факторами.

Увлечение памятниками делопроизводственной письменности [45], подробный анализ конвергенции канцелярского языка к украинскому и польскому выдвигают на первый план как причину гибели деградацию языка, жаргонизацию, распад, насыщение и перенасыщение славянской и западноевропейской лексикой и фразеологией, детюркизацию синтаксиса и т. п. По-видимому, при оценке этих лингвистических процессов, отмечаемых в делопроизводственной письменности, допускаются две ошибки. Языкознанию известны языки очень «емкие» по своему харак-

теру, способные без особого вреда воспринять и переварить значительное количество иноязычных элементов (например, английский на протяжении своей многовековой истории), что, однако, не приводит к краху языка как средства общения. Жаргонизированные и пиджинизированные языки сохраняют свою динамичность и экспансивность, конструктивные способности в деле создания многоплановой письменной литературы (лучший пример — суахили). Одной восприимчивости языка к иноязычным элементам недостаточно для гибели языка — трансформацию языка в таком именно направлении нельзя считать наступлением этапа его внутренней несостоятельности, способствующей отказу носителей языка от его употребления. Вторая ошибка (о которой мы говорили выше) состоит в отождествлении актового языка с речью рядовых носителей языка. Несомненно, это две различные категории. Украинский язык XVII—XVIII вв. был не менее, чем армяно-кыпчакский, насыщен заимствованными из других языков словами, фразами, делопроизводственными оборотами, выработанными практикой русских и польских канцелярий. На основании украинского канцелярского языка того времени можно было бы также пророчествовать о гибели языка, чего, однако, не случилось. Сама по себе конвергентная лабильность языка, его жаргонизация не могли явиться главной причиной гибели армяно-кыпчакского языка. Эту причину нужно искать в экстралингвистических факторах, поражающих в первую очередь не столь сам язык, как его носителей.

В качестве причины гибели выдвигались этнические процессы, происходившие в армянских общинах Украины. Процессы эти носили различный — и прямо противоположный — характер. С одной стороны — реарменизация колоний (термин, очень удачно примененный Э. Шюцом [77]), т. е. усиление притока армян-арменофонов, с другой — денационализация и этническая ассимиляция с украинским и польским населением.

На историю миграции армян в Восточной Европе — с лингвистической точки зрения — нельзя смотреть таким образом, что будто бы этап прибытия армян-кыпчакофонов сменился этапом иммиграции армян-арменофонов. Прибывали одновременно представители обеих групп, только соотношение носителей того или другого языка было различным. Во второй половине XVI — начале XVII вв. на Украину прибыло много арменофонов, основавших «более новые» (по определению Пиду [35, с. 130]) колонии в Язловце, Замостье, Подгайцах, Бродах, Жванце, Городенке, Станиславе. Это были носители армянского разговорного языка (ашхарабара), выходцы из собственно Армении и Малой Азии, сотрясаемых длительными турецко-персидскими войнами и восстаниями джелалиев (о миграции оттуда на Украину см. высказывания современников Аракела Даврижеци и вардапета Григора [22, с. 88; 16, с. 95; 28, с. 68—69]). Значительную долю образовали армяне Молдавии, где периодически (1551—1552, 1570 гг.) вспыхивали преследования армян, насильственно обращаемых в православие (о бегстве армян на Украину см. источники того времени [38, с. 370—371; 19, с. 93; 31, с. 80]). Правда, о разговорном языке армян Молдавии мы знаем очень мало (письменных памятников «народного» языка почти нет), вполне возможно, что часть из них употребляла армяно-кыпчакский язык. Об этом косвенно свидетельствует, в частности, армяно-кыпчакская пергаментная (единственная в своем роде) грамота Донавака, сына Саркиса, жителя Сочавы, о его пожертвованиях львовскому армянскому кафедральному собору. Хотя грамота составлена во Львове в 1583 г. (не в Сочаве), нельзя предположить, что жертводатель, подписавший грамоту, не понимал ее содержания [78, с. 247, 1028, № 559]. Но даже если количество иммигрировавших на Украину в XVI — начале XVII вв. арменофонов было значительным, это не отразилось на развитии армяно-кыпчакской письменности — ведь именно на этот период приходится ее расцвет. Даже в такой, казалось бы, чисто арменофонной колонии, как Станислав, маргиналии еще в конце XVII в. делались на армяно-кыпчакском языке (ср. выше). Реарменизация, во всяком случае, не была столь динамичным явлением, как возникновение и расцвет армяно-кыпчакского письменного языка. Поколениям армян-

арменофонов XVII—XVIII вв. не удалось достигнуть того уровня специфической культуры (также языковой), которая связана с кыпчакофонами. Не менее характерно и то, что в колониях, ранее являвшихся оплотом армяно-кыпчакского языка (Львов, Каменец-Подольский), реарменизация не состоялась. Армянское население этих общин вступило на путь ассимиляции без промежуточного реарменизационного звена. Для денационализированных армян реарменизация не явилась реассимиляцией (возвращением к родному этносу), как и для кыпчакофонов она не ознаменовала возврата к языку своего этноса (ашхарабару). Реарменизация XVI — первой половины XVII вв. во всяком случае не являлась помехой для развития армяно-кыпчакского языка и, тем более, не могла стать причиной его гибели.

Какие бы барьеры — языковые, бытовые, эндогамные, юридические, религиозные — не создавали армянские колонисты вокруг себя, но постоянно (по источникам этот процесс прослеживается с конца XIV в.) происходил выход определенного количества лиц за пределы колоний, их этническая ассимиляция с окружающим населением (о значительной украинизации армян в XVI в. см. показания современников [27, с. 189—190], о полонизации верхушки [60, с. 173—175], об ассимиляции вообще — у Симеона дпира Леаци [36, с. 348] [3]), экзогамия, потеря родного языка, отход от своей религии, обычаев и т. д. В усилении денационализационных процессов многие исследователи — совершенно справедливо — обвиняют унию армяно-григорианской церкви на Украине с Римом (события 30 — 60-х гг. XVII в.), которая привела к латинизации обряда и способствовала полонизации армян. Это положение неоспоримо, но латинизация и полонизация — это не мгновенный катализатор, а длительный процесс, протекавший долгие десятилетия и закончившийся в отдельных колониях полной ассимиляцией только в середине, конце XVIII в. или даже в начале XIX в. (поздняя колония Куты сохраняла армянский язык — хотя и ограниченной функциональности — еще в первой половине XX в.). Уния своим идеологическим влиянием на современное ей поколение армян-кыпчакофонов не могла привести к гибели языка (как считают некоторые авторы [33, с. 308; 34, с. 158; 76, с. 48]), могла, однако, действовать и действовала в другом направлении (как мы увидим ниже)—на усиление эмиграции армян с Украины. Сама по себе, например, уния армяно-григорианской церкви в Трансильвании, даже несмотря на сильный мадьяризационный нажим, не привела к катастрофической потере языка.

Единственный достаточно мощный фактор, способный на протяжении трех-четырех десятилетий уничтожить язык и все его достижения, это миграционный толчок, причем не типа мгновенного массового эксодуса, а тягучей микромиграции, распыляющей носителей армяно-кыпчакского языка на территории обширной диаспоры без возможности последующей консолидации в единый сплоченный, лингвистически однородный организм. Главными причинами, вызвавшими микромиграционные потоки с Украины, явились политические события. Внутриполитический фактор — это религиозная нетерпимость в Речи Посполитой, способствовавшая длительной (с 30-х по 80-е гг. XVII в.) неурядице в среде поселенцев — борьбе между антиуниатами и униатами, причем в выигрыше оказались последние, пользовавшиеся поддержкой государства и могущественной в Польше католической церкви. Микромиграционный поток направился в более веротерпимую в это время Молдавию, но не задержался там надолго. Борьба за господарский престол, в которую включились армяне, вызвала, после неудачи, миграцию как местных, молдавских, армян, так и недавно прибывших с Украины — в Трансильванию (70-е гг. XVII в.). Внешнеполитический фактор связан с событиями польско-турецких войн. В 70-е гг., после захвата части Подолии Турцией, сдвинулись с насиженных мест армяне Каменца-Подольского и более мелких колоний. Здесь распыление было еще более основательным. Мигранты,

[3] В русском издании Симеона соответствующее место переведено с искажением [20, с. 249].

среди которых значительный процент составляли кыпчакофоны, попали в Польшу, на западноукраинские земли, в Молдавию (и отсюда в Трансильванию), в Македонию. Экономическому фактору, который будто бы должен был стимулировать миграцию, мы не придаем столь веского значения, как это делают некоторые авторы, иногда маскируя политические эксцессы, вызывавшие миграцию армян [63, с. 226—227; 77, с. 99]. Новоприобретенные места не были, с точки зрения возможностей развития торговли и ремесла, более привлекательными, чем даже истощенные войнами Украина и Польша.

До сих пор неизвестно, остались ли какие-нибудь письменные следы употребления армяно-кыпчакского языка на новых местах. Оставшиеся на Украине кыпчакофоны очутились в столь незначительном меньшинстве, что о продолжении армяно-кыпчакской письменности не могло быть и речи. Глоссы 80 — 90-х гг. XVII в. и переводы армяно-кыпчакских документов на польский язык того же времени — последние следы их деятельности. Можно глубоко сомневаться в том, что армяно-кыпчакский письменный язык переступил порог XVIII в.

Анализ источников, освещающих историю армяно-кыпчакского языка, позволяет сделать следующие выводы:

1. Языковая кыпчакизация армян, начавшаяся в золотоордынский период (конец XIII—XIV вв.), привела к образованию бесписьменного диалекта, распространенного среди армян Крыма, Поволжья, возможно Приднестровья, в дальнейшем очень близкого к разговорному языку крымских татар. Нет оснований считать, что этот кыпчакский диалект являлся исконным языком половцев или же ранних татар-тюрок, арменизированных в религиозном отношении.

2. Постоянная микромиграция армян-кыпчакофонов на территорию Украины, усилившаяся в конце XV в. под влиянием политических факторов, привела к формированию на новом месте переселения письменного армяно-кыпчакского языка, генетически тесно связанного с крымскотатарским, но подверженного славянизации, особенно в области лексики, фразеологии, синтаксиса. Графическое оформление языка произошло, видимо, в 20-х гг. XVI в.

3. Армяно-кыпчакский язык, несмотря на тенденцию к интерференции и конвергенции к украинскому и польскому языкам, привел в период своего расцвета (XVI — первая половина XVII вв.) к образованию многожанровой рукописной и печатной литературы, к созданию развитого делопроизводства западного образца.

4. Гибель армяно-кыпчакского языка, произошедшая окончательно в конце XVII в., была вызвана миграционным распылением его носителей на больших пространствах Восточной и Южной Европы, происходившим вследствие различных внутри- и внешнеполитических факторов. Одно только развитие языка в направлении усиливающейся конвергентности, этнические процессы (реарменизация и денационализация), перемена религиозного подчинения, как и экономический фактор, не были способны привести к катастрофически быстрому упадку языка.

Своеобразная история возникновения, расцвета и гибели армяно-кыпчакского языка не имеет буквальных аналогий в лингвистике, поэтому, возможно, она заслуживает внимания не только тюркологов, но и представляет более широкий языковедческий интерес.

ИСТОЧНИКИ

1. Документы и черновые материалы Армянского суда во Львове за 1676—1686 гг.— Центральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 52, оп. 2, т. 548.
2. Документы и черновые материалы Войтовского присутствия во Львове за 1669—1670 гг.— Там же, т. 492.
3. Документы и черновые материалы Городского совета во Львове.— Там же, д. 192.
4. Книга Армянского суда в Каменце-Подольском за 1657—1663 гг.— Центральный государственный исторический архив в Киеве, ф. 39, оп. 1, т. 42.

5. Книга Армянского суда в Станиславе за 1679, 1681—1685, 1687—1689 гг.— Библиотека Национального института им. Оссолинских во Вроцлаве, отд. рукописей, № 1359 II.
6. Книга Армянского суда в Станиславе за 1692—1702 гг.— Там же, № 1590 II.
7. Книга Львовского замка за 1627 г.— Центральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 9, оп. 1, т. 381.
8. Сборник документов львовского армянского архикафедрального собора.— Львовская научная библиотека им. В. Стефаника АН УССР, отд. рукописей, ф. Оссолинских, № II 1657.
9. Сборник документов по истории армянской общины во Львове.—Центральный государственный исторический архив УССР во Львове, ф. 52, оп. 1, д. 863.
10. Собрание документов на восточных языках.— Львовская научная библиотека им. В. Стефаника АН УССР, отд. рукописей, ф. Баворовских, № 1660 II.
11. Собрание документов по истории Язловца.— Там же, ф. Оссолинских, № II 1485.
12. *Nersēs Lambronacʿi*. Meknutʿiwn aṙakay. Erusałēm, 1620.— Институт древних рукописей им. Маштоца — Матенадаран — в Ереване, отд. рукописей, № 1232.
13. Sałmosarankʿ ew aławtʿagirkʿ. 1694 /?/.— Гос. публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, отд. рукописей, ф. Дорна, № 636.
14. Yaysmawurkʿ. Łrim, 1690.— Институт древних рукописей им. Маштоца — Матенадаран — в Ереване, отд. рукописей, № 7442.
15. Żołovacu. Erusałēm, 1619.— Там же, № 2493.
16. *Аракел Даврижеци*. Книга историй. М., 1973.
17. *Грунин Т. И.* Документы на половецком языке. (Судебные акты каменец-подольской армянской общины). М., 1967.
18. *Кучук-Иоаннесов Х.* Старинные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму.— Древности восточные. М., 1903, т. 2, вып. 3.
19. *Макарий*. Славяно-молдавская летопись.— В кн.: Славяно-молдавские летописи. Сост. Грекул Ф. А. М., 1976.
20. *Симеон Лехаци*. Путевые заметки. Перев. с арм. Дарбинян М. О. М., 1965.
21. *Ałišan Ł. M.* Kamenicʿ. Taregirkʿ hayocʿ Lehastani ew Rumenioy hawastčeay yaweluacovkʿ. Venētik, 1896.
22. *Aṙakʿel Dawrižeci*. Patmutʿiwn. . . Vałar apat, 1896.
23. *Cazacu M., Kčvonian K.* La chute de Caffa en 1475 à la lumière de nouveaux documentes.— Cahiere du Monde russe et soviétique. Paris, 1976, v. 17, n. 4.
24. *Deny J.* L'arméno-coman et les «Ephémérides» de Kamieniec (1604—1613). Wiesbaden, 1957.
25. *Dlugosz J.* Historiae Polonicae libri XII. T. 2. Ed. Przeździecki A. Cracoviae, 1873.
26. Georgii Pachymeris De Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII. Rec. Bekkerus J. V. 1. Bonnae, 1835.
27. *Gratiani A. M.* De vita Joannis Francisci Commendoni cardinalis libri IV. Patavii, 1685.
28. *Grigor Daranałcʿi*. Żamanakagrutʿiwn. . . Erusałēm, 1915.
29. *Grigoryan V. R.* Kamenecʿ-Podolsk kałakʿi haykakan datarani arǰanagrutʿ yunnerə (XVI d). Erevan, 1963.
30. *Herbinius J.* Horae Turcico-catecheticae sive institutio brevis catechetica.— In: *Herbinius J.* Symbola fidei Christianae catholica. Gedanii, 1675.
31. *Kazy F.* Historia regni Hungariae . . . [T. 3]. Tyrnaviae, 1737.
32. *Kern A.* Der «Libellus de notitia orbis» Johannes' III (de Galonifontibus?) OP. Erzbischof von Sultanyeh.— Archivum Fratrum Praedicatorum. Roma, 1938, v. 8.
33. *Kraelitz-Greifenhorst F. von.* Sprachprobe eines armenisch-tatarischen Dialektes in Polen.— Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1912, Bd. 26.
34. *Lewicki M., Kohnowa R.* La version turque-kiptchak du «Code des lois des Arméniens polonais» d'après le ms. No. 1916 de la Bibliothèque Ossolineum.— RO, 1957, t. 21.
35. [*Pidou L. M.*] Compendiosa relatio unionis nationis Armeno — Polonae cum s. ecclesia Romana.— In: Źródła dziejowe. T. 2. Warszawa, 1876.
36. *Sʿmeon dpir Lehacʿi*. Ułegrutʿiwn taregrutʿiwn ew yiʿatakarankʿ. Ed. Akinean N. Vienna, 1946.
37. *Stepʿanos Rawška*. Żamanakagrutʿiwn kam tarekankʿ ekełecʿakankʿ. Ed. Oskean H. Vienna, 1964.
38. *Urechi G.* Chronique de Moldavie depuis le milieu du XIVe siècle jusqu' à l'an 1594. Ed. Picot E. Paris, 1878.
39. *Xačikyan L. S.* ŽD dari hayeren jeṙagreri hiʿatakaranner. Erevan, 1950.

ЛИТЕРАТУРА

40. *Абдуллин И. И.* Актуальные проблемы армяно-кыпчаковедения.— В кн.: Источниковедение и история тюркских языков. Казань, 1978.
41. *Абдуллин И. И.* Армяно-кыпчакские рукописи и их отношение к диалектам татарского языка.— В кн.: Материалы по татарской диалектологии. Т. 3. Казань, 1974.
42. *Айвазовский Г.* Заметка о происхождении новороссийских армян.— Зап. Одесского об-ва истории и древностей, 1867, т. 6.

43. *Гаркавец А. Н.* В. В. Бартольд о вероисповедании у кыпчаков X—XIII вв. и проблема этногенеза армяно-, греко-кыпчаков и караимов.— В кн.: Бартольдовские чтения. 18—20 марта 1974 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 1974.
44. *Гаркавец А. Н.* Конвергентная эволюция армяно-кыпчакского языка в условиях субординативного славянско-кыпчакского двуязычия его носителей в г. Каменце-Подольском XVI—XVII вв.: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1975.
45. *Гаркавец А. Н.* Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в XVI—XVII вв. Киев, 1979.
46. *Гаркавец А. Н.* Славянские и латинские заимствования в кыпчакской деловой фразеологии. (На материалах судебных протоколов тюркоязычных армян из Каменца-Подольского XVI—XVII вв.).— Труды Самаркандского гос. ун-та, нов. серия, 1975, вып. 288.
47. *Григорянц С. А.* Описание трех армянских рукописей.— Изв. Одесского библиографического об-ва, 1913, т. 2, вып. 5.
48. *Дашкевич Я. Р.* Адміністративні, судові й фінансові книги на Україні в XIII—XVIII ст. (Проблематика, стан і методика дослідження).— В кн.: Історичні джерела та їх використання. Т. 4. Київ. 1969.
49. *Дашкевич Я. Р.* Армяно-кыпчакский язык. Библиография литературы 1802—1978.— RO, 1979, t. 40, zesz. 2.
50. *Дашкевич Я. Р.* Армяно-кыпчакский язык XV—XVII вв. в освещении современников. (Об использовании экстралингвистических данных для истории тюркских языков).— ВЯ, 1981, № 5.
51. *Дашкевич Я. Р.* Львовские армяно-кыпчакские документы XVI—XVII вв. как исторический источник.— Историко-филологический журнал. Ереван, 1977, № 2.
52. *Кримський А. Е.* Тюрки, їх мови та літератури. Т. 1. Вип. 2. Київ, 1930.
53. *Усманов М. А.* Жалованные акты Джучиева улуса XIV—XVI вв. Казань, 1979.
54. *Balzer O.* Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z roku 1519. Lwów, 1910.
55. *Barącz S.* Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol, 1869.
56. *Bžškeanc' M.* Canaparhordut'iwn ʾi Lehastan ew yayl kołmans bnakeals ʾi haykazanc' sereloc' ʾi naxneac' Ani k'ałak'in. Venetik, 1830.
57. *Clauson G.* Armeno-Qīpčaq.— RO, 1971, t. 34, zesz. 2.
58. *Dachkêvytch Ya.* Les Arméniens à Kiev (jusqu'à 1240). 2-me p. — Revue des Études arméniennes (= REArm.), N. S., Paris, 1975—1976, t. 11.
59. *Dan D.* Armenii orientali din Bucovina.— Candela. Cernauţi, 1871, v. 10, n. 7.
60. *Dashkevych Ya.* Armenians in the Ukraine at the time of Hetman Bohdan Xmelʾnycʾkyj (1648—1657).— Harvard Studies. Cambridge, Mass., 1979—1980, v. 3—4, p. 1.
61. *Ficker A.* Hundert Jahre (1775—1875).— Statistische Monatsschrift. Wien, 1875, Jg. 1.
62. *Giwver Agonc' S.* A xarhagrut'iwn čoric' masanc' axxarhi. . . T. 2. Hat. 2. Venetik. 1802.
63. *Iorga N.* Arméniens et Roumains. Une parallele historique.— Bulletin de la section historique (Académie Roumaine). Bucarest, 1913, v. 1 (1912—1913).
64. *Kowalski T.* Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Eingeleitet, erläutert und mit karaimisch-polnisch-deutschem Glossar versehen. Kraków, 1929.
65. *Kowalski T.* Wyrazy kipczackie w języku Ormian polskich.— Myśl Karaimska, Wilno, 1938, zesz. 12.
66. *Macler F.* Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1908.
67. *Macler F.* Les Arméniens de Galicie.— REArm., 1926. t. 6, fasc. 1.
68. *Macler F.* Rapport sur une mission scientifique en Galicie et Bukovine.— REArm., 1927. t. 7, fasc. 1.
69. *Mańkowski T.* Orient w polskiej kulturze artystycznej. Wrocław, Kraków, 1959.
70. *Mańkowski T.* Sztuka Ormian lwowskich. Kraków, 1934.
71. *Oskean H.* Cuc'ak hayeren jeřagrac' mxit'arean matenadaranin i Vienna. Hat. 2. Vienna, 1963.
72. *Petrowicz G.* La chiesa armena in Polonia. P. 1. Roma, 1971.
73. Philologiae Turcicae fundamenta. T. 2. Aquis Mattiacis, 1964.
74. [*Rolle J.*=] *Antoni J.* Zameczki podolskie na kresach multańskich. Wyd. 2-e. T. 2. Warszawa, 1880.
75. *Schütz E.* Armeno-Kiptschakisch und Krim.— In: Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Nemeth. Budapest, 1976.
76. *Schütz E.* Notes on the Armeno-Kipčak Script and its Historical Background.—In: Aspects of Altaic Civilisation. Proceedings of the Fifth Meeting of the Permanent International Altaistic Conference Held at Indiana University. June 4—9, 1962. Bloomington — The Hague, [1963].
77. *Schütz E.* Re-Armenisation and Lexicon. From Armeno-Kipchak back to Armenian.— Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1966, t. 19, fasc 1.
78. *Tašean Ya.* C'uc'ak hayeren jeřagrac' matenadaranin mxit'areanc i Vienna. [Hat. 1]. Vienna, 1895.
79. *Zajączkowski A.* Glosy tureckie w zabytkach staropolskich. 1.— Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1948, ser. A, № 17.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ПЕСТОВ В. С.

КАТЕГОРИИ ЛИЦА, СКАЗУЕМОСТИ И ПРЕДИКАТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ КЕЧУА

Как и во многих других языках, где категория притяжательности в имени оформляется аффиксально, а глагол имеет личное спряжение, в агглютинативном американском языке кечуа наблюдается значительное сходство между притяжательными показателями существительного и личными окончаниями глагола. Известно, что в различных языках имеют место разнообразные варианты такого параллелизма: например, аффиксы существительного иногда материально совпадают или генетически общи с показателями лица объекта (семитские) или лица субъекта (тюркские) в глаголе; в венгерском языке парадигма притяжательных форм существительного материально тождественна парадигме так называемого объектного спряжения, отражающего лицо подлежащего с одновременным указанием на наличие определенного дополнения 3-го лица. В некоторых случаях рассматриваемые личные показатели в зависимости от характера глагола и конструкции всего предложения могут указывать либо на подлежащее, либо на дополнение, как, например, в абхазско-адыгских языках; в языках активного строя притяжательные аффиксы имени часто служат и для указания на субъект стативного глагола, в то время как субъект активного глагола выражается особой серией аффиксов [1, с. 149 и др.]. Рассматриваемые форманты могут сохранять более или менее очевидную генетическую связь с личными местоимениями; в других случаях такая связь не прослеживается. Наконец, интересующие нас личные показатели в ряде языков органически входят в состав именного или глагольного слова, подчиняясь, например, законам сингармонизма, если таковой имеется, в других же функционируют в качестве полусамостоятельных клитик.

Мы не ставим перед собой задачи классифицировать все эти разнообразные и, по-видимому, неоднородные явления, представляющие, впрочем, значительный интерес с точки зрения определения понятий глагольности и сказуемости. Вопросам, связанным с формированием глагольного слова из синтаксически нейтральной основы и личных показателей, генетически общих с именными, посвятил, как известно, немало страниц своего фундаментального труда И. И. Мещанинов [2]. Некоторые интересные данные, имеющие отношение к этой проблеме, можно найти и в языке кечуа [1].

В этом американском языке форманты лица числа обладателя в имени обнаруживают несомненное сходство (но не идентичность) с показателями лица/числа субъекта (и, частично, объекта) в большинстве модально-временных парадигм. В то же время эти экспоненты материально не связаны с основами личных местоимений. Аффиксы лица — как имени, так и глагола — органически входят в состав фонетического слова, не изменяя его акцентологической схемы.

Интересующие нас личные аффиксы кечуанского глагола регистрируются в большинстве модально-временных парадигм субъектного спря-

[1] Обстоятельный анализ структуры слова, в том числе и глагольного, в языке кечуа осуществлен Е. И. Царенко [3]. Так, им отмечены некоторые особенности морфологического строения кечуанского глагола в отличие от структуры имени, в частности, вокалический исход глагольной основы, что имеет далеко идущие последствия на морфонологическом уровне.

жения. Ниже приводятся формы спряжения глагола *ruway* «делать» в настоящем времени изъявительного наклонения в сопоставлении с притяжательными формами существительного *uma* «голова» [2].

Личные аффиксы глагола		Лично-притяжательные аффиксы существительного	
Ед. число		Ед. число	
ruwa-ni	«я делаю»	*uma-y*	«моя голова»
ruwa-nki	«ты делаешь»	*uma-yki*	«твоя голова»
ruwa-n	«он делает»	*uma-n*	«его голова»
Мн. число		Мн. число	
ruwa-yku	«мы (экскл.) делаем»	*uma-yku*	«наша (экскл.) голова»
ruwa-nchis	«мы (инкл.) делаем»	*uma-nchis*	«наша (инкл.) голова»
ruwa-nkichis	«вы делаете»	*uma-ykichis*	«ваша голова»
ruwa-nku	«они делают»	*uma-nku*	«их голова»

Анализируя структуру этих формантов, можно выделить в них помимо собственно показателей лица, генетически общих для глагола и существительного, еще и элемент *-n-*, присутствующий лишь в финитных формах глагола и интерпретируемый нами в предварительном порядке как некоторая характеристика глагольности или сказуемости. Этот вывод основывается на нижеприводимых соображениях.

Учитывая недопустимость стечения гласных в кечуа и, следовательно, закономерность $i > y$ после гласной, формант *-i-* можно считать общим для 1-го л. как ед. ч. глаголов, так и существительных.

Форма 1-го л. мн. ч. (экскл.) представляет собой сочетание *-i-* с суффиксом мн. ч. *-ku*; последний, несомненно, родствен показателю множественности существительных *-kuna*. Эта единственная — в говоре Куско — форма в парадигме настоящего времени, где отсутствует вышеупомянутый элемент *-n-*, что можно объяснить либо влиянием соответствующей именной формы, либо, что более вероятно, редукцией более старого форманта *-niku*, регистрируемого в говоре Айякучо. Показатель *-yku* находим и в личном местоимении 1-го л. мн. ч. экскл. *ñoqayku*. Основа *ñoqa-* имеет, видимо, все же неместоименное происхождение, чем и объясняется возможность присоединения к ней личного окончания *-y*. Заметим, что «показатель глагольности» *-n-* не может и не должен участвовать в образовании местоименных форм. Действительно, при наличии *-niku* в 1-м л. мн. ч. экскл. глаголов соответствующее местоимение в говоре Айякучо регистрируется в той же форме, что и в Куско, т. е. *ñoqayku*.

В 5-й форме у существительных находим *-nchis* (фонетически *-ñchis*) вместо ожидаемого **-ychis*, что, по нашему мнению, объясняется отмечаемой в кечуа тенденцией к нейтрализации среднеязычных *y* и *ñ* перед пататализованным альвеолярным [3]. То же и в личном местоимении 1-го л. мн. ч. вкл. *ñoqanchis*. Соответствующий глагольный формант можно интерпретировать как сочетание *-n-* с именным суффиксом в форме *-nchis* с упрощением *nn* (*ññ*) > *n* (*ñ*) [3].

Труднее дать объяснение формам 2-го л. ед. и мн. ч. имен и глаголов. Наиболее вероятным нам кажется предположение о вторичности элемента *-i-*, появившегося в именном суффиксе по аналогии с формой 1-го л. или в связи с общей для именной и глагольной парадигм тенденцией к двухконсонантному началу личных аффиксов.

---

[2] Статья написана в основном на материале говора Куско. Примеры даны в практической орфографии, распространенной в Перу, см. [4].

[3] Обращает на себя внимание противопоставление показателей множественности *-ku* (в 4-й и 7-й формах) и *-chis* (в 5-й и 6-й), строго выдерживаемое во всех модально-временных парадигмах. Так, Б. Потье [5] рассматривает форму на *-nchis* как «гетерогенное множественное», образованное от формы 3-го л. ед. ч., в отличие от 4-й формы, представляющей собой «гомогенное множественное», образованное от формы 1-го л. ед. ч. Такой вывод позволяет по-иному взглянуть на происхождение форм инклюзива и эксклюзива, однако приводит к новым проблемам и в целом представляется нам неубедительным.

В 3-м л., как уже отмечалось, повсюду обнаруживается *-n* (иногда факультативное, о чем ниже).

Изложенные выше факты позволяют представить строение личных аффиксов имени и глагола в следующем виде (в круглых скобках даны реконструируемые элементы, отсутствующие, по крайней мере, в говоре Куско, в квадратных — предположительно вторичный элемент, возникший по аналогии):

	Имя	Глагол
1.	*i*	*n-i*
2.	[*i*]*ki*	*n-ki*
3.	*n*	*n*
4.	*i-ku*	(*n*)-*i-ku*
5.	*n* < *i-chis*	*n*-(*n* < *i*)-*chis*
6.	[*i*]*ki-chis*	*n-ki-chis*
7.	*n-ku*	*n-ku*

Анализ личных показателей подтверждает предположение о том, что рассматриваемые финитные формы глагола генетически распадаются на собственно показатели лица, идентичные таковым в имени, и элемент *-n*, относительно которого, как отмечалось, естественно предположить, что именно он является характерным выразителем некоторой глагольно-сказуемостной сущности. Для более точного определения этого элемента необходимо выйти за рамки морфологии глагола и рассмотреть категорию сказуемости в кечуа как на синтаксическом, так и на логико-грамматическом уровне [4].

В свете исследований В. З. Панфилова [см., например, 6, 7] в языке кечуа можно различать два типа сказуемого: 1) логическое сказуемое (предикат, рема), например: ***Wasiykin*** *wasiymanta aswan hatun* «**Твой дом** больше моего», *Karuta chayanapaqqa* ***allillamantan*** *purina* «Чтобы далеко уйти, надо идти **медленно**». Показателем ремы является элемент *-n* (*-mi* после согласного), относимый обычно к частицам на том основании, что он может оформлять любой член предложения. Во втором примере наличествует и показатель логического подлежащего (субъекта, темы) *-qa*; 2) синтаксическое сказуемое а) выражаемое именной частью речи: *Kayqa* ***wasin*** «Это **дом**», *Kay warmi*(*qa*) ***sumaq*(*mi*)** «Эта женщина **красива**» (ср. *Sumaqqa kay* ***warmin*** «Кто красив, так это вот эта **женщина**»); именное сказуемое, как правило, оформляется той же «частицей» *-n*; б) собственно глагольное сказуемое: *ruwani* «я делаю», *apanku* «они несут», *Ñoqaqa sapa p'unchaymi panaywan kuska mikhuni* «Я обедаю вместе со своей сестрой каждый день». В последнем примере *ñoqaqa* «я» — логическое и синтаксическое подлежащее, *sapa p'unchaymi* «каждый день» — логическое сказуемое и *mikhuni* «ем, обедаю» — глагольное сказуемое, выраженное 1-м л. ед. ч. индикатива.

Анализ этих данных приводит к выводу о том, что выделяемый в финитных формах глагола элемент *-n*, а также показатели именного сказуемого и ремы обнаруживают не только материальную тождественность, но и известную функциональную общность. Во всяком случае представляется вполне естественным, что личные формы глагола, единственная функция которых в языке кечуа — быть синтаксическим сказуемым, имеют в своем составе экспонент, материально идентичный показателю логического и именного сказуемого. Можно предположить, что синтаксическая категория предикативности в языке кечуа исторически выражалась на морфологическом уровне одинаково, независимо от того, какой частью речи было представлено сказуемое. Так, предложения *Kay runa*(*qa*) *way-*

[4] При этом мы исходим из того, что логико-грамматическое членение предложения определяется надфразовым контекстом (эксплицитным или имплицитным), в то время как синтаксическое строение предложения не зависит от последнего. Предложение, как и единицы других уровней языковой структуры, можно рассматривать как с точки зрения его компонентов, или членов (уровень синтаксиса), так и в аспекте его внешних связей (уровень логико-грамматического членения). Аналог соотношения синтаксического и логико-грамматического уровней можно видеть, например, в той взаимосвязи, в которой находятся словообразование и словоизменение или морфемообразование (морфонология) и морфология.

nan «Этот человек молод» и *Kay runa(qa) llank'an* «Этот человек работает» и сейчас идентичны не только с точки зрения синтаксического строения, но и с точки зрения морфологической структуры сказуемого. Лексемы, выступающие в них в качестве сказуемого, различаются лишь семантически: *kayna* выражает качество, а *llank'a* — действие, хотя и между этими категориями граница не всегда отчетлива. Так, предложение *Kayqa k'anchan* наряду с переводом «Это свет» допускает и перевод «Это светит». «...В ряде языков,— отмечает В. З. Панфилов,— любое имя в функции сказуемого становится глаголом, получая особый словообразовательный аффикс и словоизменительные формы глагола. Так, например, в эскимосском языке имеем: *юк* „человек", *юг-у-к'* „это есть человек"; *малг'ук* „два", *малг'уг-у-к* „это есть два" и т. п.» [7, с. 10]. Конечно, и кечуанские формы типа *runan* «(это) человек» можно было бы рассматривать как предикативные формы имени наподобие вышеприведенных или форм категории сказуемости, например, в турецком языке [8]. Однако говорить о категории сказуемости кечуанского имени все же нет оснований, так как формы типа *runan* не имеют словоизменительных категорий (лицо, число, время, наклонение), типичных для глагольного сказуемого. Впрочем, возможность выразить эти категории в языке кечуа, естественно, имеется благодаря наличию связки *kay*, обнаруживающей несомненную материальную общность с указательным местоимением *kay* «этот». Связка *kay* не употребительна в 3-м л. наст. вр., но наличие у нее полной глагольной парадигмы, с одной стороны, и отсутствие семантической наполненности — с другой, превращает ее в своего рода морфологическую «подставку» для соответствующих аффиксов, не сочетающихся с именем непосредственно.

Что касается взаимоотношения логического и синтаксического сказуемых, то и здесь в ряде языков регистрируются идентичные способы их оформления. Так, при сравнении китайских предложений *Та кань чжунго бао* «Он читает китайскую газету» и *Та кань-ды шы чжунго бао* «*Он китайскую газету читает*» [5] обнаруживается, что при поляризации высказывания с точки зрения логико-грамматического членения тема в китайском языке оформляется номинализатором *ды* и становится синтаксическим подлежащим, а рема занимает позицию именного сказуемого и снабжается присущей последнему связкой *шы*. Об этом же свидетельствуют и факты тех языков, где существует категория определенности/неопределенности имени, находящая выражение как в пределах слова (семитская нунация/мимация), так и вне его (артикли). В этом случае для неопределенного имени характерна как функция ремы, так и функция именного сказуемого. Заметим, что и кечуановедческой грамматической традиции не чужда интерпретация экспонентов темы и ремы как аналогов соответственно определенного и неопределенного артиклей европейских — в первую очередь, естественно, испанского — языков.

Обращает на себя внимание материальная идентичность показателя 3-го л. ед. ч. обладателя в имени *-n* (после согласных — с предшествующим эвфоническим интерфиксом *-ni-*), форманта 3-го л. ед. ч. *-n* в глаголе и показателя ремы *-n* (*-mi* после согласных). Исходя из изложенных выше фактов, мы соотносим глагольное *-n* в первую очередь с показателем ремы, однако нельзя исключать и генетическую общность первого с двумя последними. Процесс их постепенной дифференциации можно сопоставить с эволюцией функции нунации в семитских языках, где так называемое «танвинное окончание» — по И. М. Дьяконову —первоначально указывало на определенность и лишь затем — на неопределенность имени, оформляя последнее, в частности, в функции сказуемого [9].

Представляется вполне вероятным, что в языке кечуа первоначально дейктический элемент *-n*, соотносимый с 3-м лицом (по Э. Бенвенисту — с не-лицом), стал употребляться как для выделения именного сказуемого (аналогично тому, что произошло позднее с другим дейктиком *-kay*, пре-

---

[5] Примеры заимствованы у В. З. Панфилова [7, с. 13].

образовавшимся в связку [6]), так и для выделения любого члена предложения в функции логического предиката. На следующем этапе произошло еще одно функциональное расщепление морфемы *-n*: она стала использоваться и в личных формах глагольного сказуемого, что способствовало формированию личного спряжения (в ряде модально-временных парадигм), отличающегося от притяжательных форм имени. Возможно, что на этом этапе развития языка заключительная позиция в предложении была наиболее типична не только для сказуемого, но и для ремы [7].

Глагольный элемент *-n*, по-видимому, еще не утратил полностью функциональной связи с показателем ремы, так как спорадически регистрируется его отсутствие в 3-м л. ед. ч. (но никогда не в первых двух, где он органически вошел в состав личных постфиксов). В большинстве случаев это, вероятно, связано с наличием в предложении особо выделяемого логического предиката, «перетягивающего» к себе указанную морфему. Но чаще всего взаимосвязь глагольного *-n* с показателем логического предиката уже не осознается, и при необходимости выделить глагольное сказуемое как рему к глаголу присоединяется постпозитивно тот же элемент *-n(-mi)*: *Ñoqa ruwanin* «Я делаю», *Pay ruwanmi* «Он делает» и т. д.

В материальном плане эти три форманта можно было бы возвести к одному назальному элементу *-n/-m*; при этом в имени, морфонологическая структура которого, как отмечалось выше, отлична от глагола, в позиции после согласного появился эвфонический интерфикс *-ni-*, характерный только для имени, в то время как в глаголе, основа которого оканчивается на гласный, необходимость в таком элементе не возникла. Наконец, в функции показателя ремы, имеющего очень большую валентность и примыкающего к словам как с вокалическим, так и с консонантным ауслаутом, регистрируется полногласный вариант этой морфемы — *-mi*, употребляемый в постконсонантной позиции. (Ср. в связи с этим постконсонантный вариант *-si* морфемы *-s*, функция которой — указание на чужую речь.)

Таким образом, материал языка кечуа, как кажется, свидетельствует о происшедшем в нем процессе проникновения формального показателя предикативности в глагольное слово, т. е. о формировании личных форм спрягаемого глагола на базе категории предикативности в сочетании с личными аффиксами, общими для глагола и для имени. Это позволяет предположить, что единообразие в морфологическом оформлении сказуемого и спрягаемого глагола, с одной стороны, а также логического предиката и сказуемого — с другой (явление отнюдь не уникальное), может распространиться и на все эти три, в конечном счете взаимосвязанные, категории.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
2. *Мещанинов И. И.* Глагол. М.— Л., 1948.
3. *Царенко Е. И.* К проблеме структуры слова в агглютинативных языках (на материале языка кечуа): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1974.
4. *Пестов В. С.* Об отражении субъектно-объектных отношений в глаголе кечуа.— ВЯ, 1980, № 4, с. 129.
5. *Pottier B.* Inclusif et exclusif dans le système personnel du quichua.— BFLS, 1963, 41e année, № 8, p. 533—536.
6. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
7. *Панфилов В. З.* Языковые универсалии и типология предложения.— ВЯ, 1974, № 5.
8. *Дмитриев Н. К.* Турецкий язык. М., 1960, с. 40—41.
9. *Дьяконов И. М.* Семито-хамитские языки. М., 1965, с. 58—59.
10. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М. 1974, с. 205 и сл.

---

[6] Об использовании местоимений в функции связки см. [10].

[7] Учитывая наличие в кечуа ряда реликтов, свидетельствующих об активном (в терминологии Г. А. Климова) прошлом этого ныне номинативного языка (см. [1, с. 238—241]), было бы интересно исследовать предложение в языках активного строя в плане его логико-грамматического членения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

САРДЖВЕЛАДЗЕ З. А.

У ИСТОКОВ ГРУЗИНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Строго нормированный характер древнегрузинского языка [1—3] уже неоднократно внушал основания для предположения о существовании в Древней Грузии текста полной грамматики или свода основных норм литературного языка [4, с. 12, 106, 107; 5, с. 3; 6, с. 43; 7, с. 5; 8, с. 5]. Важное значение для истории вопроса имеет, в частности, тот факт, что Антоний I (1720—1788), великий грузинский ученый, в своем фундаментальном труде «Грузинская грамматика» (1753 г.; 1767 г.) указывает на лингвистическую работу философа и писателя XI в. Иоанна Петрици [9, с. 168—169]. М. Броссе [10, с. 8] и А. Шёгрен [11] считают Иоанна Петрици автором не дошедшей до нас грамматики грузинского языка. По мнению А. П. Поцхишвили, уже в X—XII вв. на грузинском языке существовала грамматика, хотя и неясно, была ли она оригинальной работой или переводной [12, с. 51]. К сожалению, из-за отсутствия фактического материала, т. е. грамматических работ ранней эпохи, в настоящее время трудно судить о состоянии грамматической мысли в Древней Грузии. Однако памятники древнегрузинского языка содержат большое количество заметок и приписок лингвистического характера, принадлежащих средневековым авторам, переводчикам или переписчикам. Эти приписки встречаются, как правило, на полях страниц древних рукописей [такие так называемые «схолии» особенно часты в списках, которые содержат памятники, переведенные Ефремом Мцире (XI в.), Иоанном Петрици (XI в.), Арсеном Икалтоели (XI—XII вв.) и др.], а также в самих текстах оригинальных и переведенных памятников. Эти лингвистические замечания, охватывающие разные сферы языка, дают определенное, хотя и неполное, представление о состоянии грузинской лингвистической мысли в V—XII вв. Необходимо отметить, что эти схолии служат чисто практической цели — лучшему пониманию текста. В основном они касаются трудных для грузинского читателя лексических и грамматических форм. В 1873 г. А. Цагарели писал: «Возникновение и развитие грамматических понятий в литературе какого-нибудь народа как признак сознательного, критического отношения к языку, есть, бесспорно, один из важнейших шагов вперед в умственной жизни его. Но понятия эти возникают и развиваются не вдруг, а постепенно и в разных видах: сначала они тесно связаны с экзегетическим и лексическим (этимологическим) разбором и объяснением трудно понимаемых писателей» [4, с. V]. Как известно, памятники духовной литературы переводились на грузинский язык преимущественно с греческого. Переводчики прекрасно видели различия в структурах обоих языков и нередко высказывались по этому вопросу. Очень интересным является и то, что уже в XI в. некоторые грузинские ученые и писатели противопоставляли друг другу литературные и диалектные формы и т. д. Значение этих комментариев для истории грузинской лингвистической мысли подчеркивал И. А. Джавахишвили, который отмечал и то обстоятельство, что эти материалы еще нуждаются в выявлении и изучении [5, с. 4].

Основная часть сделанных нами лингвистических наблюдений оказывается по своему характеру лексикографической. В древнегрузинском языке, как и в других, имеется множество заимствованных лексических единиц. Заимствование слов — обычный и естественный процесс, но нельзя считать нормальным засорение родного языка иноязычными словами. По-видимому, именно на это и указывает Григорий Чахрехаисдзе, пере-

писавший в XIII в. «Великий Номоканон». В своем завещании он пишет: «mravalni ucxoni siṭqwani arian, garna dedasa egre vpove» (Рукоп. № 25 Кутаисского музея, 296 г) «(в этой рукописи) много иноязычных слов, но так было в подлиннике». И действительно, в Великом Номоканоне, переведенном на грузинский язык представителем так называемой эллинофильской литературной школы, большое число иноязычных, в основном, греческих, лексических единиц.

Заимствованию слов, помимо других обстоятельств, способствовало и то, что в грузинском литературном языке отсутствовали эквиваленты некоторых лексем греческого, сирийского и других языков. Точность перевода требовала многих усилий и изобретательности от переводчиков, которые стремились дать почти дословный, во всяком случае, очень приближенный к тексту оригинала перевод, не нарушая, однако, основных норм литературного языка.

Ефрем Мцире, выдающийся ученый и писатель, внесший огромный вклад в историю развития грузинской литературы, является и основоположником грузинской научной терминологии. Его справедливо называют ученым-энциклопедистом. Тонкий знаток грузинского и греческого языков, Ефрем Мцире оставил множество интереснейших замечаний о грамматических и лексических особенностях грузинского и греческого языков, о взаимоотношении обоих языков и т. д.

Ефрем Мцире сообщает ценнейшие сведения по истории грузинской лексикологии. Так, например, в списке Института рукописей им. К. С. Кекелидзе АН ГССР (А-689, Сборник, XII в.)[1] сохранилось замечание Ефрема Мцире: «kartulad arca eṭlni arian, mgonia, romel arca saxeli meeṭlisaj, amistys berʒuled davçere inioxi» (238 v), «в грузинском языке нет (слова) „колесниц", думаю, что и нет названия водителя колесницы, поэтому я написал греческое (слово) — иниох» (ср. греч. ὁ ἡνίοχος). Переводчик здесь предельно ясно указывает на причину заимствования слова.

Ефрему Мцире принадлежит перевод так называемого «Второго Эфрема»—Аскетического сборника Ефрема Сирина. В рукописи А-1115 (XII в.) сохранилось пространное замечание переводчика, касающееся греческих слов, имеющихся в основном тексте и оставшихся без перевода из-за отсутствия точных грузинских эквивалентов: «ese qeltsakmarta saxelebi zogi berʒuladve davçere, rażams mravaltagan gamoviʒie da zedamiçevnit vervin mitxra, rametu adgilsa da adgilsa sxwaj qeltsakmari akws, da zogi aç arγara ipoebis. amistys dagdebasa anu ṭquvilit daçerasa berʒuladve daçeraj virčie, rametu tyt berʒennica amasve hqopen, romel sxysa kweqanisa naqopsa, romeli saberʒnetsa ara dgas, misve enisa saxelita dasçeren: šakarsa saxarad, qulqas(s)a ḳulḳasad da zapransa zaparad, romelni- ese arabulita enita arian da matsa kweqanasa ikmnebian (293 r) «Названия некоторых этих занятий я написал греческими словами после того, как выяснял у многих, и никто не смог мне точно ответить, потому что разные ремесла суть в разных местах (ареалах), а некоторых из них уже нет. Поэтому, опущению или ошибочному написанию (resp. переводу) предпочел я написать греческими словами, ибо так же поступают и греки, когда плоды чужой страны, которых нет в их стране (т. е. в Греции), обозначают словами того же (т. е. чужого) языка, напр., *сахар*; *египетские бобы*, *шафран*. Слова эти арабские, и имеются (соответствующие плоды) в их стране».

Ефрем Мцире считает, что лексическое заимствование оправдано лишь в том случае, если в родном языке нет точного эквивалента иноязычного слова, и для упрочения своей позиции указывает на пример греческого языка.

В древнейших грузинских переводах книг Ветхого и Нового заветов встречаем разъяснения отдельных еврейских. греческих и других слов[2]:

---

[1] В работе использованы литеры: A, H, S, Q, обозначающие фонды Института рукописей АН ГССР, Кут. для обозначения фонда рукописей Кутаисского государственного музея и Ier, обозначающий фонд грузинских рукописей библиотеки Греческого патриархата в Иерусалиме.

[2] Этих разъяснений нет в других версиях.

romelman hrkwas ʒmasa tyssa: raka, romel ars saʒagel (Мт. 5, 22) «Кто же скажет брату своему: „рака", что означает ненавистный»; ὃς δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ρακα. aγvides mravalni ierusalημd soplebisagan uçinares mis pasekisa, romelsa hrkyan vnebaj (И. 11, 55) «Многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, которое (слово) означает страдание»; Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα. ucinares dγesasçaulisa mis pasekisasa, romel ars vnebaj (И. 13, 1) «Перед праздником Пасхи, которое (слово) означает страдание»: Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα. šoris missa, vitarca xilvaj perisa ilikṭronisaj, romel-igi okroj da vecxli da rvali ertad šednobil arn (Иезек. 1, 4) «А из середины его как бы свет ilikṭron, что состоит из золота, серебра и меди, сплавленных вместе», ср.: καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἠλέκτρου. Издательница грузинского текста Т. К. Цкитишвили специально указывает на то, что предложения romel-igi okroj da vecxli da rvali ertad šednobil arn нет в иноязычных версиях [13, с. 6]. Точно такое же объяснение имеется и в другом случае (Иезек. 1, 27) [13, с. 10].

Ошкская рукопись Библии (978 г.) сохранила древнегрузинские названия месяцев *igrikaj* «апрель» и *vardobaj* «май»: pirvelsa mas dγesa twesa adar da nesesa, romel ars igriḳaj da vardobaj (Есфирь 1, 2) «В первый день месяца Нисана, который и есть igriḳaj и vardobaj»; τῇ μιᾷ τοῦ Νισα.

В синайском многоглаве (864 г.) имеется такая ремарка: keleliel asurta enisagan berʒenta enasa sṭepanos da berʒenta enisagan kartvelta enad gyrgyn (с. 69) «Келелиел с сирийского языка на греческий (переводится) как Степанос, а с греческого на грузинский как венец». В Шатбердском сборнике (973—976 гг.) читаем: romelsa-igi berʒenta hrkyan ṗrasinos, romelsa erkumis kartvelta enita mcwanisper (63 r) «То, что греки называют Прасином, грузинским языком обозначается как mçwanisper (зеленого цвета)». В тексте Удабнойского многоглава (X в.) объясняется греческое слово ἀμυνάτων: ars bunebaj, romel ars aminaṭoni, ubrʒol (53 v) «Есть природа, аминатон, не сопротивляющаяся».

А. Г. Шанидзе установил, что в древнегрузинском языке слово *gonebaj* «разум» обозначало и «совесть» [14, с. 2]. Это подтверждается и лексикографической пометкой, найденной в тексте Ier.-96 (XI в.): daamorčilnes qovelni sulsa da mxilebaj igi synidisisaj, romel ars gonebaj mamxilebeli boroṭtaj (83 r) «Пусть подчинит духу плоть и обличение совести, то есть разум (= совесть) обличитель злых». В другой рукописи XI в. (Ier.-9) указывается: mocamed akws twaluxwavi igi mxilebaj synidisisaj, romeli-igi tanaganmxilvelad gamoitargmanebis (45 r) «Свидетелем оно имеет беспристрастное обличение совести, которая переводится сонаблюдателем» (ср. греч. ἡ συνειδησις). Подобные лексикографические заметки часты в письменных памятниках XI—XII вв.

Интересны те замечания, которые касаются полисемантизма некоторых греческих лексем. Ефрем Мцире неоднократно подчеркивал, что это обстоятельство может легко ввести в заблуждение не только неискушенного, но и многоопытного переводчика. Он считал необходимым, чтобы слова, имеющие различные значения, на грузинский язык передавались адекватно греческому тексту. Так, например, в связи с греческим словом Γνωμα Ефрем Мцире пишет: berʒulad mravalni targmani akws, egretve kartulad sxwebr da sxwebr dasdeben da iqmareben çmidani mamani čwenni eptyme da giorgi mtaçmideli, vitarca adgilsa šeeṭqwebodis, rametu ese mravalta siṭqwata sçirs berʒulad (A-24, XII в. 13 r) «(Это слово) в греческом языке имеет разные значения, и в грузинском языке святые отцы Евфимий и Георгий Святогорец употребляют его в разных значениях соответственно контексту. Это свойство характерно для многих слов». Такое же мнение высказано Ефремом Мцире в связи с греческим словом αἰών «вечность»: šeisçave, vitarmed berʒenta enita mravalgwarad iqmareben saxelsa saukunojsasa çmidata çerilta šina. amistysca me, vita tyt matita enita arian, egret damiçerian siṭqwani ese aç çeriltagan šemoγebulni, rajta scna, vitarmed amat siṭqwata šina qovelgan saukunojsa saxeli ars berʒulad, romeli

çmidata mamata da moʒγwarta kartulisa targmanebisata odesme «sacutrod» utkwams da odesme «soplad» da odesme «žamad», xolo aç saçiro iqo, tyt vita matsa enasa ars, egre çeraj, rajta ara mouzavebel iqos matda targmani mati (48 v) «Слово αἰών в греческом языке в святых книгах имеет множество значений. Поэтому я перевел его так, как это слово употребляется в языке греков. В греческом языке во всех случаях пишется ὁ αἰών, которое святые отцы и мэтры грузинского перевода надлежащим образом переводили то как „непостоянный, преходящий", то как „мир, край", то как „время". Но я поступил иначе: написал так, как это слово употребляется в греческом языке (ныне это необходимо), чтобы перевод непременно был точным».

В грузинском языке слово *suli* употребляется как в значении духа (ср. греч. τὸ πνεῦμα), так и в значении души (ср. греч. ἡ ψυχή). Это создавало определенную трудность в деле интерпретации святых книг. По этому поводу Ефрем Мцире пишет: orsaxe ars berʒulad saxeli sulisaj — psiki, romeli umeṭessa adgilsa samšynvelisa çil dadebul ars pavlesa šina, da ḳwalad — pnewma, romeli-ese tyt tavadisa sulisa arsebasa uçodian da çmidisatys igive itkumis. Xolo kartvelta uγonoebisagan erti saxeli akws sulisaj, amistys aç masve da ertsa orgzis iṭqys (A-217, XII в., 322 г) «Грузинское слово, обозначающее дух, в греческом языке имеет два эквивалента: ψυχή, которое в посланиях Павла преимущественно обозначает душу, сущность самого Духа, и πνεῦμα, которое употребляется в значении Святого (Духа). В грузинском же языке из-за немощи его в обоих случаях имеется одно и то же слово».

Для истории грузинского языка большое значение имеют те наблюдения древнегрузинских писателей, которые касаются исконно грузинских лексем. Очевидно, некоторые слова в XI—XIII вв. грузинскими писателями считались либо архаизмами, либо специфичными для какой-то области деятельности (т. е. принадлежащими к профессиональной лексике), либо диалектизмами и т. д. Естественно, такие слова нуждались в специальных толкованиях.

Богатый материал предоставляет нам Гелатская Библия, которая датируется специалистами XII в. [15, с. 153]. Так, например, здесь даются пояснения относительно слов *ḳoçoli* «коса (волосы)», *vaci* «козел (самец)», *bγlaçi* «льняная пряжа» и др.

Особо следует отметить то обстоятельство, что некоторые из этих слов вообще не нашли отражения в словарях древнегрузинского языка или им приписываются другие значения. В Гелатской Библии слово *vaci* толкуется как «годовалый козленок»: vacisa, ege igi ars çeliçdeulisa ṭiḳnisa, šeçirvaj ameno (Q-1152, 3 г) «vacisa, т. е. «годовалого козленка, жертвоприношение сообщил». Слово *vaci* в словарях Сулхана-Саба Орбелиани и И. В. Абуладзе (как и в других лексикографических работах) поясняется как «козел (самец)», значение же годовалого козленка не учитывается.

В грузинском языке слово *simamr-i* обозначает тестя. Это значение зафиксировано во всех словарях грузинского языка. Лишь в Гелатской Библии недвусмысленно указывается и на другое значение этого слова: simamrad saxel-sdva mas, vitarca ʒmasa meuγlisasa, vitar-igi mravalni açca uçodeben esevitarta saxeldebita amit (Q-1152, 353 г) «Его называет тестем, как шурина (брата жены), как многие ныне называют этим именем таковых (родственников)».

Таким образом выясняется, что в XII в. слово *simamr-i* имело и значение «шурин (брат жены)». Этого и можно было ожидать. В картлийском диалекте (самом близком к литературному языку на протяжении всей истории грузинского языка) термин родства *sidedr-i* «теща» имеет и значение свояченицы (сестры жены). Можно сделать вывод, что грузинские родственные термины *simamri* и *sidedri* раньше имели более широкую семантику, как это предполагает Э. Г. Соселия в ее недавно опубликованной интересной работе [16, с. 101—108]. Данные Гелатской Библии и картлийского диалекта подтверждают правильность этого предположения.

Слово *bγlaç-i* совершенно незнакомо грузинским словарям. В Гелатской Библии сказано: da selisa ksoilsa samoselsa bγlaçad saxel-sdebs «а льняную пряжу называет bγlaç». Это слово по своему характеру относится к специфической области лексики.

К периферийной (профессиональной) лексике относятся также слова *bre* «пленка злаков» и *čelxi* «крупный остаток после обмолота хлеба», которые специально объяснены Ефремом Мцире: bre uçodian umsxylessa mas çulilisa bzisasa da uçulilessa čelxisasa, romeli ver çariγebvis karita, aramed zedamoeqadebis cxrilita (Ier.-9, XI в., 160 r) «bre есть крупнее половы (мякины) и поменьше čelxi, которое не уносится ветром, а снимается решетом». Интересен и тот факт, что оба слова сохранились в основном с изменением значения лишь в некоторых грузинских диалектах.

Некоторые примечания позволяют ясно понять, что в XI—XII вв. часть древнегрузинской лексики рассматривалась как архаическая и нуждалась в специальном пояснении. Так, например, Ефрем Мцире пишет: mrčobl eçodebis orḳecsa, xolo mqis anazdaitsa [17, с. 97] «mrčobl обозначает „двойной", а mqis „внезапный"». Эта помета интересна и тем, что она не только указывает на архаизмы, но и на неологизмы.

Переводчик Гелатской Библии счел нужным обратить внимание читателей на то, что слово *ganvbiçen* «я очистил» является неологизмом (Q-1152, 280 r). Ефрем Мцире подчеркивает, что слово *mdidaraj* «богатая» (искусственная форма с наращением суффикса женского рода -a на основу слова *mdidar-*) создано им, а *čiçnaur-i* принадлежит Евфимию Святогорцу (XI в.): šeiscave mdidaraj axalmopovnebulad dedlad siṭqwad, rametu dedaḳaci ars, momγebeli čičnaurisaj, xolo čiçnauri mamasa eptymes abrešumis saxelad moupovebia (A-1115, XII в., 153 v) «Знай, mdidaraj является новообразованным словом женского рода, которое означает женщину, носящую шелк, а слово čiçnauri отец Евфимий нашел (изобрел) в качестве названия шелка».

Особый интерес вызывает постановка древними учеными вопроса о литературных и диалектных формах. Этому способствовало и то, что в XI—XII вв. в литературный язык вторгся сильный поток живой речи, что вызвало переоценку некоторых литературных норм. То, что раньше считалось нарушением нормы, отражением нелитературной, живой (или диалектной) речи, уже стало нормой. Проникновению форм разговорной речи противились те писатели и ученые, для которых нормы уже отжившего литературного языка оставались святыми. В этой борьбе старого и нового постепенно побеждало новое, литературный язык неуклонно сближался с народным. В победе новых норм решающую роль сыграло то, что лучшие писатели средневековья Евфимий и Георгий Святогорцы, Ефрем Мцире и другие хорошо осознавали необходимость обновления норм грузинского литературного языка и своими произведениями способствовали этому необратимому и, главное, необходимому процессу. Демократизацию литературного языка завершили представители светской литературы, в первую очередь, гениальный поэт Шота Руставели.

Период, охватывающий XI—XII вв., в истории грузинского языка принято считать эпохой отмирания древних норм и зарождения среднегрузинского литературного языка. Естественно, что писатели и ученые именно этой эпохи особенно остро ощущали процесс смешения старых (т. е. литературных) и новых (т. е. диалектных) форм и довольно часто и достаточно резко высказывались по этому вопросу.

Ефрем Мцире считал, что литературный (по его терминологии, *çignuri* «книжный») является прекрасным, совершенным, глубоким. Литературному языку противопоставляется диалектная речь (по терминологии Ефрема: *sopluri* «деревенская») как грубая, простая. Несмотря на то, что эти соображения Ефрема Мцире неверны (мы полагаем, что высказывания Ефрема Мцире отражают мировоззрение и многих его современников), они интересны для истории грузинской научной мысли. Конечно, нельзя упускать из виду огромное влияние на становление и развитие грузинской филологической науки византийской научной мысли.

Конкретные замечания Ефрема Мцире и других писателей, касающиеся отдельных диалектных форм, можно считать едва ли не единственными источниками для изучения грузинской исторической диалектологии.

В рукописи Ier.-15 (XI в.) сохранилась схолия Ефрема Мцире: qurtita cemaj ars; mžiγi mimokcevita tittayta ʒlierad tkivnebisa šemʒlebeli, romelsa soplioni kurž uçodian (21 r) qurtita cemaj «(Бить кулаком) — есть кулак, движением пальцев способный причинить сильную боль, деревенские называют его kurž». Ефрем Мцире считает, что *kurži* «кулак» диалектное слово, оно противопоставляется литературному *qurti*, которое является архаизмом, ибо уже нуждается в объяснении через *mžiγi* (id.). Из этого примечания мы узнаем статус синонимов: *qurti//mžiγi//kurži*.

В древнегрузинском языке слово *medgari*, как правило, обозначает лентяя, ленивого. Ефрем Мцире указывает, что в диалектной речи это слово означало и лицемера, коварного: saxelsa amas medgarsa ori saxe akws: çignurad mconaresa uqmobs medgarsa, xolo soplurad mzakwarsa hkyan medgari tyt kartulsa enasa zeda (A-689, XII в. 43 r) «Слово это medgari имеет два значения: по-книжному medgari обозначает ленивого, а по-деревенскому лицемера». Интересен и тот факт, что в этой же рукописи читаем: romeltame adgilsa medgar mzakwarad gulisqma-iqopebis, uproisγa litonsa saubarsa šina (73 r) «В некоторых местах (Евангелия), преимущественно в простой речи, слово medgari можно понимать как „лицемер“».

К сожалению, нам почти ничего не известно о происхождении многих древнегрузинских писателей и переписчиков. Это является одной из причин того, что трудно, а точнее, невозможно с уверенностью установить источник того или иного диалектизма. В этих условиях ценнейшими оказываются всякие прямые или косвенные сведения, указывающие на происхождение диалектных форм. В завещании рукописи H-1345 (XI—XII вв.), содержащей перевод «Жития Андрея Юродивого», сказано: γmertman uçqis, rajca čemisa umecrebisagan egeboda, kargad kmnasa da simartlesa dia movičirve, magra dedaj odišs daçerili iqo da sitqwasa sçvalebda (201 r — 201 v.) «Да знает Бог, что я очень постарался (насколько позволило мое невежество) сделать хорошо и правдиво, но подлинник был написан в Западной Грузии и заменял слова». Конечно, выражение переписчика «заменять слова» свидетельствует о том, что список, который служил подлинником этого текста, содержал лексические и грамматические формы, характерные для речи Западной Грузии. Имеется здесь и прямое указание на имеретинскую форму (139 v). Переписчик — представитель Восточной Грузии. Это подтверждается и наличием в переписанном им тексте специфических диалектизмов (подробно об этом см. [18, с. 28]). Следует отметить и то, что в этой рукописи впервые в истории грузинского литературного языка засвидетельствовано множество интересных диалектных форм.

В X—XIII вв. ведущее место среди деятелей грузинской культуры занимали представители Южной Грузии (Месхети и Джавахети). Достаточно назвать имена лишь некоторых из них: Басилий Зарзмели, Евфимий и Георгий Святогорцы, Георгий Мцире, Шота Руставели.

В результате определенных исторических причин, в частности, вторжения арабов в VII в. и оккупации большой части Восточной Грузии, политический и культурный центр страны на долгое время переместился в южную Грузию. Естественно, что речь именно этого региона оказала преобладающее влияние на литературный язык VIII—XII вв. Это вызывало известную реакцию представителей иных областей. Так, например, Басилий Сайтури, переписчик Ier.-33 (Сборник, XIII—XIV вв.), в завещании пишет: vgoneb, romel martlad damiçeri ars, garna eseca uçqebul iqavn, romel dedasa šina munkwesve diad eçera da misad nacvalad meqseulad damiçeria da amarzakisa nacvalad mqis da amistys mesxtaca šemindevit, enasa kartveltasa ese ukete moegwarebis (324 r — 324 v) «Думается (мне), что я правильно переписал, но пусть знают все, что в подлиннике очень часто имелось слово munkwesve («немедленно», «сразу»), и я вместо этого слова написал meqseulad (id.), и слово amarzak (id.) заменил я словом

mqis (id.). За это я прошу месхов простить меня, грузинскому языку это (то есть, как я написал) лучше подходит».

Очевидно, что Басилий Сайтури слова *munkwesve* и *amarzaḳ* считал диалектными, в частности, единицами месхской речи, и он заменил их «сугубо грузинскими» формами. За это он извиняется перед месхами. Здесь уместно упомянуть и о том, что в руствелологии спорным считается вопрос о локализации Руставы, колыбели гениального автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Однако Ш. В. Дзидзигури убедительно показал, что языковые особенности поэмы находят интересные параллели именно в месхском диалекте. Наряду с другими сведениями литературного и исторического характера это обстоятельство можно считать наилучшим доказательством того, что поэт происходил именно из месхетского Руставы [19, с. 16—30]. Показательным в этой связи является и упрек Шоте Руставели Теймураза I, который мы встречаем в поэме Арчила (1647—1713) «Беседа Теймураза и Руставели»: šemoiγe ǯavaxuri ena mǯime «Ввел ты (в литературу) тяжелый язык джавахов» (джавахский диалект находится в ближайшем родстве с месхским).

Арсений Икалтоели, по-видимому, уроженец Кахетии [20, с. 41], перевел Догматику. В одном списке последнего произведения (А-205, XIII в.) имеется ремарка: ḳaxuri leksi ḳreč̣aj «кахетинское слово ḳreč̣aj (скалить зубы)». Это замечание ценно и тем, что оно впервые указывает на форму одного из самых крупных диалектов грузинского языка.

Очень интересны случаи стилистической квалификации лексических и грамматических форм. В связи с употреблением формы 1-го лица множественного числа глагола вместо формы единственного числа переводчик делает следующее примечание: ara iṭqys mrçmena, aramed gwrçmenao (Ier.-32, Сборник, XII в.) «Не говорит: верю, а верим».

В древнегрузинском языке *msurs* «хочу, желаю» и *mnebavs* являются синонимами. По мнению некоторых древних писателей, между этими почти абсолютными синонимами существует различие стилистического порядка: ara iṭqys: mnebavs, aramed, romeli — igi usaqwarles ars amissa da mšoblebri, vitarmed: gwsuris (Ier.-6, «Толкование посланий Павла», XI в.) «Не говорит: mnebavs, а gwsuris, которое лучше выражает любовь и родительское тепло».

В рукописи А-52 (Толкование Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна, XI—XII вв.) имеется фраза: cna, agrǯna ukwe iesu (121 v) «Узнал, понял уже Иисус». На полях страницы редактор сделал следующую пометку: cna agrǯnajsa nacvalia. šen, romelica gindes, igica daçere, orive ar unda. «Cna является замещающим agrǯna. Ты напиши то, которое тебе будет угодно. Оба не нужны».

Следует особо выделить часть схолий грузинских переводчиков, касающихся грамматических наблюдений. Переводчики заостряли внимание читателей на явлениях, свойственных греческому языку, но чуждых грузинскому.

Например, в грузинском языке нет грамматической категории рода. Некоторые писатели XI—XII вв. пытались под влиянием греческого искусственно создать формы женского рода и, таким образом, противопоставить формы мужского и женского родов. Особую усердность в этом направлении проявлял Иоанн Петрици. В одном из комментариев к переводу «Метафраса» Иоанна Ксифилина (Кут.-3, XVI в) Петрици указывает: berǯulni siṭqwani qovelni anu dedalni arian, anu mamalni, anu araromelni, saxelta mçodebelni·da akaca dedata enḳraṭista dedlita siṭqyta saxelsdebs: monazonatao, xolo mamata — monazonta (259 r) «Все греческие слова суть мужского, женского или среднего рода. Монахинь называет словом monazona, а монахов словом monazon». Иоанн Петрици, указывая на существование категории рода в греческом, создал грузинскую форму *monazona* «монахиня». Эта попытка, однако, успехом не увенчалась.

Категория артикля характерна для многих языков, в том числе и для греческого, но чужда грузинскому. Обилие переводных памятников способствовало тому, что грузинские местоимения *ese* «этот (в отношении

к 1-му лицу)», *ege* «этот (в отношении ко 2-му лицу)», *igi* «тот» часто употреблялись в тех случаях, где в греческом обычно имеется артикль. Конечно, это являлось результатом влияния греческого языка (следует указать и на то, что имелось существенное функциональное различие между грузинским «артиклем» и греческим [21, с. 131—137]). Особый интерес вызывает и то обстоятельство, что сохранилась обширная схолия анонимного автора XI—XII вв., в которой отрицается существование в грузинском языке артикля (Обстоятельное исследование по этому вопросу подготовила М. А. Шанидзе. Работа находится в печати.)

Обращалось внимание и на то, что в греческом языке топонимы нередко употребляются в форме множественного числа. Ефрем Мцире, подчеркивая это обстоятельство (А-109. Сборник, 23 г), тем самым дает знать, что данное явление не характерно для грузинского языка.

В тексте греческой Библии очень часто употребляется союз καὶ. Историки греческого языка объясняют это явление влиянием семитских языков [22, с. 363]. Такую же картину наблюдаем в текстах грузинских версий Ветхого и Нового Заветов. Однако в этом случае на грузинский язык воздействовал преимущественно греческий. Чрезмерно частое употребление союза *da* «и» было искусственным, что прекрасно осознавалось древнегрузинскими писателями. В частности, об этом писал Георгий Святогорец, который указывал, что он хорошо понимает природу союза *da* «и», однако в то же время предупреждает переписчиков ничего не менять в этом отношении (см. завещание рукописи Псалтыри, XII—XIII вв. [23, с. 027]). Хорошо известно, что всякое изменение библейских текстов (да и не только библейских) считалось недопустимым. В этом духе высказывается и Ефрем Мцире (Ier.-43, Сборник, XII—XIII вв., 3 v).

Известно, что в древнегреческом союз καὶ употреблялся и в гипотаксических конструкциях, связывая главное и подчиненное предложения. На последнюю особенность греческого союза и его грузинского эквивалента имеется прямое указание в рукописи Ier.-22 (Толкование Евангелия от Марка и Луки, XII—XIII вв.): rametu čweulebaj ars çeriltaj, rajta don-ansa iqmarebdes nacvalad rametujsa, vitar-igi iṭqodis raj: «da amao ars cxorebaj ḳacisaj» nacvalad amissa: «rametu amao ars cxorebaj ḳacisaj»; da ḳwalad: «šen ganhrisxen da čwen vcodet» nacvalad amissa: «rametu čwen vcodet» «Особенностью Писания является то, что da („и") употребляется вместо rametu („потому, так как, ибо"). Так, например, говорится „и тщетна жизнь человеческая", вместо „ибо тщетна жизнь человеческая"; или: „ты разгневался, и мы согрешили", вместо: „ты разгневался, ибо мы согрешили"». Аналогичное суждение встречаем и в рукописи А-52 (Толкование Евангелия, XII в., 67 v).

В XI—XII вв. многое было сделано в области дальнейшей нормализации литературного языка. Ефремом Мцире была проведена коренная реформа грузинской пунктуации [24, с. 33; ср. 25, с. 114—145]. Крупным вкладом явилось создание им же лексикографического труда — словаря неясных слов Толкования Псалтыри. Эта интересная работа издана М. А. Шанидзе [17]. Ее значение в развитии грузинской грамматической мысли уже неоднократно подчеркивалось исследователями [17, с. 117—122; 26, с. 217—218].

В последнее время у нас усилился интерес к истории отечественной лингвистической мысли. Об этом свидетельствует появление в свет коллективной монографии «История лингвистических учений» (Л., т. I, 1980; т. II, 1981). Богатый и ценнейший в этом отношении материал проанализирован в книгах Л. С. Ковтун [27—29]. Работ о раннем периоде истории грузинской лингвистической мысли, к сожалению, пока почти нет. Цель настоящей статьи скромна — показать лишь некоторые моменты филологической деятельности древнегрузинских писателей и ученых.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Марр Н. Я.* Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925.
2. *Шанидзе А. Г.* Грамматика древнегрузинского языка. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
3. *Имнаишвили И. В.* Историческая хрестоматия грузинского языка. т. I. Ч. II. Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).

4. *Цагарели А.* О грамматической литературе грузинского языка. СПб., 1873.
5. *Джавахишвили И. А.* Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. Тбилиси, 1937 (на груз. яз.).
6. *Каухчишвили С. Г.* Взгляды Ефрема Мцире по вопросам грамматики: Тезисы докладов сессии Отд. общ. наук АН ГССР, Тбилиси, 1945.
7. *Чинчаладзе М. И.* Преподавание грузинского наречия в школе. Тбилиси, 1955 (на груз. яз.).
8. *Сарджвеладзе З. А.* Вопросы истории грузинского литературного языка. Тбилиси, 1975 (на груз. яз.).
9. *Антоний I.* Грузинская грамматика. Тбилиси, 1885 (на груз. яз.).
10. *Brosset M.* L'Art liberal. Paris, 1834.
11. *Schjegren A.* Liter. Anz. St. Peter. Zeitung, 1838, № 27.
12. *Поцхишвили А. П.* Из истории грузинской грамматической мысли. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.).
13. *Цкитишвили Т. К.* Древнегрузинские версии кн. Иезекииля. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
14. *Шанидзе А. Г.* Немного из истории грузинского языка.— Литература да хеловнеба, 1949, 12 июня (на груз. яз.).
15. *Гигинейшвили Б. К., Киквидзе Ц. В.* Перевод Библии эпохи Руставели.— В кн.: Шота Руставели (Историко-филологические разыскания). Тбилиси, 1966 (на груз. яз.).
16. *Соселия Э. Г.* Анализ системы терминов родства (по материалам картвельских языков). Тбилиси, 1979.
17. *Ефрем Мцире.* Толкование псалтыря. Изд. Шанидзе М. А.— В кн.: Тр. каф. древнегрузинского языка ТГУ. 11. Тбилиси, 1968 (на груз. яз.).
18. *Сарджвеладзе З. А.* Значение древнегрузинских письменных памятников для исторической диалектологии грузинского языка. Мравалтави, VIII. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
19. *Дзидзигури Ш. В.* Наследие языка грузинских классиков. Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).
20. *Лолашвили И. А.* Арсен Икалтоели (Жизнь и деятельность). Тбилиси, 1977 (на груз. яз.).
21. *Мартиросов А. Г.* О категории определенности и неопределенности имени в древнегрузинском.— В кн.: Арнольду Степановичу Чикобава (Сборник, посвященный 80-летию со дня рождения). Тбилиси, 1979 (на груз. яз.).
22. *Blass F./Debrunner A.* Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen, 1976.
23. Псалтирь. Изд. Шанидзе М. А. Тбилиси, 1960 (на груз. яз.).
24. *Каджая Л. Р.* Разделительные знаки в древнегрузинских рукописях (VII—X вв.).— В кн.: Палеографические разыскания. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
25. *Джавахишвили И. А.* Грузинская палеография. Тбилиси, 1949 (на груз. яз.).
26. *Глонти А. А.* Основы грузинской лексикографии. Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).
27. *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.— Л., 1963.
28. *Ковтун Л. С.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII вв. Л., 1975.
29. *Ковтун Л. С.* Древние словари как источник русской исторической лексикографии. Л., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

ПУМПЯНСКИЙ А. Л.

О ПРИНЦИПЕ ЯЗЫКОВОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ

Акад. П. Н. Федосеев отмечает актуальность философского обобщения данных естественных наук в эпоху научно-технической революции. В основу подобного обобщения должны быть положены законы и категории марксистской философии [1, с. 148—149].

В итоге многолетнего исследования языка естественных наук (химии, физики, биологии, математики, кибернетики), исходя из марксистского положения о диалектической связи языка и мышления и социальной обусловленности языка, мы пришли к выводу, что исключительно важной проблемой, связывающей общественные и естественные науки, является проблема многозначности языковых единиц. В решении этой проблемы заинтересованы как лингвисты, так и кибернетики, ибо «при отсутствии правильного методологического подхода к вопросам взаимоотношения наук бурные успехи в одной отрасли науки могут породить тенденции, не только не способствующие развитию других отраслей, но даже тормозящие их» [1, с. 139].

От решения проблемы языковой многозначности в значительной мере зависит ответ на важный социальный и мировоззренческий вопрос: какое место занимает человек в такой сложнейшей системе, как «природа, человек и техника»?

С позиций современного марксистского языкознания «язык и мышление образуют такое диалектически противоречивое единство, в котором язык, при определяющей роли мышления, представляет собой относительно самостоятельное явление, в свою очередь оказывающее определенное обратное воздействие на мышление» [2, с. 3]. Существует мышление в чувственно-наглядных образах, являющихся результатом непосредственного воздействия на мышление объектов действительности и не обязательно сопряженных со знаковой репрезентацией, и мышление абстрактное, обобщенное, осуществляемое в логических формах, в виде понятий, осуществляемых посредством знаков того или другого рода [3, с. 48—49]. Язык возникает и функционирует двояко: как средство осуществления абстрактного, обобщенного мышления и как средство общения [3, с. 104—105].

В языке различаются две стороны — материальная и идеальная. Первая сторона воспринимается чувственно и представлена системой звуков, различные сочетания которых материально оформляют языковые единицы. Некоторые языковеды склонны считать, что письменный текст, электрические импульсы. электромагнитные волны и перфокарты являются материальной стороной языка, поскольку они материальны и передают ту же семантическую информацию, что и звучащая речь. Фактически «...являясь вторичными субститутами естественного языка, все искусственные знаковые системы, включая письмо, кодируются в различные неязыковые материальные субстанции и декодируются из них только благодаря существованию их естественного субстрата, языковой знак которого — звучание — является их языковой материальной стороной» [4, с. 57].

Вторая, идеальная сторона языковых единиц представлена их значениями, которые существуют в сознании человека: «...идеальная сторона билатеральных языковых единиц, имея ту же онтологическую природу, что и содержание абстрактного, обобщенного мышления, формируется в связи с отражением объективной действительности, является образом (в гносеологическом смысле)» [3, с. 79].

Абстрактное, обобщенное языковое мышление дает возможность синтезировать, концентрировать в каждой звуковой материальной единице в обобщенном виде много разных значений. Подобная диалектическая

связь между двумя сторонами языка была впервые обоснована марксистской диалектикой. В. И. Ленин отмечал: «Всякое слово (речь) уже *обобщает*... Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее» [5, с. 246].

Это высказывание В. И. Ленина подтверждается действием в языке и мышлении принципа языковой многозначности, согласно которому каждая фонетическая единица языка потенциально способна опосредованно воплотить много разных значений, одно из которых конкретизируется в процессе речевого общения при помощи лингвистических и экстралингвистических «лимитаторов». Материальную, фонетическую единицу языка, воплощающую не менее двух любых языковых значений, целесообразно обобщенно именовать «омофоном» (одно звучание разных значений) [6, 7].

Языковая многозначность — омофония — существует с незапамятных времен и прослеживается в качестве важнейшего качественного и количественного принципа языка и мышления на протяжении многих тысячелетий. О ней свидетельствуют данные таких древних языков, как шумерский, ассирийский, персидский, китайский, тангутский [8—10]. Анализ письменных знаков, передававших в этих языках фонетическое звучание языковых единиц (фонетических логограмм), свидетельствует, что почти все они были омофонами [8, с. 122]. В шумерском языке омофон [kur] означал «земля», «страна», «гора». в древнеегипетском языке омофон [х — п— р] означал глагол «быть» и существительное «жук-скарабей», омофон [м — н — х] имел значения «папирус», «юноша», «воск» [8, с. 196] и т. д. и т. п. Естественно, что языковая многозначность была хорошо известна древним грекам. В «Илиаде» Гомера (песнь XX, строфы 248—249) читаем:

> Гибок язык человека, речей для него изобильно
> Всяких; поле для слов и туда и сюда беспредельно [11].

Аристотель постулирует: поскольку количество слов — ограничено, а число вещей (предметов) — не ограничено, неизбежно, что одно и то же слово наделено многими значениями [12, с. 536]. Этот диалектический постулат принадлежит к самым замечательным достижениям древних греков [9]. Постулат Аристотеля о неизбежности языковой многозначности (омофонии) был знаком арабским ученым X—XI веков н. э. Они тоже утверждали, что в языке количество значений не соответствует количеству слов, ибо значения (смыслы) не ограничены, а слова ограничены, поскольку они строятся из ограниченного по своей природе количества звуков [10, с. 65].

Причиной языковой многозначности является многосторонность объектов действительности, о чем говорил В. И. Ленин, разъясняя принципиальное отличие марксистской диалектической логики от формальной логики [13]. С тех пор лингвисты показали на конкретном материале разных языков, что богатство языка находится в прямой зависимости от степени развития в нем многозначности языковых единиц (омофонии). Р. А. Будагов пишет: «Многозначность слова естественных языков народов мира — это одна из важнейших особенностей их лексики, одна из важнейших особенностей человеческого языка вообще. Именно поэтому следует говорить о законе многозначности слова, о законе лексической полисемии» [14, с. 123].

Знаменательно, что абсолютное большинство людей практически не ощущает в своем языке многозначности (омофонии). Это свидетельствует об абстрактности, обобщенности человеческого мышления, о способности человека конкретизировать из омофонов то единственное значение, которое ему необходимо для речевой коммуникации. Мы, в частности, отмечали, что англичане воспринимают исключительно многозначный глагол *to involve* как явление, характерное для английской научной и технической литературы во всей его многогранности и простоте [15, 1965, с. 27].

С изобретением человеком письма действие принципа языковой многозначности (омофонии) было распространено также на графические субституты фонетических систем [4, с. 57]. Каждая графическая единица оказалась потенциально способной опосредованно символизировать много раз-

ных звуков, один из которых конкретизируется в процессе речевого общения при помощи лингвистических и экстралингвистических лимитаторов.

Графическую единицу языка, символизирующую не менее двух любых фонем, целесообразно обобщенно именовать «омографом» (одно графическое обозначение разных звучаний). Графическая многозначность (омография) исторически присуща всем языкам и количественно возрастает при изменении фонетических систем (произношения), сопровождаясь «переосмыслением» старого правописания [4, с. 51—53]. Так, например, резкое изменение английского вокализма в XV—XVI вв. привело к тому, что 5 гласных букв английского алфавита, символизируют сейчас 22 гласных звука.

Благодаря абстрактному, обобщенному мышлению омография в родном языке практически не ощущается, и, в частности, англичане при помощи графико-фонетических лимитаторов выявляют необходимое для процесса общения, конкретное звучание многозначного омографа [16].

И тем не менее, языковая многозначность воспринимается многими как неестественное, не соответствующее законам развития природы, сугубо отрицательное явление. Свыше тысячи лет многие ученые стремятся подчинить язык и мышление формально-логическому закону симметрии, господствующему, по их мнению, в природе во всех ее проявлениях. Возведя этот принцип в абсолют, не допускающий исключений, они настойчиво ратуют за изъятие из языка и речи омофонии и омографии как нарушающих общую симметрию, природную гармонию мира. Они стремятся искусственно внедрить формальное, взаимно однозначное, симметричное соответствие в языке между звучанием и значением, между написанием и звучанием.

Еще в XII в. было предложено ввести в исландский язык однозначные графические правила по принципу звук — буква. Был пересмотрен исландский алфавит, созданный на основе латинского, и предложено, в частности, ввести вместо 5 гласных букв 18 в соответствии со звуками, представленными в исландском языке. В середине XV в. делались попытки реформировать французское правописание. С тех пор зафиксировано большое количество аналогичных предложений. Бернард Шоу завещал большую сумму денег для ликвидации многозначности английской орфографии. В Китае много лет говорили и писали о неминуемой реформе китайской орфографии, а потом оказалось, что в ликбезах крестьяне осваивали китайскую грамоту за несколько месяцев. Около двадцати лет назад в нашей стране много шума вызвала инициатива по «упорядочению» русского правописания. Начались споры, как следует писать — *заец* или *заиц*. Все указанные попытки свести к однозначности орфографические нормы старописьменных языков оказались бесплодными.

В XVII—XVIII вв. предлагались различные проекты однозначных искусственных языков. Считалось, что искусственный язык должен иметь лишь о д и н способ спряжения, склонения и построения слова [17]. В XIX в. создаются однозначные международные языки (интерлингва). Один из них поддерживал Лев Толстой («волапюк»), другой — Бодуэн де Куртенэ («эсперанто»). Все эти языки оказались малоэффективными.

Начиная с 40-х гг. XX в. представители естественных наук требуют покончить с многозначностью всех научных и технических терминов и создать однозначную терминологию на логической, «научной» основе [18]. Сама жизнь доказала неправомерность подобных теорий [19].

Последний и самый мощный «удар» по многозначности был нанесен языку кибернетиками, которые начиная с 50-х гг. XX в. обещают создать «искусственный интеллект» и осуществить полноценный автоматический перевод научных и технических текстов. Для достижения этих целей кибернетики рассматривают язык так, как будто все слова в нем однозначны. Поскольку многозначные языковые единицы не поддаются чисто количественной формализации, кибернетики просто «упрощают» и «огрубляют» язык [20]. Даже располагая мощной техникой, за 30 лет интенсивных усилий кибернетики не смогли преодолеть языковую многозначность. Полноценный автоматический машинный перевод оказался утопией, а утвержде

ния о его достоинствах и перспективах — плодом безответственной рекламы. До сих пор остаются в полной силе известные высказывания таких ученых, как А. Эттингер, И. Бар-Хиллел. Еще в 1963 г. А. Эттингер отметил, что рекламные заявления прессы и безответственных ученых лишены основания, а И. Бар-Хиллел указал на полную бесперспективность полноценного машинного перевода, о возможностях которого идет такое количество необузданной болтовни, что невольно приходишь в ужас, а во многих случаях в полное замешательство [21, с. 7]. То же относится и к реальности создания кибернетического «искусственного интеллекта» [4, с. 46—48; 22]. И все же существует мнение, что возможно и необходимо строить «интеллектуальные системы», которые смогут давать решения, «качество которых будет не хуже, а иногда и лучше по сравнению со средним естественным интеллектом» [23, с. 35]. Изложив сомнения специалистов в реальности работ по инженерной лингвистике в этом направлении и их предложение повременить, Р. Г. Пиотровский утверждает, что «...такое предложение решительно отвергается современной наукой. Социальный заказ на построение систем ИИ, включая системы МП, с восточных языков, а также сложные ИПС с лингвистическим обеспечением, настолько важен, что его выполнение нельзя отодвигать на неопределенный срок» [23, с. 35].

В передаче по ЦТ (12 марта 1981 г., 18.00—18.30) акад. В. М. Глушков заявил, что кибернетиками выполняется социальный заказ нашего общества — обеспечить к концу этого столетия создание промышленных роботов с искусственным интеллектом среднего человека. Это, по утверждению В. М. Глушкова, необходимо обществу, так как в ближайшем будущем все граждане будут иметь высшее образование и не захотят быть рабочими. Но уже 31 июля 1981 г. главный редактор журнала «Коммунист» Р. Косолапов в статье «Атакующий класс», опубликованной газетой «Правда», разъяснил: «Наивно и аполитично выглядят позаимствованные из писаний западных футурологов псевдосоциологические схемы, согласно которым социальная структура будущего общества изображается абсолютно лишенной трудящейся массы, в виде комбинации заменивших ее „умных“ роботов и их господ — „яйцеголовых“ интеллектуалов. В подобных схемах... марксистско-ленинский классовый подход подменяется технократическим, а вместо универсально развитой массовой социалистической демократии преподносится главенство немногих академически зрелых специалистов, некоей научно-технической „элиты“».

П. Н. Федосеев неоднократно отмечал необоснованность претензий кибернетиков решать вопросы за другие науки [1, с. 143; 24]. Утверждения о том, что менее чем за два десятилетия будет разработано действующее лингвистическое обеспечение мифического «среднего естественного интеллекта»— очередная бесплодная попытка преодолеть многозначность языковых форм [15, 1981, с. 333].

Безуспешность описанных попыток преодолеть языковую многозначность и особенно несостоятельность тридцатилетней атаки на многозначность со стороны кибернетиков наглядно доказала их лингвистическую бесперспективность.

Сейчас уже нет никакого сомнения, что именно многозначность языковых форм позволяет человеку применять в процессе общения ограниченное количество языковых средств для выражения неограниченного количества значений (смыслов), сообщать и понимать не только известные, но и зарождающиеся, еще неизвестные мысли. Многозначность лежит в основе непрерывного совершенствования языка и не только не мешает, а, наоборот, помогает общению людей, является непременным условием развития и совершенствования языка и мышления. Абстрактное, обобщающее человеческое мышление, способное в единичном воспринимать общее, а в общем единичное, обладает уникальной способностью выбирать из многозначности тот однозначный вариант языковой единицы, который необходим в каждом конкретном случае процесса коммуникации. Способный к однозначному восприятию многозначных языковых единиц уникальный мозг человека можно уподобить архигигантской ЭВМ, несоизмеримой по своему качеству и количественным масштабам со всеми ЭВМ всех гряду-

щих «поколений». Ни одна ЭВМ, построенная на формализованном количественном принципе двоичных сигналов (кодов) («или» — «или», 1—0) «искусственного интеллекта», никогда не сможет обеспечить расшифровку сложнейшей многозначности естественных языков [4, с. 46—48].

Отсюда следует, что древние греки, воспринимавшие гибкость, беспредельность и неизбежность многозначности слова диалектически в единстве с однозначностью, оказались значительно прозорливее многих своих потомков [11, 12].

Наступило время вернуться к позитивному восприятию языковой многозначности и квалифицировать ее как величайшее достижение эволюции человечества. Поскольку марксистское языкознание исследует всеобщие законы развития языка в диалектическом единстве с мышлением, исходя из социальной обусловленности языка, а марксистская философия изучает всеобщие законы развития природы, общества и мышления, языковую многозначность целесообразно рассматривать в лингвофилософском плане, с учетом отражения законов и категорий марксистской диалектики. Подобное рассмотрение позволяет исследовать взаимосвязь между материальной стороной языка (звуковой оболочкой) и идеальной стороной языка (значениями), а также между фонетической и графической системами языка. Появляется возможность обосновать универсальный принцип языковой многозначности (омофонии и омографии).

Подобное лингвофилософское восприятие многозначности обусловливает новый методологический подход к ее изучению. Мы разграничиваем такие аспекты многозначности, как диахронный и синхронный, монолингвистический и билингвистический [4, с. 3]. В отношении научной и технической литературы основополагающее значение имеет принципиальное разграничение в синхронном плане монолингвистической (внутриязыковой) и билингвистической (межъязыковой) многозначности. В пределах одного языка синхронная многозначность практически не ощущается. Совсем иначе обстоит дело с билингвистической многозначностью. Для полноценного понимания научной и технической мысли на иностранном языке и эквивалентного перевода научной и технической литературы необходимо учитывать многозначность в пределах двух языков на всех языковых уровнях. Детальное исследование билингвистической многозначности научной и технической литературы, выявление и описание билингвистических эквивалентов в соответствующих языках внесет значимый вклад в современное языкознание и позволит преодолеть кризис в машинном переводе научной и технической литературы [15, 1981, с. 334].

Лингвофилософское понимание языка характерно для ученых, изучающих язык в плане соотношения языка и мышления. Первая лингвофилософская школа зародилась в конце XVII в. в аббатстве Пор Рояль. Ее создатели А. Арно, П. Николь, Д. Лансело, опираясь на учение Аристотеля о трехчленности суждения (логический субъект, связка, логический предикат), взгляды Декарта и рукописи Паскаля, рассмотрели соотношение языка [в книге «Искусство говорить» (Грамматика)] и мышления [в книге «Искусство мыслить» (Логика)] [25, см. «Приложение»].

В 1848 г. продолжатель этой школы А. Вейль (Франция) положил начало лингвофилософской концепции актуального членения предложения [21, с. 32—39; 15, с. 324]. В 1963 г. советский лингвист и философ В. З. Панфилов предложил теорию логико-грамматического членения предложения [26]. В свое время Институт языкознания АН СССР именовался Институтом языка и мышления. События, произошедшие в языкознании в начале 50-х гг., временно отодвинули изучение взаимоотношения языка и мышления на второй план. Однако в 1957 г. была опубликована монография «Мышление и язык», а в 60-х гг. состоялась оживленная дискуссия по этой проблеме, материалы которой были изданы в 1967 г. в коллективной монографии «Язык и мышление» [27]. В 1971 г. В. З. Панфилов публикует книгу «Взаимоотношение языка и мышления» [2], а в 1977 г. «Философские проблемы языкознания» [3]. Значительный вклад в исследование соотношения языка и мышления внесли также О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, Д. П. Горский, С. Д. Кацнельсон,

Г. В. Колшанский, А. Г. Спиркин, Г. В. Степанов, А. В. Федоров, П. Н. Федосеев, Ф. П. Филин, П. В. Чесноков. Работы советских языковедов, философов и логиков показали, что современное марксистское языкознание является разделом филологии, это «наука о естественных человеческих языках в их реальном, исторически обусловленном существовании и развитии, в их неразрывной связи с мышлением, это наука о важнейшем средстве человеческого общения и передаче от поколения к поколению культурно-исторических традиций данного общества» [28].

В основу марксистского языкознания легли лингвофилософские взгляды о языке и мышлении, высказанные К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они, в частности, писали: «... язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [29, с. 29] и «...ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства..., они — только *проявления* действительной жизни» [29, с. 449].

Диалектическому, лингвофилософскому пониманию языка и мышления противостоит чисто лингвистическая трактовка языка современными «структуралистами» разных направлений, опирающимися в большей или меньшей степени на теорию Ф. де Соссюра о языке как знаковой системе, изложенную в его посмертно опубликованном (1916) «Курсе общей лингвистики» [30].

Понятие «языковая система» в лингвистике существовало давно. Ф. Энгельс, не употребляя слово «система» применительно к языку, прекрасно сознавал, что в каждую эпоху язык выступает как целостное явление. Системное понимание языка было также у Бодуэна де Куртенэ. Первым лингвистом, специально отметившим, что язык представляет собой систему, был Ф. де Соссюр. По мнению многих лингвистов, теория Ф. де Соссюра ознаменовала поворотный пункт в лингвистике XX в.

Однако провозгласив, что язык является системой, Ф. де Соссюр избрал не более сложный — диалектический, а более простой — формально-логический метод ее описания. Воспитанный на знаменитом формально-логическом принципе «tertium non datur», Ф. де Соссюр рассматривал все дихотомии в системе языка с позиций формальной логики («или» — «или») и выбирал один вариант, представлявшийся ему более четким и логичным. В результате этого произвольного выбора Соссюр наложил на описанную им систему языка целый ряд жестких ограничений. В строгом соответствии с формальной логикой система языка оказалась закрытой (замкнутой), статичной, симметричной, синхронной.

Не знающая диалектических противоречий, чисто лингвистическая, замкнутая система, предложенная Соссюром, показалась многим лингвистам чрезвычайно перспективной для структурных исследований языка, что предопределило быстрые «успехи» структурной лингвистики и ее применение к искусственным языкам. Представилась возможность легко описывать эту однозначную систему (структуру), препарировать ограниченные, по определению, языковые факты и быстро получать якобы бесспорные и перспективные результаты без необходимости проверки и подтверждения их реального соответствия языку и мышлению. Соссюровские ограничения системы языка как бы приравняли науку о языке к естественным наукам — математике, физике, кибернетике. Это послужило основанием к привлечению для анализа языковой системы количественных математических, «математизированных», структуралистических и статистических методов. Началась структурная «диссекция» текстов, лишенных семантической осмысленности [31—34]. За образец «научности» начали выдаваться работы, смоделированные по образцу естественных наук. Лингвистические исследования запестрели законами физики, теоремами и формулами математики, принципами дополнительности, относительности, вероятности.

Как всегда бывает при чрезмерном упрощении подхода к языку и мышлению (ср. психологическое направление Г. Габеленца и Г. Штейнталя [21, с. 27—32]), через некоторое время выявились существенные недостатки

соссюровского понимания системы языка. Конкретные языковые факты показали, что в языке не все закономерное системно и не все системное закономерно [35, с. 8; ср. также с. 22—23]. Многие ученые перестали исследовать язык как целостную систему и перешли на изучение языковых подсистем [36]. Появилось новое понятие: «антисистема» языка.

Лежащие в антисистеме естественных языков противоречия и являются, пишет Ф. П. Филин, «главным препятствием в решении таких задач, как свободный машинный перевод..., создание так называемого „искусственного интеллекта"... и многие другие задачи кибернетики» [37].

На материале научной и технической литературы разных языков выявлено и подробно описано много «антисистемных» языковых фактов на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях, в том числе и в первую очередь факты монолингвистической, билингвистической, синхронной и диахронной многозначности на всех уровнях [ср. 4, 15, 19, 21, 25]: факт распада правила «согласования времен» в английском языке [15], факт нелинейного логико-грамматического распределения информации в предложении и наличия «третьего» порядка слов в аналитических языках [15, 21, 25].

Следует отметить, что антисистемные языковые факты наблюдаются исключительно в пределах соссюровской системы языка и вступают в резкое противоречие не с живой, объективной реальностью естественных языков, а с игнорирующими языковую многозначность построениями кибернетиков.

Рассмотренный нами материал показал историческое противоборство двух подходов к языковой многозначности — диалектического и формально-логического. Как указывал В. И. Ленин, «... практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения» [5, с. 198].

Аристотель выявил в логике диалектическое начало — многозначность языковых единиц — и обосновал три закона формальной логики: тождества, непротиворечия и исключенного третьего. Накопление эмпирических фактов непрерывно требовало их логического осмысления, что привело к закреплению в сознании людей законов формальной логики. При этом особое внимание всегда обращалось и обращается на соблюдение закона тождества, согласно которому один и тот же предмет не мыслится как два различных предмета [2, с. 88]. Эта однозначность определяется в логике как важнейшее условие ясности, определенности мышления. Основы формальной логики уже давно закладывались в сознании людей. Постепенно они приобрели аксиоматический характер. Ф. де Соссюр не упоминает о законах формальной логики, но несомненно, что он исходил из них при решении этого вопроса.

Однако закон тождества не имеет абсолютного характера и может нарушаться в естественных языках из-за присущей им многозначности [2, с. 89], в том числе, по нашим данным, и графической многозначности [4, с. 52].

Абсолютизацией сферы действия закона тождества, прочностью этого предрассудка и объясняется лингвистическая несостоятельность попыток «подогнать» языковые закономерности под законы формальной логики.

Марксистская философия отнюдь не отрицает ценности формальной логики, но подчеркивает ее философскую ограниченность. Если законы формальной логики фиксируют моменты покоя (статика), прерывности (синхрония), то законы диалектической логики фиксируют движение, изменение (динамика), непрерывность (диахрония) в единстве с моментом покоя, прерывностью [38]. Отмечая ограниченность законов формальной логики — тождества, непротиворечия и исключенного третьего,—Ф. Энгельс показал, что наряду с безусловным, пригодным повсюду принципом «или» — «или» формальной логики, диалектическая логика оперирует также и принципом «как то, так и другое» и опосредствует противоположности [39, с. 526 —528]. В. И. Ленин в этой связи писал: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи

и „опосредствования". Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостерегает нас от ошибок и от омертвения» [13].

Итак, для того, чтобы действительно познать язык, охватить, изучить все его стороны, все связи, все «опосредствования», во избежание ошибок при изучении языковой системы надо использовать не только принцип формальной логики «или» — «или», tertium non datur, но и принцип диалектической логики: «как то, так и другое». Тогда, учитывая двухтысячелетний опыт развития языкознания, можно прийти к пониманию системы языка как открытой (незамкнутой), одновременно однозначной и многозначной, синхронной и диахронной, симметричной и асимметричной, статичной и динамичной.

В таком случае все явления, связанные с «антисистемой», органически впишутся в диалектическое понимание языка как системы в рамках современного марксистского языкознания и найдут свое объективное отражение во всех проявлениях языковой жизни общества, его истории и культуры, его мышления на всех стадиях развития человечества, в его научном и техническом прогрессе, будут способствовать разработке полноценного машинного перевода и определят пределы осуществления «искусственного интеллекта».

Сейчас же надо признать неоспоримый факт существования у нас двух разных наук о языке, обусловленных различным пониманием его системы. Разумно согласиться с предложением А. С. Чикобава: «На наш взгляд, следует различать науку о реальных (естественных) языках и науку о формализованных языках, прикладное значение которой неуклонно возрастает. Эта наука отлична не только по предмету изучения, но и по методам, которые ею используются: инженерная (кибернетическая) лингвистика — самостоятельная негуманитарная наука» [40]. «Без правильного понимания роли и места отдельных наук в общей системе современных знаний,— подчеркивает П. Н. Федосеев,— без точного уяснения принципов, на основе которых разные науки объединяются друг с другом и соотносятся с другими отраслями знания, нельзя избежать многих серьезных трудностей, столкновений и тяжелых отрицательных последствий» [1, с. 138]. По предложению О. С. Ахмановой, науку об искусственных языках следует именовать интерлингвистикой [28]. Основной задачей этой науки является семиотическое изучение вопросов, связанных с созданием и функционированием однозначных вспомогательных языков — эсперанто, волапюк, интерлингва, математических языков-посредников, информационно-логических языков и вспомогательных кодов для машинного перевода и «искусственного интеллекта», обеспечиваемых «инженерной лингвистикой».

Принципиальное различие между языкознанием и интерлингвистикой заключается в том, что языкознание изучает открытую, многозначную систему естественных языков, а интерлингвистика — закрытую, однозначную систему искусственных языков. Языкознание опирается в своих исследованиях на диалектическую логику, интерлингвистика — на формальную логику: «... математические, логические, кибернетические обобщения не могут решать такие проблемы, как проблема субъекта и объекта, человека и природы, природы и общества, теории и практики и целый ряд общеметодологических проблем, которыми занимаются именно философия, диалектический и исторический материализм» [1, с. 148].

Благодаря своему уникальному и универсальному качеству — открытости и многозначности — язык человека способствует формированию однозначных, закрытых (замкнутых) систем естественных наук, гарантирующих их «точность» в пределах обобщений, допускаемых каждой конкретной наукой, и синтеза эмпирических фактов в исследуемой области знаний. Без наличия у человека открытой и многозначной системы языка не могли бы возникнуть и развиться ни математика, ни физика, ни кибернетика. Кроме того, формально-логический аппарат естественных наук не только является плодом языковой системы, но способен развиваться и творить великую научно-техническую революцию только потому, что его создатели непрерывно развивают этот аппарат на основе все той же откры-

той, многозначной лингвофилософской системы, обусловленной взаимодействием языка и мышления в процессе социальной (исторической, культурной) эволюции человечества. Ибо, как отмечал К. Э. Циолковский, точному расчету предшествует фантазия.

«Большой круг вопросов возникает на стыке кибернетических исследований. Речь идет прежде всего о философском осмыслении новых принципов и понятий, внесенных в науку кибернетикой»,— пишет П. Н. Федосеев [1, с. 156]. Мы надеемся, что этому осмыслению будут способствовать как изложенные нами соображения, так и рассмотрение принципа языковой многозначности с учетом асимметрии материальной и идеальной сторон языка, механизма переосмысления значений при передаче новых мыслей и снятия многозначности в конкретных актах речевого общения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Федосеев П. Н.* Коммунизм и философия. 2-е изд. М., 1971.
2. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
3. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
4. *Пумпянский А. Л.* К вопросу о материальной стороне языка.— ВЯ, 1980, № 3.
5. *Ленин В. И.* Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29.
6. *Richter E.* Über Homonymie. Beiträge zur Griechischen und Lateinischen Sprachforschung. Wien — Leipzig — New York, 1926.
7. *Karcevskij S.* Du dualisme asymmétrique du signe linguistique.— TCLP, 1929, № 1.
8. *Истрин В. А.* Развитие письма. М., 1961.
9. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
10. История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
11. *Гомер.* Илиада. М., 1978.
12. *Аристотель* Соч. Т. 2. М., 1976.
13. *Ленин В. И.* Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина.— Полн. собр. соч., т. 42, с. 289—290.
14. *Будагов Р. А.* Человек и его язык. М., 1974.
15. *Пумпянский А. Л.* Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык. М., 1965 (2-е доп. изд., М., 1981).
16. *Пумпянский А. Л.* Английский литературный язык (связь произношения и правописания). М., 1963.
17. *Дрезен Э.* В поисках всеобщего языка. М.— Л., 1925, с. 26.
18. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970.
19. *Пумпянский А. Л.* Лексические закономерности научной и технической литературы. Англо-русские эквиваленты. Калинин, 1980.
20. *Ветров А. А.* Методологические проблемы современной лингвистики. М., 1973, с. 39.
21. *Пумпянский А. Л.* Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе. М., 1974.
22. *Брушлинский А. В.* Почему невозможен искусственный интеллект.— ВФ, 1979, № 2, с. 60.
23. *Пиотровский Р. Г.* Лингвистические аспекты «искусственного разума».— ВЯ, 1981, № 3.
24. *Федосеев П. Н.* Философия и современное научное знание.— ВФ, 1961, № 7, с. 19.
25. *Пумпянский А. Л.* Грамматические закономерности научной и технической литературы. Англо-русские эквиваленты. Калинин, 1982.
26. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика (грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения). М.— Л., 1963.
27. Язык и мышление. М., 1967.
28. *Ахманова О. С., Александрова О. В.* Некоторые теоретические проблемы советского языкознания.— ВЯ, 1980, № 6, с. 24.
29. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— Соч. 2-е изд., т. 3.
30. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
31. *Филин Ф. П.* К проблеме социальной обусловленности языка.— ВЯ, 1966, № 4.
32. *Адмони В. Г.* Языкознание на переломе?— ИЯШ, 1968, № 3.
33. *Ахманова О. С.* Естественный человеческий язык как объект научного исследования? — ИЯШ, 1979, № 2.
34. *Филин Ф. П.* О специальных теориях в языкознании.— ВЯ, 1978, № 2.
35. *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке. М., 1980.
36. *Успенский Б. А.* Отношение подсистем в языке и связанные с ними универсалии.— ВЯ, 1968, № 6.
37. *Филин Ф. П.* Противоречия в развитии языка.— ВЯ, 1980, № 2, с. 19.
38. *Шугайлин А. В.* К вопросу о соотношении традиционной, математической и диалектической логик.— В кн.: Актуальные проблемы диалектической логики. М., 1981, с. 48.
39. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20.
40. *Чикобава Арн.* Историзм и лингвистика.— ВЯ, 1980, № 6, с. 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Васильев Л. М. **Семантика русского глагола.**— М.: Высшая школа, 1981. 184 с.

Рецензируемая книга Л. М. Васильева отличается от многих семантических исследований прежде всего тем, что изучаемый языковой материал представлен здесь не ограниченным числом единиц, групп, классов, а цельным массивом лексики, извлеченной из семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» и четырехтомного «Словаря русского языка» АН СССР. «Семантика русского глагола» Л. М. Васильева — итог многолетних и неоднократно апробированных разысканий ученого, конечной целью которых, как можно думать, является полное описание глагольных лексем русского языка. В рецензируемой публикации Л. М. Васильев обобщает свои наблюдения над десятью классами русского глагола, представляющими обширное и весьма сложное по своей структуре семантическое поле психической деятельности человека.

Вводя читателя в круг исследуемой проблематики (с. 4—15), автор подчеркивает непреходящую значимость семасиологических идей традиционного отечественного и зарубежного языкознания. Называя современное языкознание структурной (системной) лингвистикой — отметим существенность заключенного в скобки уточнения,— автор присоединяется к точке зрения Ф. П. Филина и не считает правомерным противопоставлять структурную и традиционную лингвистику и соответственно — структурную и традиционную семантику.

В теоретической части рецензируемой книги (с. 15—42) дается краткая характеристика идей и понятий современной лингвистической семантики, рассматриваются принципы классификации глагольной лексики. Языковое значение (семему), основную единицу семантики, автор определяет как психологическую сущность, что, как известно, соответствует ленинской теории отражения. Типы значений (семем) характеризуются их функциями и их структурой. В плане выражения различаются эксплицитные и имплицитные компоненты значения, последние «выявляются лишь в лексико-семантических парадигмах, через лексико-семантические оппозиции и через контекст» (с. 22). По типу отношений компоненты значения могут быть синтагматическими и парадигматическими, а по характеру отношений выделяются доминирующие и зависимые компоненты. По своей функции компоненты значения подразделяются на идентифицирующие и дифференцирующие, при этом в разных семантических парадигмах один и тот же компонент может иметь разные функции. Так, компонент «быстро» является дифференцирующим по отношению к *говорить — разговаривать—произносить — тараторить — мямлить* и идентифицирующим по отношению к *тараторить — мчаться — нестись*.

Вторым по важности (после семемы) автор считает понятие семантической синтагмы. Будучи основными единицами семантической системы языка, «и значения (семемы), и семантические синтагмы связаны друг с другом более или менее регулярными семантическими оппозициями по тем или иным их структурным компонентам» (с. 31—32).

Оппозитивный метод служит теоретическим основанием как семантической классификации, так и конкретного анализа языкового материала исследования, однако характеристика оппозиций дана в книге лишь в самом общем виде, без должной детализации, без систематизации тех типов отношений (оппозиции по семам каузативности — некаузативности, бытийности — становления, целенаправленности — нецеленаправленности, результативности — нерезультативности и др.), которые последовательно рассматриваются при описании состава и границ глагольных классов.

Объектом своего исследования Л. М. Васильев считает не только собственно глагольные лексемы, но и их функциональные эквиваленты: сочетания типа *принимать участие в чем-л.*, *обращать внимание на что-л.* и т. п., фразеологические сращения и единства типа *втереть очки кому-л.*, *набить руку на чем-л.* и т. п., глагольные перифразы типа *становиться глухим*, *лишаться слуха* и т. п. Это решение ученого является вполне обоснованным и, на наш взгляд, единственно правильным. Без функциональных эквивалентов невозможно было бы дать адекватное описание семантических парадигм, групп, классов, неизбежны были бы лакуны, обусловливающие искаженное или даже превратное представление о системных отношениях лексических единиц.

Характеристика глаголов психической деятельности дается в соответствии с числом выделенных классов в десяти различных по объему параграфах (с. 43—168). Систематизируя громадный и, под-

черкнем, практически неадаптируемый материал толковых словарей, автор последовательно стремится провести четкие границы анализируемых глагольных классов и вместе с тем показать смысловую и структурную скрепленность семантического поля глаголов психической деятельности. Степень близости между выделенными классами различна. Наиболее тесные отношения отмечаются между семью классами, связанными с областью чувств [глаголы ощущения, глаголы желания, глаголы восприятия, глаголы внимания, глаголы психического (эмоционального) состояния, глаголы эмоционального переживания, глаголы эмоционального отношения], и тремя последними, связанными с областью мысли (глаголы мышления, глаголы знания, глаголы памяти).

Принципы и приемы описания глагольной лексики целесообразно рассмотреть на примере характеристики первых трех классов.

Глаголы ощущения, обозначающие отражение в сознании биологически обусловленных сигналов о внутреннем состоянии организма, подразделяются автором на целый ряд групп и подгрупп. В составе семантических парадигм с исходными глаголами *ощущать*, *болеть*, *зудеть*, *мерзнуть* и др. единицы класса противопоставлены друг другу по семам бытийности — становления (*болеть — разбаливаться*), некаузативности — каузативности (*мерзнуть — морозить*) и др. Однако эти оппозиции не являются регулярными. Автор обнаруживает примечательное явление: в русском языке нет глаголов со значением становления ощущения, но много глаголов со значением «терять на время чувствительность» (*неметь*, *онемевать*, *цепенеть*, *оцепеневать*, *каменеть*, *костенеть*, *окостеневать*, *коченеть*, *мертветь*, *отекать*, *затекать*, *деревенеть*, *застывать*, *леденеть* и др.).

Семантическая взаимосвязанность глаголов ощущения и глаголов желания проявляется в том, что они «могут быть истолкованы посредством родового по отношению к ним слова *ощущать*: *болеть* — ,,ощущать боль", *хотеть* — ,,ощущать внутреннюю потребность в чем-л." и т. д.» (с. 52). Однако в отличие от первых,— отмечает автор,— глаголы желания (*хотеть*, *желать*, *иметь охоту* и др.) содержат в своей семантике сему посессивности. Есть и другие отличия: глаголы желания сочетаются с инфинитивом, для них продуктивен лишь усилительный префикс *раз-* (*рас-*): *разохотиться*, *разохотить* и т. д.

Класс глаголов восприятия подразделяется на пять подклассов: глаголы с общим значением восприятия, глаголы слухового восприятия, глаголы обоняния и глаголы осязания. Глаголы первого подкласса, будучи нейтральными к оппозиции по конкретным орудийным семам восприятия, могут употребляться вместо глаголов остальных подклассов (*воспринимать*, *замечать* — предметы, звуки, запахи, вкус). Глаголы восприятия тесно примыкают к глаголам внимания (четвертый класс). Однако, как остроумно показывает автор, это семантическое сближение, сигнализируемое наречием *внимательно*, отмечается лишь у глаголов целенаправленного активного восприятия: можно *внимательно наблюдать*, *следить*, *слушать*, *смотреть* и т. д., но нельзя *внимательно чувствовать*, *замечать*, *видеть*, *слышать*, *мыслить* и т. д.

В *общих выводах работы* (с. 168—184) сформулированы теоретические положения, убедительно подтверждающиеся наблюдениями автора над изученным семантическим полем глагольной лексики и дающие новое освещение смежным языковым явлениям. Системные отношения глаголов психической деятельности,—заключает автор,— скрепляются эквиполентными оппозициями по разнообразным семантическим признакам. Необходимо, однако, иметь в виду, что эти оппозиции охватывают, как правило, не весь словарный состав класса, кроме того, лишь две из них (оппозиции по семам положительной — отрицательной модальности и каузативности — некаузативности) представлены в десяти классах, одна (оппозиция по семам бытийности — становления) отмечается в девяти классах, другие оппозиции свойственны обычно четырем-пяти классам. Это означает, что оппозитивный метод, будучи надежным инструментом семантического анализа, обнаруживает не только системность, но и асимметричность, нерегулярность лексических отношений.

Уделяя большое внимание формальным свойствам глаголов психической деятельности, Л. М. Васильев приходит к выводу о том, что они крайне неоднородны и только в своей совокупности, включающей связи и отношения с глагольными перифразами, могут служить показателем существенных семантических различий между глаголами. Так, например, глаголы эмоционального состояния синонимически могут замещаться тремя перифразами: а) *быть в состоянии грусти* (*печали*, *тревоги*, *страха*...); б) *чувствовать* (*испытывать*) *грусть* (*печаль*, *тревогу*, *страх*...); в) *проявлять* (*выражать*) *грусть* (*печаль*, *тревогу*, *страх*...), тогда как глаголы эмоционального отношения допускают замену лишь двумя последними: «можно, скажем, *испытывать и проявлять уважение*, но нельзя *быть в состоянии уважения*, равно как можно *относиться к кому-л. с уважением*, но нельзя *относиться к кому-л. с грустью*» (с. 177).

Глаголы психической деятельности, образующие вполне автономное семантическое поле, многими своими сторонами перекрещиваются и переплетаются с целым рядом других семантических полей. На конкретных примерах автор показывает их тесное семантическое взаимодействие с глаголами поведения, с глаголами речи, с глаголами звучания, с глаголами цветообозначения, с глаголами физического действия и воздействия и др. «Семантические классы слов (большие и малые),— считает Л. М. Васильев,— чаще всего накладываются друг на друга, перекрещиваются и взаимодействуют друг с другом. Замкнутых семантических

классов слов (лексических полей)..., вопреки мнению Й. Трира и его единомышленников, очень мало» (с. 183).

В заключение отметим некоторые недочеты рецензируемой книги.

В описательной части исследования конкретные наблюдения и обобщающие выводы автора не сопоставлены с суждениями других ученых. Это объясняется, по-видимому, прежде всего практической неизученностью материала, впервые вводимого в научное обращение, однако полная отстраненность от литературы предмета, принципиальный отказ от анализа определений значения глаголов в толковых словарях не способствует объективной оценке аргументированности и перспективности предлагаемых решений и доказываемых положений.

Многочисленные примеры, приводимые автором, дают четкое представление о составе и классификации глаголов психической деятельности, но в книге, к сожалению, нет ни алфавитного списка, ни систематизированных указателей анализируемых глагольных лексем. Этот недочет, компенсируемый отчасти отсылкой автора к его предшествующей публикации (см. с. 5), представляется существенным не только потому, что он осложняет восприятие языкового материала, но и потому, что он может каким-то образом повлиять на использование результатов анализа в работах других исследователей.

Функциональная нагрузка лексических единиц не может, естественно, полностью учитываться в собственно семантическом анализе. Этот аспект является предметом грамматических наблюдений, которые могут дополнить или скорректировать выводы семасиолога. Рассматривая исследование Л. М. Васильева в этом плане, нельзя не обратить внимания, например, на то, что среди возвратных глаголов со значением «представляться» (с. 131—132) теряется не выделенный особо глагол *казаться — показаться*, активность употребления которого не идет ни в какое сравнение со всеми другими глаголами группы, а его безличная форма (*Мне казалось, показалось, что...*) не называется в следующем разделе (с. 132—137), где анализируются единицы со значением «полагать». В составе глаголов желания основная функциональная нагрузка падает на форму *хотеть* и ее безличный вариант *хотеться*. Если учитывать это обстоятельство, то не вполне убедительным представится заключение автора о том, что глаголы желания, в отличие от многих других семантических классов, почти не сочетаются с приставками начинательного значения. Безличная доминантная форма данного класса (*захотелось*) выражает это значение с несомненной грамматической регулярностью.

Отмеченные недочеты имеют частный характер и не затрагивают ни общей концепции, ни основных положений рецензируемой книги. Дальнейшее исследование семантики русского глагола, анализ смысловой структуры имен, изучение закономерностей лексической системы русского языка может дополнить и уточнить наблюдения ученого, но в этих последующих разысканиях не могут не учитываться как обобщающие выводы, так и конкретные результаты рассмотренной работы.

Книга Л. М. Васильева, адресованная специалистам различного профиля и открывающая новое направление лексикологических исследований, дает отчетливое представление об основных идеях современной лингвистической семантики и, безусловно, будет способствовать их дальнейшему развитию.

Чернов В. И.

Сказания о начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и комментарии Флори Б. Н. Отв. ред. Королюк В. Д.— М.: Наука, 1981. 200 с.

Проблематика древней общеславянской и древнерусской письменности разрабатывается у нас все еще очень мало. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть имена в книге И. Е. Можаевой [1]. В этой книге показан вклад ученых разных стран: мы видим широту исследований и многообразие публикаций ученых Болгарии и менее десятка имен советских исследователей, не по единственной случайной статье оказавшихся в этой библиографии. Поэтому первая реакция на книгу Б. Н. Флори — это глубокая благодарность исследователю, взявшему на себя нелегкий труд подготовки к печати рецензируемой книги.

В книгу вошли три главные произведения, освещающие создание славянской письменности: Житие Константина (ЖК), Житие Мефодия (ЖМ) и Сказание Черноризца Храбра о письменах (СОП) (с. 71—104). В приложениях II и III приведены Послание (Булла) епископа Адриана и отрывок из Буллы 880 г. папы Иоанна VIII (с. 196—197). Тексты изданы по главным их спискам, находящимся в трех хранилищах СССР (ЖК—ГБЛ, ф. 173, МДА, № 19, XV в; ЖМ — по Успенскому сборнику, ГИМ, Синод., № 1063, XII—XIII вв., Б. Н. Флоря датирует его XII в.; СОП — ГБЛ, ф. 173, МДА, № 145, XV в. и ГПБ, Соловец., № 913, XVII в.), но даны в литературном переводе на современный русский язык, что делает тексты доступными и читателю-неспециалисту. Выделены все исправления текста (курсивом), пояснения переводчика (круглыми скобками) и дополнения по другим спискам (выделены квадратными скобками). Это повышает значимость издаваемых текстов и для специалистов. Каждый издаваемый текст сопровожден разносторонним комментарием, ценность которого трудно преувеличить (с. 105—189). На-

чинается книга принадлежащим также Б. Н. Флоре научным введением: «Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха» (с. 5—69). Разные части книги содержат обширную библиографию.

Происхождение славянской письменности Б. Н. Флоря методологически правильно рассматривает в качестве объективного фактора, связанного с процессами классообразования и формирования феодальной государственности на славянских территориях. В новых государствах складывались институты управления, которые имели многообразные и сложные функции, в том числе связанные с составлением письменных актов на понятном славянскому населению языке. К числу такого рода коммуникационных задач принадлежала и проблема церковной литературы, возникшая после принятия христианства в VIII—IX вв. некоторыми славянскими странами.

Древнейшим произведением, в котором прямо говорится, что с принятием христианства были предприняты попытки создания славянского письма, является Сказание о письменах древнеболгарского писателя конца IX — начала X в. Храбра (Черноризца Храбра). В трактовке создания совершенной системы письма, построенной в середине IX в. с учетом особенностей славянского языка, Б. Н. Флоря исходит из известного положения, что эта система письма возникла «не в славянских странах, а в Византии, и ее создателями были дети „друнгария" из Солуни-Фессалоники Константин и Мефодий» (с. 7). Автор строго следует за канвой житий Константина и Мефодия — источников, которые содержат сведения об их жизни и деятельности.

Б. Н. Флоря четко проводит мысль о том, что создание славянского письма было проявлением широких политических планов византийского государства и церкви IX в. Константин при содействии Мефодия начал работу над славянским письмом по поручению византийских правительственных кругов. Скорейшему ее завершению способствовало прибытие в Константинополь посольства из Великой Моравии с просьбой прислать епископа и учителя, который мог бы объяснить моравам на их родном языке положения христианского учения. Следует согласиться с выводом автора, «что если решение поручить Константину создать письмо для славян и было принято правительством, то быстрое и успешное его выполнение было личной заслугой Константина, отнесшегося к порученному ему делу с гораздо большим воодушевлением, чем сами инициаторы этого предприятия» (с. 21).

Автор правильно характеризует события, связанные с зарождением славянского письма, как в определенной степени случайные, но однако бывшие проявлением необходимости, обусловленной процессами формирования феодальных государственных институтов на славянских территориях. Конкретно это проявилось в поддержке, которую оказал делу Константина и Мефодия моравский князь Ростислав в условиях противодействия братьям со стороны немецкого духовенства.

Б. Н. Флоря подробно останавливается и на положении в католическом мире середины IX в., обстоятельно обосновывая, что основное расхождение солунских братьев с немецкими миссионерами состояло в том, что Константин и Мефодий перевели на славянский язык основные церковнослужебные книги, в первую очередь — Евангелие, а также Апостол и, может быть, Паремейник. Это противоречило установке католической церкви о праве ознакомления с указанными текстами только клира, народ же должен был знакомиться с содержанием основных церковных книг из уст священников, а самостоятельно мог читать лишь второстепенные произведения. Поэтому только эти последние переводились немецким духовенством на местные языки (старонемецкий, старославянский латинскими буквами и пр.), а основные религиозные произведения излагались на латыни, недоступной народу. Автор приходит к правильному выводу, что перевод славянскими первоучителями таких сложных произведений, как Евангелие и др., означал «не просто возникновение литературного языка средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом тексте оригиналов как результат многовекового литературного развития» (с. 33).

Б. Н. Флоря объясняет политической гибкостью солунских братьев их переход в подчинение к папе римскому; подробно рассказывает об отношении папства к делу Константина и Мефодия. Автор раскрывает взаимоотношения между Мефодием и княжеской верхушкой после смерти Константина в 869 г. Он тщательно анализирует апологетику славянского языка как равного греческому и латыни, представленную в Житии Константина, а также раскрывает содержание отраженных в нем теологических взглядов.

Серьезное внимание уделяет исследователь атрибуции Жития Константина. Из-за недостатка фактических данных он не склонен вставать ни на одну из наиболее вероятных точек зрения по этому вопросу — считать автором произведения Климента Охридского или Мефодия с учениками. Внимательно анализирует Б. Н. Флоря, опираясь на источники и историографию, вопросы, связанные со смертью Мефодия, написанием его Жития, атрибуцией этого памятника. Автор рецензируемой книги повествует о горькой участи, постигшей учеников Мефодия в Моравии после его смерти. Интересно рассказывается в книге об их последующей плодотворной деятельности в Болгарии по распространению славянского письма и достигнутых ими успехах в литературной и церковной деятельности. Тщательно освещается вопрос о культурном перевороте, происшедшем в Болгарии на рубеже IX и X вв., который «привел к окончательному сложению славянского варианта византийского круга европейской средневековой культуры» (с. 54). Автор заинтересованно рассказывает о константино-мефоди-

евских традициях в других славянских странах, в том числе на Руси.

Далее Б. Н. Флоря подробно останавливается на историографии Сказания о письменах Храбра и результатах изучения источников о происхождении славянского письма. Автор знакомит с дискуссией по этой проблеме, которая долгие годы ведется между учеными в разных странах, и в качестве первого и важнейшего итога называет «точное установление того факта, что Константин-Кирилл создал именно глаголическую азбуку» (с. 58). Такой вывод решает важный вопрос о назначении сочинения Храбра. Древнеболгарский автор защищал в нем глаголическую азбуку, против которой выступали не греки, как считали некоторые ученые, а образованные представители болгарской знати и болгарского духовенства, приверженные к записи родной речи греческими буквами. «Болгарские оппоненты Храбра не отказались от своей мысли положить в основу алфавита греческое письмо, но под влиянием его критики проделали значительную работу по приспособлению этого письма к особенностям славянского языка. Греческий алфавит был дополнен теми буквами принесенной из Моравии азбуки, которые передавали специфические для славянского языка звуки, при этом был введен ряд новых графем для передачи звуков, характерных именно для болгарских говоров, и опущены те графемы глаголической азбуки, которые отражали характерные особенности западнославянских говоров Паннонии и Моравии» (с. 61). Так выглядит процесс кристаллизации кириллицы, происходивший самое позднее на рубеже IX и X вв. в Первом Болгарском царстве, в свете современных научных данных, которые скрупулезно обобщает в своей работе Б. Н. Флоря.

Советский автор в отдельных случаях не соглашается с мнениями зарубежных коллег. Так, отмечая важность конкретных наблюдений Й. Влашка над художественной формой Сказания о письменах, Б. Н. Флоря аргументированно отвергает основной тезис чехословацкого исследователя о том, что первоначальный текст Храбра был стихотворным, но затем его переработали без учета его метрической структуры.

Большую научную ценность представляют подробные комментарии к трем публикуемым славянским памятникам. Сообщаемые сведения фактического и библиографического характера вводят читателя в круг важных и увлекательных данных, которые с живописной силой дополняют систематическое изложение проблемы происхождения славянского письма, представленное во вступительной статье.

Б. Н. Флоря останавливается на существенном для правильного понимания происхождения славянского письма вопросе — о стиле мышления Константина-Кирилла, но, к сожалению, разрабатывает его все же с недостаточной полнотой. Так, среди части ученых, занимающихся кирилло-мефодиевской проблематикой, распространено ошибочное убеждение в том, будто бы интерес к филологии у славянских учителей шел в ущерб точным наукам. У Б. Н. Флори указанное неверное отношение выразилось в утверждении, что «точными науками Константин не интересовался» (с. 12). Может быть, этим объясняется то, что в книге не обсуждается нумерационный принцип построения глаголицы. Как известно, вопрос о том, что глаголица изначально была задумана устроенной по нумерационному принципу, разрабатывался такими видными учеными, как Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой. Они считали, что первые девять букв глаголического алфавита играли роль единиц, следующие девять — десятков, идущие далее девять — сотен, остальные девять — тысяч. Получалось в первоначальной глаголице 36 букв, порядок которых определялся цифровой системой [2—4].

В Сказании о письменах Храбра говорится о 38 буквах. Как отмечает Б. Н. Флоря, по мнению ряда исследователей (Ф. Мареш, В. А. Мошин и др.), тот состав глаголической азбуки, каким его трактует Храбр, сложился позднее, в последнем десятилетии IX в. Подтверждением того, что первоначально в алфавите было 36 букв, в частности, служит Азбучная молитва древнеболгарского писателя Константина Преславского (с. 178).

Чтобы прийти к мысли о нумерационном принципе построения азбуки, Константин-Кирилл должен был обладать знаниями по основной части математики того времени — арифметике, в которую нумерация входила в качестве самостоятельного действия. Это обстоятельство Б. Н. Флоря недооценивает. Однако, отмечая, что одним из учителей Константина был Лев Математик, Б. Н. Флоря правильно обращает внимание на то, что указанный факт прошел мимо внимания исследователей. Из этого следует необходимость пересмотра существующего взгляда о чисто гуманитарном стиле мышления Константина.

Это подтверждается текстом Жития Константина, где перечисляются предметы, которые Константин изучал под руководством учителей: «И в 3 месяца овладел всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии, и у Льва, и у Фотия диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям» (с. 73). Комментируя это место, Б. Н. Флоря считает, что «Гомеру и геометрии Константин учился у Льва, а всем остальным наукам — уже у Фотия» (с. 109).

Итак, Житие Константина содержит данные о его знакомстве с арифметикой, геометрией и астрономией. Более того, в нем есть сведения о том, что методы этих наук он ценил и использовал в своей деятельности.

Один такой пример содержит XIII глава Жития Константина, где говорится о прочтении им пророческой надписи на чаше из драгоценного камня в соборе Софии в Константинополе (с. 86). Над-

пись содержала число 909[1]. Константин произвел расчет и установил, что это число является пророческой датой рождения Христа: «Рассчитал же тонко Философ и нашел: от двенадцатого года правления Соломона до (наступления) царства Христова девять сот и девять лет. И это — пророчество о Христе» (с. 86).

Одной филологической подготовки, которая была необходима для расшифровки еврейских и самаритянских письмен на чаше, было недостаточно для правильного их истолкования как пророческих о Христе. Для этого надо было разбираться в библейской исторической хронологии, требующей умения точно производить довольно трудоемкие математические подсчеты. Людей, знавших семитские языки не хуже Константина, было и до него в столице Византии немало, однако надписи «никто не мог ни прочесть, ни перевести» (с. 86). Все дело, думается, заключалось в том, что Константин в отличие от филологически образованных людей своего времени владел богатыми знаниями о календаре и умел хорошо оперировать цифрами. Это и позволило ему решить трудную хронологическую задачу, которая не поддавалась другим.

Второй пример содержится в XVII главе Жития Константина. Здесь говорится, что когда Константин находился в Риме, то к нему обращались люди как к ученому и мудрому человеку и просили объяснить различные сложные вопросы. Приходили и поспорить с ним по проблемам религии. «Еврей же некий также приходил и спорил с ним, и сказал ему однажды: „По расчету лет не пришел еще Христос, о котором говорят книги и пророки, что родится от девы". Философ же, рассчитав ему все годы от Адама по поколениям, показал ему со всей тонкостью, что (уже) пришел, и сколько лет прошло с того времени до этой поры, и, научив его, отпустил» (с. 91).

Для убеждения оппонента в том, что он заблуждается, Константину необходимы были знания об иудейской и христианской календарных системах, данных о хронологии ветхозаветной и евангельской истории и твердое умение в сложном счете.

Есть в VI главе Жития Константина фрагмент, содержание которого косвенно подтверждает высокое место естественных наук в представлении Философа. В нем повествуется о религиозном диспуте между Константином и арабами. При этом агиограф в качестве показателя значительного интеллектуального развития последних, наряду с другими факторами, указывает на их знакомство с геометрией и астрономией: «Агаряне, люди умные и начитанные, наученные геометрии, и астрономии, и другим учениям» (с. 75). Такой позитивный подход автора Жития к естественным наукам мог быть обусловлен аналогичным отношением к ним Константина.

Думается, что приведенные данные существенно дополняют представление о Константине как только «чистом» гуманитарии. Житие говорит о том, что он был одним из образованнейших людей своего времени, имевшим не только блестящую филологическую подготовку, но и выдающиеся знания и навыки в области естественных наук, главным образом, в арифметике — основе его хронологических достижений. Поэтому Константин вполне мог оценить как положительное качество нумерационный принцип, по которому были построены некоторые существовавшие в его время алфавиты, например, армянский и грузинский и применить его в глаголице. Не исключено, что Константин самостоятельно пришел к идее о нумерационном построении новой славянской азбуки. Это согласуется с его стилем мышления, сформировавшимся под определенным влиянием точных наук.

В работе Б. Н. Флори встречаются мелкие погрешности, которые не влияют на общую высокую оценку его труда, но оставляют досадное впечатление. Так, на с. 124 числа 909 и 989 названы *цифрами*.

На с. 180 говорится: «Обращение к Мюнхенскому абецедарию показывает, что здесь между „д" и „w" помещен знак...». Однако в действительности порядок указанных букв в Мюнхенском абецедарии обратный.

Противоречиво изложен вопрос о монашестве Константина. Комментируя заключительную главу его Жития, Б. Н. Флоря перечисляет три существующие точки зрения по этому вопросу: 1) Константин перед смертью принял схиму, т. е. до этого был монахом; 2) он стал монахом с принятием имени Кирилла только на смертном одре; 3) Константин перед смертью добавил к своему имени имя своего святого патрона Кирилла (с. 141). Отсюда следует, что вопрос — был ли до своей кончины Константин монахом или светским лицом — остается неясным. Поэтому вызывают недоумение замечания, что Константин был монахом уже во время своей миссии в Халифат и Хазарию (с. 17) и позже, когда византийское правительство направило его в Великую Моравию вместе с братом Мефодием (с. 195).

Недостатком книги, по нашему мнению, является отсутствие оригинальных текстов житий и Сказания Черноризца Храбра, которые даются только в воспроизведении на современный русский язык. Публикация оригиналов посильными графическими средствами (гражданский шрифт с добавлением необходимых знаков) придала бы законченный вид этой весьма полезной книге, наряду с переводами и ценными комментариями, представленными в ней.

Нельзя не отметить странное оформление титульных листов книги (редактор издательства Л. И. Тормозова): на третьей полосе, где должна быть фамилия Б. Н. Флори — исследователя, пере-

[1] Вероятно, это число в сохранившихся списках жития Константина является искажением более подходящего по смыслу числа 989, возникшим из-за неверного прочтения цифры И = 8 как союза «и», см. с. 124 рецензируемой книги.

водчика и издателя текстов житий и Сказания Храбра (напомним, что сами тексты занимают всего лишь 33 страницы книги, т. е. 1/6 ее листажа!) — неудачно размещены с титулами семь фамилий членов редколлегии серии «Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы», которые должны бы находиться под этим названием именно серии, т. е. на второй полосе книги. В результате рецензируемый компонент серии остался без автора-исполнителя, а имена семи редакторов серии оторваны от ее заголовка.

Но в целом книга Сказания о начале славянской письменности является прекрасным образцом для последующих трудов названной серии, подготавливаемой Институтом славяноведения и балканистики АН СССР и выпускаемой издательством «Наука».

По образному определению акад. Д. С. Лихачева, хорошая книга «не закрывает тему», а «намечает пути для движения научной мысли». К такого рода ценным для развития советской славистики трудам принадлежит и рецензируемая книга Б. Н. Флори. Нет сомнения, что она привлечет к себе внимание историков, литературоведов, лингвистов, а также широкий круг читателей, интересующихся истоками письменной и духовной культуры своей Родины. Не удивительно поэтому, что изданная тиражом 30 000 экз., она сразу же стала библиографической редкостью.

Жуковская Л. П., Симонов Р. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Можаева И. Е.* Библиография по кирилло-мефодиевско проблематике. 1945—1974 гг. М., 1980.
2. *Дурново Н. Н.* Мысли и предложения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов.— Byzantino-slavica, 1929, т. I, с. 83.
3. *Дурново Н. М.* Мюнхенский абецедарий.— Известия АН СССР, Отдел гуманитарных наук, 1930, сер. VII, № 3, с. 221.
4. *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik, Schrift-, Laut- und Formensystem.— Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophische-historische Klasse, Sitzungsberichte, 1954, Bd. 228, 4. Abhdl., S. 15—23.

Памятники московской деловой письменности XVIII в. Изд. подгот. Сумкина А. И. под ред. Коткова С. И.— М.: Наука, 1981. 318 с.

Лингвистическая общественность как у нас в стране, так и за рубежом высоко ценит и встречает с большим удовлетворением каждое новое издание памятников письменности по истории русского языка, подготовленное в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка под руководством С. И. Коткова в Институте русского языка АН СССР. Появление каждого нового издания как для специалистов-филологов, так и для всех тех, кому не безразлично прошлое своей Родины, судьба родного языка, — явление чрезвычайно приятное. Вышла в свет еще одна публикация — «Памятники московской деловой письменности XVIII века»,— которая «дает наглядное представление о различных сторонах жизни населения Москвы XVIII в.» (с. 2).

В истории русского литературного языка XVIII веку принадлежит особая роль — это период формирования общенационального русского языка и его норм. Именно в XVIII в. происходит формирование норм современного словоупотребления, сопровождающееся интенсивным (подчас необычайно сложным и противоречивым) процессом развития всей языковой системы этого времени. В недавно вышедшей монографии «Истоки и судьбы русского литературного языка», освещающей проблемы становления национального русского языка, Ф. П. Филин пишет: «XVIII век справедливо называется переломным в истории русского языка. О нем имеется уже обширная лингвистическая литература... Но написанное о языке этого века — только начало его изучения. Подавляющее большинство письменных произведений и документов XVIII в. в языковом отношении остается еще не обследованным [1]. «Поэтому первой, насущной задачей в области исторической лексикологии русского языка XVIII в.,— замечает Ю. С. Сорокин,— является всемерное расширение круга изучаемых источников» [2]. Ср. также высказывание В. В. Иванова: «...издание... памятников и их изучение может привести и уже приводит к пересмотру определенных устоявшихся представлений об истории тех или иных явлений в русском языке» [3]. Вот почему уже само по себе опубликование «Памятников Московской деловой письменности XVIII века» представляет для лингвистов большую ценность.

Рецензируемая книга состоит из введения (с. 3—10), публикации текстов (с. 13—203), указателя слов (с. 204—265), указателей собственных имен: личных имен (с. 266—279), географических названий (с. 279—281) и фотокопий некоторых публикуемых текстов, представляющих все группы источников.

Во Введении дается детальная характеристика опубликованных материалов, которые представляют почти все десятилетия XVIII в., подробно характеризуются особенности их содержания, выявляется значение опубликованных источников для разработки проблемы формирования русского литературного языка и изучения самых разнообразных вопросов его истории.

В публикации представлены пять групп источников: 1) Письма жителей Москвы (№№ 1—120); 2) Сказки жителей Москвы об имущественном состоянии, торговле и прочем (№№ 121—181); 3) Допросы мастеровых людей московской суконной фабрики (№№ 182—204); 4) Допросы, ответы и ведомости служащих московских учреждений о пожаре 29 мая 1737 г. (№№ 205—254); 5) Челобитные жителей Москвы (№№ 255—300); 6) Фрагменты судебных дел (№№ 301—302).

Таким образом, рецензируемое издание содержит более трехсот текстов, ранее не опубликованных. По своим языковым характеристикам опубликованные материалы делятся на две группы: группа источников, связанная с эпистолярным жанром,— материалы бытового и делового письма (письма Куракиных, Голициных, М. М. Щербатова, А. Д. Меньшикова) и группа источников собственно деловой письменности.

Основной характерный признак образования национального литературного языка, его лексической системы — глубокое взаимодействие систем письменного и разговорного языка, органическое сближение ранее обособленных и отчетливо противопоставленных генетических пластов лексического запаса.

Именно с этой точки зрения чрезвычайно важна рассматриваемая нами публикация памятников. «В сравнении с другими материалами,— указывается во Введении,— эта группа источников в большей мере соотносится с разговорной речью. В письмах содержится как бы непосредственное обращение к собеседнику, сообщается о делах и событиях самого различного свойства, находят яркое отражение чувства и переживания писавших» (с. 3). Для изучения устной разновидности литературного языка наибольшую ценность, как отмечается во Введении, представляют «собственноручные письма (автографы) лиц, о которых известно, что по рождению и жизни они связаны с Москвой, лиц, которых с уверенностью можно считать москвичами» (с. 3—4). Индивидуальный стиль, манера письма характеризует письма М. М. Щербатова. Живая разговорно-народная стихия московской речи сочетается в этих письмах с высокой письменной культурой, т. к. их автор — человек весьма для того времени образованный. Ср., например, письмо (№ 84) М. М. Щербатова к сыну Д. М. Щербатову (*16 ноября 1783 г.*): (л. 85) Другъ мои князь Дмитреи Михаиловичь | Вчерашнеи день получилъ я *от* тебя писмо, в которомъ | ты мнѣ пеняешъ что давно от меня писемъ не | получалъ. пеня твоя мнѣ приятна, ибо ано *от* любви | твоеи происходитъ. но ты знаешъ мои друкъ какъ | я разными дѣлами занетъ, и севодня естли бы не | в четвертомъ часу поутру всталъ, то бы мнѣ не | когда было къ тебѣ писать. при семъ посылаю | к тебѣ ассигнацію на сто рублевъ, и увѣдомляю я | тебя что мы слава богу все здаровы. въ прочемъ | препоручая тебя въ милость божію я есть | отецъ твои | князь Михаило Щербатово | Москва | ноября 16 числа | 1783 года. | (с. 67).

Разнообразная тематика писем, отражающая повседневный быт москвичей, определяет и лексический состав этой группы источников. Словарный состав писем прежде всего связан с обиходно-разговорной лексикой.

Вторую группу источников рецензируемой книги составляют сказки, допросы, челобитные, записанные служащими московских учреждений и представляющие собой разные типы памятников деловой письменности. Эта группа изданных текстов касается самых разнообразных сторон повседневной жизни москвичей. Так, например, большая часть опубликованных сказок дает представление о жизни фабричных людей, рабочего класса того времени. Допросы, ответы служащих московских учреждений рассказывают о пожаре, случившемся в Москве 29 мая 1737 г., и содержат в себе описание ряда конкретных бытовых ситуаций. Разнообразные обстоятельства повседневной жизни читатель найдет и в челобитных жителей Москвы, написанных в Московскую полицмейстерскую канцелярию. Поэтому эти материалы выразительно отражают как народно-разговорный язык этого периода, так и традиционный язык деловой письменности, бесспорно имеющий на себе воздействие письменной традиции.

Большую ценность в рецензируемом издании представляют указатели. Указатель слов дает исследователю возможность сориентироваться в богатейшем материале, иллюстрирующем специфику употребления тех или иных слов в языке XVIII в. Указатель собственных имен, включающий личные имена и географические названия, представляет самостоятельную ценность в плане исследования вопросов, связанных с изучением ономастики и топонимики. Интерес представляют также фотокопии некоторых опубликованных источников, которые дают читателю представление о палеографических особенностях изданных текстов.

Рецензируемое издание, подготовленное А. И. Сумкиной, как и все предыдущие издания этого Сектора, является образцом высокой культуры издания текстов. Рассмотрим опубликованные источники с точки зрения их лингвистической содержательности.

Лингвистические данные источников рецензируемого издания вносят существенный вклад в разработку проблемы формирования русского литературного языка. Опубликованные тексты представляют собой ценный материал для изучения прежде всего сфер употребления и взаимоотношения различных стихий русского языка XVIII в. Уже начиная с XVII в. происходит сближение (в XVIII в. этот процесс становится все более активным) двух норм языкового выражения; церковнославянского и собственно русского языка, противопоставление которых было характерно для более ранних периодов развития языка. В опубликованных источниках наблюдаются факты такого тесного взаимодействия. Материалы рецензируемого издания обогащают наши представления в изучении проблемы соотношения церковнославян-

ской и русской стихий в языке XVIII в., одной из важнейших в истории образования русского литературного языка.

Различные функционально-стилистические перемещения в русском литературном языке XVIII в., взаимодействие двух генетико-стилистических стихий были тесно связаны с процессами обогащения словарного состава этого времени иноязычной лексикой. И с этой точки зрения опубликованные тексты представляют бесспорный интерес. Так, необычайно активной сферой употребления иноязычных слов была частная переписка; особенно широкое функционирование заимствованных слов наблюдалось в письмах образованных людей того времени. Ср., например, в этом плане отрывки из писем Василия Борисовича Голицына брату Владимиру Борисовичу Голицыну: | Што касаетца да брата князь Алеѯандра Михаиловича я вам ево в а я ж в первам писме ѡбстаятелна аписывал... (Письмо № 21, *8 апреля 1771 г.*)... радуюсь сердешна што вам деревня | понравилась дай богъ весела здарова и благопалучна пажить са всеи | вашеи ѳ а м и л и е и: (там же); ... и без лука | вства вам донашѹ я вижу из писемъ вашихъ | што вамъ гончие сабаки нравютца такъ отдаю | на вашу д и с к р е ц и ю и честь приказать зделать | имъ всемъ роспись какъ маладымъ такъ и ста | рымъ и сколко вамъ хочетца изъ оных иметь | те отметить и оную ве | домось разсмотря | ка мне | прислат... (Письмо № 25, *17 мая 1771 г.*) (разрядка наша.— *С. К.*).

Общеизвестно, какое важное место отводится роли московского койне в формировании устной разновидности русского литературного языка. Рецензируемые источники представляют собой богатейший материал и для изучения состояния разговорного языка Москвы XVIII в.

Опубликованные источники представляют собой ценный материал и для исследования собственно историко-лексикологических проблем, связанных с изучением как лексических микросистем XVIII в. (лексико-семантических полей, тематических и синонимических групп лексики), так и истории отдельных слов. В рецензируемой книге широко представлены, например, тематические группы слов, обозначающих самые разнообразные наименования бытовой лексики: наименования строений и их частей (ср. *дом*, *хоромы*, *изба*, *горница*, *комната*, *светелка*, *чердак*, *клеть*, *подклеть* и др.), наименования вещей домашнего обихода (*оловяник*, *кулган*, *ендова*, *потсвешник* и др.), наименования тканей (*грезет*, *миткаль*, *атлас*, *кисея*, *бархат*, *терценель*), интересны группы лексики, обозначающие цвет, названия одежды, наименования различных садовых цветов.

Опубликованные тексты дают нам ценную лингвистическую информацию и в области терминологической лексики. Так, интересную терминологическую группу, обозначающую наименования лиц по профессиям, связанным с производством сукна, находим в Сказках жителей Москвы об имущественном состоянии, торговле и прочем: *ткач*, *прядильщик*, *шпульник*, *картовщик*, *шерстосниматель*, *парсовщик*, *парсовый ученик*, *шкробольщик*, *суконщик*, *суровых сукон подмастерье* (*подмастер*) и др. (с. 5). Читатель находит самые разнообразные терминологические сочетания со словом *ряд*, относящиеся к сфере торговли и обозначающие «лавки на рынке, расположенные в одну линию и предназначенные для торговли однородными товарами»: *соляной ряд*, *мучной ряд*, *зелейный ряд*, *овощной ряд*, *рыбный ряд*, *мясной ряд*, *ветчинный ряд*, *масляный ряд*, *медовый ряд*, *сапожный ряд*, *подошвенный ряд*, *сандашный ряд*, *котельный ряд*, *железный ряд*, *оконнешный ряд*, *книжный ряд*, *шелковый ряд*, *ветошный ряд*, *скорняжный ряд*, *москательный ряд*.

Рецензируемый труд представляет бесспорный интерес и с точки зрения исследования грамматического и синтаксического строя Московской деловой письменности. «... Публикуемые тексты,— как указывает во Введении А. И. Сумкина,— представляют определенный этап становления русской пунктуации и могут быть использованы для истории ее изучения» (с. 10).

У рецензента имеется лишь одно замечание: насколько оправданным является включение частной переписки в жанр памятников деловой письменности XVIII в.

Сам издатель четко различает источники, включенные им в жанр памятников деловой письменности XVIII в. Так, например, в начале Введения, где дается характеристика опубликованных в данном издании текстов, говорится о двух их видах, отражающих «некоторые черты обиходно-разговорного языка Москвы XVIII в. и определенные нормы деловой письменности» (с. 3). На с. 6 также разграничивается частная переписка и разные виды актовой письменности. На с. 9 того же Введения А. И. Сумкина, говоря о значении изданных текстов в области изучения синтаксических средств и делая определенные наблюдения над синтаксическим строем Московской деловой письменности XVIII века, пишет: «В языке XVIII в., как и в более раннюю эпоху, происходит дальнейшая дифференциация средств, свойственных разным сферам общения. В публикуемых текстах наблюдаются различные сочетания сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, одни из них в большей мере характерны для а к т о в о й п и с ь м е н н о с т и, другие — для э п и с т о л я р н о й» (разрядка наша.— *С. К.*) (с. 9).

Таким образом, публикатор последовательно разграничивает для XVIII в. частную переписку и памятники деловой письменности как источники разной сферы письменного наследия этого периода. Тогда у читателя возникает вопрос: почему же все-таки материалы частной переписки в языке XVIII в. в рецензируемой книге отнесены к памятникам деловой письменности? Во Введении следовало бы, хотя бы очень кратко, затронуть эту проблему. Другое дело, что деловой язык уже во второй половине XVII в., в отличие от делового языка эпохи средневековья, представляет собой развитую по-

лифункциональную систему [4]. Наметившееся во второй половине XVII в. расширение сфер употребления делового языка в сопоставлении с церковнославянским в XVIII в. протекает значительно интенсивнее. В этот период деловой язык обслуживает самые разнообразные сферы: научную, техническую, юридическую, а также собственно литературные жанры (публицистические произведения и газеты, эпистолярный жанр).

Однако причислять частную переписку как жанр к памятникам деловой письменности XVIII в., думается, не совсем правомерно. Аналогичные источники разграничиваются даже для XVII в. Такое разграничение, хотя с некоторой оговоркой, проводится публикаторами в «Московской деловой и бытовой письменности XVII века» [5].

Высказанное замечание нисколько не снижает самой высокой оценки (о чем было сказано выше) рецензируемой книги. Бесспорно, что книга, изданная А. И. Сумкиной, внесет свой весомый вклад как в изучение истории русского литературного языка в целом, так и в частности в изучение языка одного из его интереснейших периодов — XVIII века.

Смолина К. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 119.
2. *Сорокин Ю. С.* О задачах изучения лексики русского языка XVIII в.— В кн.: Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.— Л., 1966, с. 8.
3. *Иванов В. В.* Актуальные проблемы современной исторической русистики. ФН, 1978, № 5, с. 31.
4. *Волков С. С.* Лексика русских челобитных XVII в. М., 1974, с. 7.
5. Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968, с. 5.

Mori O. **Frases infinitivas preposicionales en la zona significativa causal. Estudio contrastivo español-inglés.** — Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1980. 215 p.

Книга О. Мори заслуживает самого серьезного внимания со стороны языковедов, интересующихся вопросами построения речи. В ней представлен обширный материал, раскрывающий наиболее сложные проблемы сравнительно-сопоставительного языкознания[1].

Когда мы обращаемся к серьезной работе, которая поражает исключительной тщательностью и обилием материала, то, естественно, возникает большое количество вопросов. Для того, чтобы придать этим вопросам бо́льшую конкретность, остановимся на содержании книги, посвященной систематическому сопоставлению испанских и английских конструкций: «*para* + инфинитив», «*a* + инфинитив», «*por* + инфинитив», и, с другой стороны, «*in order* + глагольная основа», «*so as* + *to* + глагольная основа», «*for* + номинативная синтагма (SN) + *to* + глагольная основа», и др. Эти испанские и английские обороты совпадают во многих контекстах, именно поэтому они и избираются автором книги для последовательного сопоставления. Из различных методов исследования, существующих в области сравнительно-сопоставительного изучения языков, О. Мори избирает структурно-функциональный. При этом она исходит из того, что для синтаксического исследования первостепенным было и остается взаимодействие языка и речи. Конкретно имеется в виду переход речевого значения в языковое, что дает возможность дать правильную оценку функциональным особенностям языка. Синтаксические явления поддаются представлению в виде структуры в том же смысле, что и явления фонетические.

Безусловной заслугой автора книги является то, что ею проанализирован очень большой материал и представлена вся литература вопроса. Кроме того, автор стоит на правильных методологических позициях, свободных как от априористических «конструктов» лингвистического формализма, так и от позитивистских тенденций «описательной» лингвистики.

На конкретных примерах разъясняется применимость к данному материалу известной трихотомии Э. Косериу: «речь, норма, система». О. Мори подчеркивает, что сопоставлять языки можно только при условии, что сначала каждая из сопоставляемых систем изучается в отдельности. Иначе говоря, совершенно правильным является тезис о том, что сопоставлять можно только такие структуры, каждая из которых тщательно исследована, описана и определена. При этом должны учитываться не только языковые значения, но и значения, связанные со знанием предмета речи и контекста ситуации.

В книге указывается, что значение в речи носит уникальный характер: оно представлено в отвлечении от данной формы выражения и зависит от возможной вариативности контекстуальных значений. Отсюда необходимость различения между «Bedeutung» (значением) и «Bezeichnung» (обозначением). В отличие от обозначения значение выступает как определенная ступень абстракции. Только «Bedeutung» выступает как собственно языковое явление и может быть осмыслено на уровне языковой системы. «Bezeichnung» же всегда оказывается под давлением внеязыковых факторов. Отсюда одно из наиболее важных теоретических положений книги, которое для

[1] В языкознании применяется также термин «контрастивная лингвистика».

сравнительно-сопоставительного языкознания имеет первостепенное значение: перевод с одного языка на другой — это всегда только «Bezeichnung» или «контекстуальное значение». Дело в том, что с языка на язык переводятся не системные элементы, не собственно языковые значения, а те особые «смыслы», которые соответствующие единицы приобретают в данном речевом произведении.

Из сказанного следует, что грамматика выступает в трех аспектах — контекстуальном, функциональном и реляционном (аспект отношения). Первый из них изучает форму выражения, материальную форму речи, включая морфологию, причем не только слова, но и все те морфологические и синтаксические изменения, которые возникают под влиянием особенностей словосочетания и построения данного предложения. Функциональный аспект касается особенностей функционирования выделенных явлений, обладающих данной структурой (т. е. предложных инфинитивных сочетаний). Грамматика отношений подходит к материалу со стороны тех значений, которые выражаются названными средствами, и ставит во главу угла сходства и различия в содержании сопоставляемых оборотов.

Это тройственное деление важно потому, что, принимая его в качестве основы, исследователь-синтаксист освобождается от чисто описательной эмпирии, а строит свои выводы на функциональной основе, что дает возможность понять особенности и различия внешне подобных конструкций в разных языках. В нашем случае сопоставление предложных оборотов с инфинитивом в английском и испанском языках обнаруживает сходство (или даже тождество) построения. Однако с функциональной точки зрения элементы сходства неотделимы от весьма существенных различий. Что же касается «грамматики отношений», то здесь исследователь оказывается перед лицом вариантных форм синтаксического выражения в одном языке при отсутствии вариантности в другом. Вряд ли можно сомневаться в том, что столь тщательное расчленение процесса сопоставительного анализа является вкладом в методику исследования.

До сих пор мы говорили о том значении, которое рецензируемая книга имеет для развития методологии сопоставительного языкознания. Необходимо подчеркнуть, что основная ценность книги заключается в представленном в ней огромном и тщательно проанализированном материале. Отдельная глава книги посвящена тем трудностям, которые вообще возникают в области сопоставительного языкознания.

Особого упоминания заслуживает последняя глава книги под названием «Сравнение препозитивных инфинитивных фраз в двух языках в соответствии с выражаемыми ими контекстуальными отношениями в сигнификативной каузальной зоне». «Зона» разделяется на пять секторов: «de la finalidad», «de la consecuencia», «de la sucesión», «de la modificación», «de la causalidad».

Большой теоретический интерес представляет также то, что в книге раскрываются такие стороны синтаксической аксиологии, которые не охватываются основной диеремикой устной и письменной речи.

Изучение синтаксиса как науки о построении речи исходит из наличия системы синтаксических диерем. Диерема является двусторонней единицей, имеющей определенное выражение, вполне соответствующее определенному синтаксическому содержанию. В настоящее время можно считать установленным, что все основные типы синтаксической связи — комплетивная, предикативная, копулятивная — имеют вполне определенные, соответствующие им диеремы, выражающиеся в устной форме речи при помощи пауз различной длительности, которые сопровождаются соответствующими изменениями высоты тона, диапазона, темпа и громкости. Правильный выбор синтаксических диерем дает возможность говорящему строить синтаксически организованную речь [1—4].

Этот краткий экскурс в область синтаксической теории был необходим, потому что те явления, которые рассматриваются в рецензируемой книге, явно не умещаются в основной перечень синтаксических объектов, исследованных с точки зрения синтаксических диерем.

Завершая рецензию, следует еще раз указать на большое значение, которое имеет книга О. Мори для дальнейшего изучения синтаксиса как диалектического единства морфо-синтаксических и лексико-фразеологических отношений, т. е. для методологии синтаксического исследования. Именно при сопоставительном изучении языков наиболее отчетливо выявляются реальные потребности синтаксической науки. Когда мы подходим к изучению построения речи, мы неизбежно начинаем с того, что реально «звучит» в речевом потоке и лишь на этой основе можем делать обобщения. Раздельное же изучение «бумажного» синтаксиса и синтаксиса звучащей речи не может дать надежных и научно обоснованных результатов.

Александрова О. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Долгова О. В.* Семиотика неплавной речи. М., 1978.
2. *Долгова О. В.* Синтаксис как наука о построении речи. М., 1980.
3. *Alexandrova O.* Major syntax. M., 1981.
4. *Александрова О. В., Куницына В. А.* Принципы сегментации речевого потока (текста). Симферополь, 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1983

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Чехословацкая ассоциация русистов в сотрудничестве с филиалом Института русского языка им. А. С. Пушкина в Братиславе организовала 16—19 ноября 1981 г. на Педагогическом факультете в Нитре III Международный симпозиум русистов «Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы» («Разработка и реализация принципа коммуникативности в теории и практике»). В работе симпозиума приняло участие 318 человек. С докладами и сообщениями выступило 108 участников. Остановимся только на некоторых затронутых вопросах.

История обучения иностранным языкам — подчеркивалось в общем докладе на пленарном заседании,— предоставляет возможность подойти к характеристике и типологии методов преподавания и освоения языков как с точки зрения принципа коммуникативности, так и без учета этого принципа. При этом общественная потребность и цели обучения языкам всегда оказывали решающее влияние на степень реализации коммуникативного принципа. Язык всегда выполнял и выполняет в первую очередь функцию важнейшего средства общения людей, обмена мыслей и взаимного понимания, т. е. имеет прежде всего коммуникативный характер. В условиях развивающейся международной социалистической интеграции во всех областях жизни и в соответствии с целью коммунистического воспитания принцип активной коммуникативности составляет основное требование по отношению к содержанию, целям и задачам, формам и методам обучения русскому языку. С учетом этих основных представлений и необходимо подходить к вопросам изучения, преподавания и освоения русского языка, подготовки преподавателей русского языка и литературы в высших учебных заведениях (М. Рогаль, М. Сотак — ЧССР, В. Г. Костомаров — СССР).

Речевое высказывание является сложнейшим продуктом психических, лингвистических и физиологических механизмов субъекта. От уровня психических и языковых предпосылок зависит и уровень коммуникативной ценности высказывания. Вершиной педагогического стремления является достижение в преподавании русского языка билингвизма, или же владения вторым языком на уровне родного. Практика подтверждает, что сознательно-практический метод, функционально мотивированный и практически направленный подход больше всего оправдали себя и в обучении русскому языку, поскольку умелое их сочетание в оптимальной степени обеспечивает условия и предпосылки к активному овладению русским языком в соответствии с требованиями учебно-воспитательной системы в Чехословакии (Э. Глушкова, М. Павук — ЧССР). Суть и значение практической фонетики, закономерностей произношения и правописания русского языка в связи с приведенными выше положениями весьма удачно иллюстрировала в своем выступлении У. Фецанинова (ЧССР). Очень интересными наблюдениями с точки зрения развития и дальнейшего совершенствования коммуникативных способностей поделилась М. Весела (ЧССР) в сообщении о некоторых русских эмоциональных предложениях и их словацких эквивалентах.

Принцип коммуникативной активности предполагает, что процесс обучения чтению и работа с текстовым материалом должны иметь определенную целевую установку. Основным коммуникативным умением на данном этапе преподавания русского языка должна быть способность вычленить главную информацию в тексте. Свободное чтение газет, журналов и адекватное восприятие информации невозможно без учета двойственной природы газетно-публицистической речи и стиля. Они содержат не только информацию, но призваны выразить и отношение к сообщаемому. Поэтому отбор лексических и синтаксических структур, посредством которых осуществляются информативная и формативная функции печати и информации вообще, имеет исключительно важное значение для реализации принципа коммуникативной активности (Н. С. Ляпидевская — СССР).

Немаловажную роль в обучении русскому языку играет механизм мотивации, поскольку от мотивировки деятельности в значительной степени зависит успех в постепенном преодолении трудностей и овладении языком как средством общения. Различные аспекты мотивации и мотивационной связи меняются на отдельных этапах обучения и с ними должны меняться и организационные формы и методы работы. Одним из основных источников мотивации школьного обучения русскому языку считают практическое значение владения языком и возможности применения приобретенных знаний к общественной практике. Положительное отношение учащихся к русскому языку способствует как запоминанию и сохра-

нению в памяти изученного материала, так и развитию речевых умений и навыков (Э. Гадушова — ЧССР).

Отбор страноведческого материала может производиться по двум основным направлениям: обеспечения коммуникации на изучаемом (русском) языке и ознакомления учащихся со страной изучаемого языка. Для языкового учебного процесса основное значение имеет именно «коммуникативно ценный» страноведческий материал. Базой для отбора страноведческого минимума является лексический материал, предназначенный прежде всего для активного усвоения учащимися. Необходимость использования страноведческого материала часто требует включения таких слов и словосочетаний, которые до некоторой степени превышают возможности учащихся. От объяснения на начальном этапе обучения значения этих языковых единиц и словосочетаний на родном языке следует постепенно переходить к последовательной работе на русском языке (Ю. Е. Прохоров— СССР). На практическом значении сокращений и в особенности на влиянии научно-технического прогресса на развитие аббревиатур остановился в своем сообщении А. Сопира (ЧССР).

На симпозиуме говорилось о необходимости более широкого использования художественной литературы при реализации коммуникативного принципа обучения русскому языку. Проведение последовательно коммуникативного принципа,— подчеркивал А. Шахнарович (СССР),— невозможно без широкого использования художественно-литературных текстов.

Живой интерес среди участников симпозиума вызвали сообщения Я. Петени и Я. Федоряка (ЧССР), посвященные актуальным вопросам отбора и организации грамматического материала в новых учебниках для школ с венгерским языком обучения, равно как и вопросы преподавания русской классической и советской литературы в этих школах.

Симпозиум уделил большое внимание и проблематике изучения и исследования процессов перевода с точки зрения литературной коммуникации, которая в значительной степени обогащает и углубляет наши сведения и познания. Акт перевода,— подчеркивалось А. Поповичем (ЧССР) — является противопоставлением двух коммуникаций — первичной и вторичной (оригинала и перевода). Переводческие операции, необходимые для работы с оригиналом, создают предпосылки для вторичной моделирующей деятельности переводчика. В этом смысле интерпретация оригинального текста опосредованно играет большую роль в развитии методов перевода. Необходимо уделять серьезное внимание также проблематике устаревания перевода, обусловленной зависимостью интерпретации не только от стилистической формы реципиента, но и от исторически ограниченного уровня теоретического познания художественного текста, определяющего уровень конкретной переводческой интерпретации. Дальнейшее развертывание данной проблематики и важность творческого подхода к решению отдельных моментов перевода нашли свое подтверждение в сообщениях В. Оберта, Т. Жилки, М. Керулевой, И. Гохеля, Ф. Коли, П. Сики, И. Денеша, М. Валентовой, П. Либы, Э. Тучной и З. Какошовой (ЧССР). Актуальные вопросы семантического простора и перевода поэзии осветил в своем интересном сообщении Д. Слободник (ЧССР).

На симпозиуме указывалось и на то, что решение интенсификации учебно-воспитательного процесса должно сочетаться с использованием технических средств обучения. Они обеспечивают более высокие качественные результаты в овладении русским языком, поскольку являются источником восприятия оригинального целевого языка. Звуковая запись в сочетании с визуальными средствами и в комбинации с различными методами работы может в значительной степени способствовать повышению действенности преподавания и освоения русского языка в устной и письменной формах (Э. Паленикова — ЧССР). С этой точки зрения заслуживает внимания тема сообщения М. Гепаковой (ЧССР) о предпосылках успешного развития коммуникативной активности учащихся и студентов в школах ЧССР.

Вопросам дальнейшего совершенствования внешкольного обучения, русскому языку и литературе посвятили свои выступления М. Матушкова, М. Панкухова, А. Дуцар, М. Пашка, Н. Грицелова и Я. Сайко (ЧССР).

Об экспериментальной проверке содержания новых учебников русского языка и литературы для основных и средних школ ЧССР и предлагаемых методов и форм работы с ними говорилось в сообщениях Э. Ковачиковой и Р. Теллера (ЧССР); ценные наблюдения и замечания, как и деловая критика, прозвучали в выступлении Л. Дьячковой (СССР).

Реализация новой концепции преподавания русского языка и литературы выдвигает на первый план коммуникативный принцип обучения и активизационные формы и методы работы с учащимися и студентами. В связи с тем, что коммуникация должна организовываться и контролироваться учителем, на него как на центральную фигуру учебно-воспитательного процесса возлагаются повышенные требования. Он должен не только в совершенстве владеть русским языком в устной и письменной формах, но и быть на высоте современной лингводидактической подготовки. Существующие формы дальнейшего повышения квалификации учителей русского языка (внутригосударственные и зарубежные курсы русского языка, обучение аспирантов, различные мероприятия профессионально-методического характера, индивидуальное повышение своей квалификации) сравнительно успешно применимы к задачам и требованиям, которые стоят перед нами в этой области.

III Международный симпозиум русистов подвел некоторые итоги работы по

новым усовершенствованным программам и подтвердил, что изучение и преподавание русского языка и литературы в свете требований современной лингводидактики и в условиях иноязычной среды является весьма серьезным делом, выдвигающим высокие, но реальные цели и задачи. Имеются все основания считать, что возросший интерес к проблематике симпозиума русистов позитивно отразится на решении актуальных вопросов теории и практики преподавания русского языка и литературы и что сам этот симпозиум явился успешной генеральной репетицией к V конгрессу МАПРЯЛ в Праге (август 1982 г.).

Павук М. (Братислава).

CONTENTS

Articles: Filin F. P. (Moscow). On some features of the East Slavonic word-stock of the pre-national period; **Discussions**: Budagov R. A. (Moscow). In defence of the notion «word»; Kotov R. G., Marčuk Ju. N., Neljubin L. L. (Moscow). Machine translation in the early eighties; Lapteva O. A. (Moscow). The use of *типа* or *вроде* in colloquial Russian; **Materials and notes**: Arbatskaja E. D. (Moscow), Arbatskij D. I. (Izhevsk). Lexical-semantic classes of adjectives in Russian; Murjanov M. F. (Moscow). On the artistic value of the Old Slavonic literary language; Volkov A. A. (Moscow). Writing and speech; Daškevič Ja. R. (Lvov). The Armenian-Kipchak language: periods of history; Peštov V. S. (Moscow). The category of person and predicativity in Quetchua; Sardžveladze Z. A. (Tbilisi). The beginnings of the Georgian linguistic thought; Pumpjanskij A. L. (Kalinin). The principle of linguistic polysemy; **Reviews**; **Linguistic life**.

SOMMAIRE

Articles: Filin F. P. (Moscou). Quelques particularités du vocabulaire slave orientale (période prénational); **Discussions**: Budagov R. A. (Moscou). Pour la notion du mot; Kotov R. G., Marčuk Ju. N., Neljubin (Moscou). La traduction mécanique aujourd'hui; Lapteva O. A. (Moscou). L'emploi de *типа* ou *вроде* en russe parlé; **Matériaux et notices**: Arbatskaja E. D. (Moscou), Arbatskij D. I. (Ijevsk). Les classes lexico-sémantiques des adjectifs russes; Murjanov M. F. (Moscou). La valeur artistique du vieux-slave littéraire; Volkov A. A. (Moscou). L'écriture et le langage; Daškevič Ja. R. (Lvov). La langue arméno-kiptchaque: étapes d'histoire; Pestov V. S. (Moscou). La catégorie de la personne et de la prédicativité em quétchua; Sardžveladze Z. A. (Tbilissi). Aux sources de la pensée linguistique géorgienne; Pumpianskij A. L. (Kalinin). Sur le principe de polysémie linguistique; **Comptes rendus**; **Vie scientifique**.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.10.82 Подписано к печати 03.02.83 Т-03927 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт. 76,6 тыс. Уч.-изд. л. 15,1 Бум. л. 4,5
Тираж 5995 экз. Заказ 2174

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10